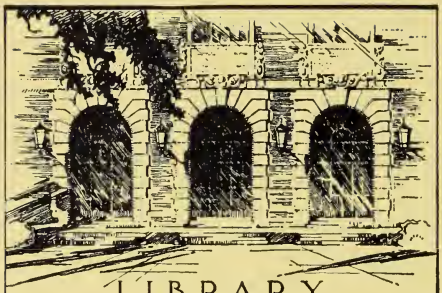

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

891.74
M322
On

BOOKSTACKS

HERTZBERG — NEW METHOD, INC. EAST VANDALIA ROAD, JACKSONVILLE, ILL. 62650

TITLE NO.	ACCOUNT NO.	LOT AND TICKET NO.
D5ZW%	07200--K38	JC 00-- 2 S1

MAR, ANNA*=*
NEVOZMOZHNOE*

42-28 891.74*M322*On*

CLOTH COLOR
0077 BRITTLE*

HEIGHT
01STX1
00 000

CHARGING INFORMATION SPECIAL WORK AND PREP.

STUBBING		FRONT COVER		HAND ADHESIVE		MAP POCKET PAPER	
HAND SEW		NO TRIM		LENGTHWISE		MAP POCKET CLOTH	
THRU SEW		PAGES LAMINATED		FOREIGN TITLE		SPECIAL WORK	
THRU SEW ON TAPE		EXTRA THICKNESS		LINES OF LETTERING		REMOVE TATTLE TAPE	

HEIGHT	PICA	WRAP
8½	5	

D5ZW%

DP-2 76052

K38-2

A 1159.

АННА МАРЪ.

НЕВОЗМОЖНОЕ.

LIBRAIRIE
PETITE BIBLIOTHÈQUE
des Auteurs Étrangers
S.A.R.L. Capital 1.000.000 F.
43, Rue Le Marois, PARIS-16e
R. C. Seine 365.520 B

«МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО».

МОСКВА—1912.
Типографія РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА. Мыльниковъ пер., с. д.
Телефонъ 18-35.

891.74
M322
Om

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

Невозможное 1
На волѣ 105
Жена 117
Мертвые листья 127
Обычное 136
Вода 144
Вѣтеръ 174
Люля Бэкъ 181
Пріѣздъ Риты 189
Любовь 201
Двѣ 211

Cartes Postales:

Горе 223
Ой, бѣда! 229
Одинъ день 233
Вербочки 242
Дурманъ 248
Ея сочельникъ 255
Янина 261
Голоса 268
За вышиваньемъ 274
Случайность 278
Настроенія 284
Подруги 292
Исповѣдь 295
Женщина 299
Признаніе 305
Стаканъ кофе 311
Мертвое 316
Правда 325

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/nevozmozhnoe00mara

НЕВОЗМОЖНОЕ

I.

Пришелъ докторъ Шатковскій. Розовый, жизнерадостный.

— Здравствуйте, барынька... Здравствуйте... А я къ вамъ съ новостью.

Тереза встала, изумленная его приходомъ.

— Добрый день, докторъ... Я къ вашимъ услугамъ.

Безпокойно ждала, а онъ сдѣлалъ паузу.

Потомъ, не спуская смѣющагося, хитраго взгляда, бросилъ:

— Вамъ кланялся мой племянникъ... Ну, да... Антось Пшерминскій... Нашъ несравненный, милый Антось. Ему необходимо васъ видѣть. Какъ бы это устроить?

Тереза сильно поблѣднѣла. Пролепетала невнятно, совсѣмъ потерявшись, выдавая себя еще болѣе натянутой улыбкой:

— Какъ... развѣ онъ здѣсь?.. Боже мой... это мило... Развѣ онъ вернулся?

Шатковскому стало жаль ее.

Взялъ обѣ руки Терезы, цѣловалъ частыми влажными поцѣлуями, утѣшалъ отеческимъ тономъ. Ну, ну, пусть она успокоится... онъ пришелъ какъ посредникъ, другъ... все будетъ хорошо... Антось пріѣхалъ...

«Три года странствовалъ по свѣту»,— теперь наскучило. Думаетъ купить себѣ домъ, жениться. Въ сущности, Антось буржуазенъ, несмотря ни на что, и мечтаетъ о дѣтяхъ. Между нимъ и Терезой возникли маленькія недоразумѣнія,—ихъ необходимо уладить. Да. Необходимо въ цѣляхъ ея же спокойствія. Что же касается прошлаго...

Тереза не выдержала и заплакала.

Шатковскій недоумѣвающе пожималъ плечами. Стоитъ ли горевать? Не она—первая, не она—послѣдняя. Конечно, какъ дядя Пшерминскаго, онъ посвященъ въ эту щекотливую исторію, но злоупотребить довѣріемъ... ни-ни!.. Клянусь Богомъ. Не даромъ же онъ—докторъ по женскимъ болѣзнямъ... онъ знаетъ такія тайны, что ой-ой!.. Не нужно никакихъ драмъ, осложненій... Тереза увидитъ Пшерминскаго. Они переговорятъ. Рѣшатъ что-нибудь. Лично глубоко уважаетъ Терезу. Вѣдь Антось не въ счетъ. Антось—человѣкъ особенный, неотразимый, такъ сказать. Красивъ, изященъ, богатъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, если имъ увлекаются. Ему—доктору, давно извѣстно, какъ равнодушно относится Кшевицкая къ другимъ мужчинамъ. Она, вообще, удаляется отъ жизни. Костелъ и костелъ. Нельзя же такъ въ самомъ дѣлѣ... живой прямо на небо.

Кшевицкая уже не плакала. Тонкое, нѣжное лицо покрылось пятнами.

Сказала тихо:

— Хорошо... Я буду рада видѣть Пшерминскаго... Также и мой мужъ.

Ага, попалась маленькая женщина съ большими глазами!..

Кругленькій докторъ махалъ шляпой и смѣялся. Охъ, ужъ эти дамы... эти недотроги...

Онъ гордился своимъ племянникомъ.

— Ну-съ, мнѣ, однако, пора... Вашъ мужъ еще не вернулся со службы?.. Кланяйтесь ему... Какъ здѣсь вкусно пахнетъ яблоками.

Униженная Тереза молчала.

Антось вернулся...

Шла навстрѣчу будущему слабая, какъ ребенокъ. Не защищалась, не искала выхода, не надѣялась. Это новое горе отняло у нея послѣднія силы.

Антось вернулся...

Теперь все погибло.

Шатковскій фамильярно взялъ ее за руку выше локтя.

— Улыбнитесь же, дорогая... Я и Антось—могила. Будьте покойны... Повторяю, дитя мое, несмотря ни на что, я васъ глубоко уважаю, но позвольте дать вамъ одинъ дружескій совѣтъ. Не показывайтесь вы съ Ирэной Мошко... Ирэна—умная, оригинальная, замѣчательная женщина. Да. Я о ней такого мнѣнія, но... она—внѣ круга. А послѣ того, какъ изъ-за нея застрѣлился Стась Боржекъ—ее окончательно похоронили. Наша польская колонія малочисленна, замкнута... всѣ другъ друга знаютъ... вы сами даете пищу для толковъ... Зачѣмъ, милая?

Въ передней онъ долго натягивалъ свѣтлое модное пальто, а Тереза стояла тутъ же и думала:

«Антось пріѣхалъ».

Потомъ она вернулась къ пяльцамъ.

Солнечныя пятна расползлись по скатерти обѣденнаго стола, заиграли на приборахъ и графинѣ. Они дрожали на темныхъ обояхъ, прильнули къ паркету, нѣжно коснулись волосъ Терезы.

Она не видѣла узора, блѣдная, съ потухшимъ, полнымъ отчаянія взглядомъ.

Пшерминскій вернулся. Зачѣмъ? Ему здѣсь нечего

дѣлать. Жениться, говоритъ докторъ. Какой вздоръ! Чего онъ хочетъ? Врагъ или влюбленный? Можетъ быть другъ! Равнодушенъ? Съ повинной?

Она не знала его, собственно.

Помнитъ, конечно, какъ три года тому назадъ ея мужъ, Янъ Кшевицкій, впутался въ темную, грязную исторію съ растратой денегъ, а Пшерминскій замялъ скандалъ, давъ нужную сумму. Онъ спасъ ихъ отъ позора, суда. Онъ не потребовалъ ничего отъ Яна и очень мало у жены.

Помнитъ, какъ этотъ развратный, недалекій, тщеславный господинъ впускалъ ее въ свою холостую квартиру, обнималъ, раздѣвалъ и продѣлывалъ надъ нею гнусности. Потомъ у него умеръ отецъ, онъ уѣхалъ получать наслѣдство, затѣмъ скрылся гдѣ-то за границей. Время затянуло глубокую рану стыда и раскаянія, вырвало изъ памяти позорныя детали. Пшерминскій почти исчезъ изъ ея представленія. Она, Тереза, являлась на свиданія? Она отдавалась грубо, цинично, безъ любви и желанія? Принимала деньги, подарки? Нѣтъ, это не она... это другая... Конечно, другая, только не она, Тереза.

Теперь, когда она должна была снова увидѣть его, ее охватилъ безпредѣльный ужасъ. Она проклинала свою жертву. Не находила въ ней ни малѣйшаго нравственнаго удовлетворенія, даже пользы. Янъ не зналъ, чѣмъ онъ обязанъ женѣ и попрежнему проигрывалъ крупныя суммы. Они вѣчно были въ долгахъ. Пшерминскій не допускалъ даже мысли, что онъ выбранъ не ради личныхъ достоинствъ, а изъ корыстной цѣли. Она терзалась часто сомнѣніемъ. Поступила ли она хорошо? Быть можетъ, это грѣхъ надѣлъ личину самопожертвованія? Быть можетъ, другая женщина нашла бы иной выходъ?

Она боялась и Пшерминскаго и мужа. Ни тотъ ни другой не пощадилъ бы ея. Потерять репутацію честной женщины?.. Очутиться на улицѣ безъ гроша?.. Да развѣ это мыслимо?

Судорожно цѣплялась за лживое, невѣроятное предположеніе:

«Быть можетъ, Антось забылъ меня? Увидитъ, поговоритъ и только».

О, о... Какъ бы не такъ... Нѣтъ, ей оставалось приняться за старое.

Вспоминала, какъ часто ей предсказывали дурной конецъ,—судьбу падшей женщины. За нею всегда волочилось грубое, липкое подозрѣніе. Ее обливали грязными сплетнями. Она никому не внушала довѣрія. Почему? Почему часто она сама переживала тягостныя минуты сомнѣнія въ себѣ самой?

Жуткое предчувствіе сосало сердце. Всматривалась въ душу съ воспаленнымъ вниманіемъ. Нѣтъ, она не находила тамъ ничего, кромѣ ужаса и отвращенія передъ грѣхомъ.

Какъ же она могла бы полюбить его?

Никогда еще она не чувствовала себя болѣе одинокой.

Родные... Горячая ненависть затопила грудь. Лицо запылало. У нея не было гаже воспоминаній.

Ея семья отошла вдаль и тамъ затерялась. Отецъ умеръ. Мать жила съ братомъ. Сестра вышла замужъ и уѣхала въ Галицію. Они не переписывались. Для нея они не существовали.

Мысленно она оглянулась кругомъ съ безпомощнымъ видомъ. Никого....

«А ксендзъ Ганушъ?»

И словно кто-то невидимый, злой, безпощадный захотѣлъ подчеркнуть ея мысль. Вздулась занавѣсочка...

вѣтеръ наполнилъ всю комнату... ворвался шумъ экипажей, окрикъ городового, голоса...

Съ окнами поровнялась похоронная процессія.

Впереди шелъ ксендзъ Ганушъ, настоятель мѣстнаго костела, въ кружевной комжѣ, беретѣ, сосредоточенный и строгій.

И забывая сразу свою муку, не видя ничего, кромѣ этого гордаго священника, Тереза встала, машинально шепча Ave.

Потомъ, когда процессія завернула за уголъ, она опустилась снова въ кресло, и ея блѣдное лицо стало мокро отъ слезъ.

Ахъ, ксендзъ Ганушъ!.. Его назначили куратомъ въ Л—скъ въ тотъ годъ, когда Пшерминскій уѣхалъ и Тереза получила свободу. Никогда по натурѣ она не была чувственной. Въ ней тогда проснулось полное, ясное представленіе о томъ, что она сдѣлала и что нужно сдѣлать теперь. Тянуло къ церкви.

Ксендзъ Ганушъ произвелъ на нее потрясающее, ни съ чѣмъ несравнимое впечатлѣніе. Все, что было до него—мужъ, Пшерминскій,—потеряло разъ навсегда свое значеніе, а настоящее и будущее воплотилось въ немъ одномъ и безъ него не могла представить себѣ жизни. Любовь наполнила, залила ея душу, вошла въ ея мозгъ, кровь, тѣло, стала такъ же неотдѣлима отъ нея, какъ ея рѣчь, поступки, желанія. Онъ жилъ въ ней—чужой, далекій, недоступный и подъ страхомъ смерти не отреклась бы отъ него.

Какъ ревностная, пылкая католичка, Тереза изнемогала отъ горя.

Ксендзъ... привыкла съ дѣтства благоговѣйно произносить это слово. Не простой смертный—служитель Бога. Не мужчина—выше мужчины.

Правда, любила чисто. Любила обоготворяя. Скорѣе молилась, чѣмъ любила. Смотрѣла, какъ на Распятье. Приближалась робко, по-дѣтски. Было нѣчто безконечно-цѣломудренное, нѣжное, трогательное въ ея чувствѣ, словно дыханіе весенняго вечера, запахъ фіалокъ, слабый ароматъ ладана между страницъ молитвенника. Его прекрасные черные глаза, въ которыхъ тонула, какъ въ небѣ, будили глубоко-затаенное, чисто-женское стремленіе любить духовно. Любить беззавѣтно, молчаливо, покорно. Любить, ничего не ожидая взамѣнъ, кромѣ тоски, слезъ, муки во имя любимаго. Любить безъ тѣни чувственности, безъ всякой надежды на взаимность и близость. Былъ для нея неназваннымъ, таинственнымъ, былъ томленіемъ по чистотѣ, совершенству, дорогой къ Богу.

И была такъ робка, стыдлива любовь, что даже мысленно боялась назвать его по-имени—«Чеславъ», а во снѣ видѣла въ дымкѣ, себя же преклоненной и плачущей. Ахъ, эти сны!.. Бѣлые, чарующіе, неразгаданные, будто чудесныя свиданія душъ, тайный обмѣнъ сокровенныхъ мыслей, безплотная ласка, туманное предсказаніе о томъ, что свершится лишь послѣ смерти на небѣ. Просыпалась въ слезахъ, съ трудомъ отличая грезу отъ дѣйствительности.

Мысленно цѣловала землю, по которой онъ проходилъ, край его сутаны, его ноги. И отъ трехъ лѣтъ нечеловѣческаго душевнаго напряженія, нечеловѣческихъ терзаній, удвоенныхъ добровольнымъ молчаніемъ, осталось одно общее впечатлѣніе—осени.

Блѣдное солнце, желтизна, шорохъ опадающихъ листьевъ, мертвая тоска о невозможномъ.

Ксендзъ Ганушъ былъ холоденъ съ Терезой, предубѣжденъ, настроенъ иронически. Съ перваго же знакомства онъ воздвигнулъ между собою и ею невидимую,

но несокрушимую стѣну. Онъ смотрѣлъ на нее, какъ на пустое пространство, находилъ въ своемъ голосѣ тысячу самыхъ ледяныхъ, оскорбительныхъ оттѣнковъ, ни разу не захотѣлъ улыбнуться ей. Онъ отказывалъ въ такомъ пустякѣ, какъ любезная фраза, шутка, привѣтливое выраженіе глазъ.

Почему? Находилъ ли излишне экзальтированной? Или она казалась ему просто девоткой, ханжей, влюбленной въ каждую рясу? Чувствовалъ ли ея прошлое? Слышалъ о Пшерминскомъ?

Тереза не знала.

Мечтала, взволнованная, забывая настоящее.

Быть можетъ, когда-нибудь темные гордые глаза ксендза Гануша взглянутъ на нее съ участіемъ и лаской. Быть можетъ, когда-нибудь они возродятъ ее къ новой жизни. Не есть ли высшее счастье женщины итти за любимымъ?

Впрочемъ, теперь, съ пріѣздомъ Пшерминскаго, все мѣнялось.

Она должна была стать отступницей. Нельзя служить двумъ богамъ. Если свою близость съ мужемъ она оправдывала таинствомъ брака, то чѣмъ являлась связь съ Пшерминскимъ?

Пшерминскій, который вернулся... Казалось, онъ уже вошелъ въ эту комнату, протягивалъ къ ней жадныя, грубыя руки, улыбался дерзко и самодовольно: «Малюточка». Она уже видѣла зіяющую черную, смрадную бездну и летѣла туда стремглавъ съ открытыми, широко-раскрытыми глазами.

Ее сердце и разумъ переполнились отчаяніемъ и безсиліемъ.

Смертельно тоскуя, ломала руки, шептала слова литаніи:

— Сердце Іисуса, море милосердія, смилуйся надо мною... Сердце Іисуса, утѣшеніе грѣшныхъ...

Къ четыремъ часамъ явился со службы Кшевицкій.

— Ванда, можешь подавать,—говорилъ онъ громко, на всю квартиру. — Барыня дома?

Тереза вышла къ столу безстрастная, холодная.

— Ты нѣсколько запоздалъ, Янекъ?

— Дѣла до чорта... Заговорили... Обожди, я вымоюсь.

Въ спальнѣ онъ стучалъ умывальникомъ, крича оттуда конторскія новости.

Вернулся свѣжій, веселый, голодный.

Наливая бульонъ, Тереза сказала намѣренно-просто:

— Знаешь, кто пріѣхалъ? Антось Пшерминскій... Хочетъ покупать здѣсь домъ... Говорилъ докторъ Шатковскій... Онъ забѣгалъ утромъ.

Янъ слегка растерялся. Пробормоталъ что-то о томъ, что Пшерминскій ихъ другъ и къ нему нужно относиться какъ можно внимательнѣе.

Потомъ онъ жадно принялся за ѣду.

Ему не давали больше двадцати шести лѣтъ, этому крѣпкому, здоровому человѣку, съ чуть наглыми глазами, коротко остриженному, плечистому. Одѣвался онъ излишне изысканно, какъ одѣваются часто представители фирмъ, манеры имѣлъ грубоватыя. Занималъ приличное, но не блестящее мѣсто. Его считали дѣльнымъ, энергичнымъ. Слабость къ вину и картамъ охотно прощали.

Къ Терезѣ онъ относился порою обостренно-чувственно, порою рѣзко. Они были несчастны. Ихъ постоянныя ссоры затягивались по недѣлямъ. Жили они въ большомъ университетскомъ городѣ замкнуто, тихо, внѣ

интересовъ польской колоніи. Показывались только въ театрѣ. Знакомыхъ имѣли немного,—каждый своихъ.

Сейчасъ Янъ болталъ различный вздоръ, городскія сплетни, газетныя новости и замѣтилъ самодовольно:

— Д-да... мы идемъ... мы двигаемся... Чортъ возьми, жизнь интересная штука.

Ванда принесла кофе.

Онъ грубо пошутилъ съ блѣдной, молчаливой, замкнутой дѣвушкой.

— А, ну-ка, признавайся, съ кѣмъ ты ночевала сегодня?

Ни Тереза ни Ванда не удивились. Привыкли.

Жена спросила разсѣянно:

— Ты уходишь, Янъ?

— Да.

— Надолго?

— Нѣтъ. Я къ Дальчевскимъ. Кланяться?

— Разумѣется. Пожалуйста.

Тереза казалась убитой. Отъ внутренней пожирающей тревоги подъ глазами легла синева.

Пробормотала:

— А я жду гостью.

Янъ недовольно пожалъ плечами.—Ирэну Мошко? Ну, конечно... Сколько разъ онъ уже просилъ не принимать ея? Кокотка изъ общества... Недурная подруга для порядочной женщины, чортъ возьми!.. Да... да... Пусть Тереза не шутитъ этимъ... Кокотка! Говорятъ, она теперь на содержаніи у трехъ сразу... вотъ!.. Потомъ она влюбилась въ писателя, того... блаженнаго... Заневскаго... Бѣгаетъ за нимъ... Скандальная особа.

Тереза перебила, раздражаясь:

— Ахъ, оставь меня въ покоѣ... насчетъ Инки у меня свое мнѣніе... И потомъ, что тебѣ до того?

— Но это глупость... неосторожность.

Ушелъ разсерженный.

Тереза уныло блуждала по квартирѣ.

Изрѣдка трогала то одну, то другую вещь на столикахъ, этажеркахъ. Ничего не любя здѣсь, внесла, однако, сюда весь свой врожденный вкусъ, спокойное изящество, строгость тоновъ.

Заглянула даже въ кухню, гдѣ шила Ванда.

Въ ней снова проснулось отчаяніе, изумленіе, смятеніе, желаніе убѣжать, спрятаться, не видѣть, не говорить.

Антось вернулся. Боже великій! Боже всесильный!..

Потомъ это смѣнилось тусклымъ равнодушіемъ.

Ея мысли приняли обычное теченіе. Она хотѣла думать, что въ ней самой не совершалось никакихъ нравственныхъ переломовъ, не рождалось никакихъ надеждъ на будущее. Уже заранѣе, еще не видя Пшерминскаго и не говоря съ нимъ, въ силу ли предчувствія или просто безволія, отрекалась отъ самой себя, становилась прежней. Распущенной, дерзкой, грубой. Во всемъ тѣлѣ поднялось ощущеніе нравственной нечистоты. Губы пылали, складывались въ порочную улыбку. Глаза загорѣлись новымъ, острымъ, вызывающимъ огонькомъ. Она щурилась, пристально разсматривая себя въ зеркало. Находила свои плечи излишне тонкими, кожу несовсѣмъ чистой, прическу не къ лицу. Неодобрительно осмотрѣла блѣдныя музыкальныя руки. Осталась недовольна платьемъ. Пшерминскій—знатокъ женщинъ. Какой онъ найдетъ ее? Что скажетъ? На днѣ души, помимо ея воли и сознанія, шевелилось гаденькое, пошлое любопытство.

Потомъ мысли метнулись въ другую сторону.

Думала о матери Яна,—злой старухѣ въ Вильно, которой нужно написать ласковое и любезное письмо, то о тетѣ Юліи, куда необходимо заглянуть скоро. На-

конецъ остановилась на Ирэнѣ Мошко. Перенеслась къ прошлому, ко дню, который выпукло и глубоко врѣзался въ память.

Варшава. Лазенковскій паркъ. Мокрый, неуютный осенью. Отъ темнаго озера становится еще холоднѣе. Жаль лебедей. Скучно смотрѣть на дворецъ. Уныло ропщутъ деревья. Бродила здѣсь, одинокая, усталая, равнодушная. Проѣхалъ мимо щегольской экипажъ. Въ каретѣ мелькнула женская фигура. Черная вуаль, брошенныя вдоль платья руки. Прекрасное блѣдное лицо и, ахъ, какіе скорбные, какіе ужасные въ своей неподвижности глаза!.. Думала тогда уже не о своемъ горѣ, а объ этой... неизвѣстной. Что нужно перенести, чтобы имѣть такой стонущій, кричащій взглядъ?

Случайно онѣ оказались въ одномъ и томъ же отелѣ. Узнала имя незнакомки. Ирэна Мошко... Швейцаръ и лакеи улыбались двусмысленно. Какой-то толстякъ, услыхавъ вопросъ, живо оглянулся на Терезу, нахально разглядывалъ. Слышала, какъ спросилъ:—Эта тоже?

Тереза вернулась въ номеръ потрясенная. Ага... вотъ оно... И тогда же она полюбила ее пылко, фанатично, какъ никогда не любила ни матери, ни тетки, ни подругъ.

Тамъ же, въ Варшавѣ, онѣ познакомились, стали друзьями. Милая, гордая, несчастная Инка!

Здѣсь встрѣтились снова. Видѣлись часто. Однако Тереза не рѣшалась посвятить ее въ свои дѣла. Нѣтъ, лучше помолчать. Приготовилась встрѣтить Инку, какъ всегда, радушно, тепло, но ничѣмъ не выдать душевнаго хаоса.

Наканунѣ грядущаго несчастья, вдругъ, заковала себя въ строгое, холодное молчаніе. Въ ней заговорила стыдливость горя.

Пришла наконецъ Ирэна.

Ослѣпительно-прекрасная, тихая.

— Какъ вы хороши сегодня,—восхитилась Кшевицкая,—какъ вы хороши, Инка... И вы мнѣ чудитесь совершенно новой.

Изъ-подъ полей широкой черной шляпы глаза Ирэны улыбнулись мечтательно. Что-то свѣтлое прилило къ лицу и зажгло печальную улыбку монахини, а не падшей.

— Я сегодня думала о любви, Тэрка... о любви оправданной... И о покаяніи... Слышите? Не смѣйтесь... Кажется, все это существуетъ... Ахъ, если бы я могла вѣрить!

Разсказывала, что вездѣ цѣлыя груды осеннихъ листьевъ и во всемъ разлитъ мистицизмъ смерти.

Волнуясь, говорила о литераторѣ Заневскомъ.

— Онъ—мое наказаніе за прошлое... Я вѣрю въ возмездіе. Когда я встрѣчаю его, то всегда почему-то думаю о смерти.

Созналась, что любитъ до безумія, до границъ, за которыми слѣдуетъ реквіемъ. Впрочемъ, надежды у нея мало. Она не во вкусѣ литератора. Въ первую же встрѣчу съ нимъ ее охватила мертвая тоска. Она всегда боялась любви.

— Знаете, Тереза,—сказала Мошко,—когда изъ-за меня застрѣлился маленькій Боржекъ, мнѣ кажется, я одна поняла его. Онъ натолкнулся на невозможное, это невозможное понялъ всѣмъ своимъ существомъ и объ него разбился. Я его не любила и любить не могла, держать при себѣ, какъ поклонника, тоже не хотѣла, я не играю людьми. Жить безъ меня онъ находилъ невозможнымъ. Ну, и Боржекъ застрѣлился. Онъ сразу избавился отъ большой муки. Меня обвиняли въ рисовкѣ... Ахъ, я совсѣмъ не позировала, когда рыдала

на похоронахъ... Я просто думала о своемъ невозможномъ... Многіе изъ насъ находятъ его и... разбиваются.

Тереза задумалась.

Душа ея, слабая и усталая, предчувствуя Голгоѳу, проходила таинственно какія-то новыя стези, блуждала въ лѣсу воспоминаній, предразсудковъ, дѣтскихъ сказокъ о раѣ и адѣ, замирала въ паническомъ ужасѣ. Если бы Ирэна знала...

Глядѣла на нее любовно. Какъ прекрасна была эта изящная женщина въ черномъ съ бѣлой астрой у пояса! Какія благородныя линіи плечъ, рукъ, таліи, какіе темные, глубокіе глаза, какія яркія, говорящія губы...

На одну минуту тамъ, внѣ сознанія Терезы, а лишь въ области чувствъ мелькнула мысль, что Ирэна должна кончить трагически. Потомъ смѣнилось приливомъ нѣжности.

— Все будетъ хорошо, Инка, все будетъ хорошо... Не печальтесь.

II.

Въ среду Ванда принесла письмо. Глаза у нея были заплаканы. Тереза удивилась. Что случилось? Голова болитъ? Ну, это отговорка. Можетъ быть, ее бранилъ баринъ?

Дѣвушка поджала тонкія губы.

— Да, сердились.

Она ушла очень быстро.

Письмо было отъ Лины Дальчевской, жены архитектора, знакомой еще со школьной скамьи. Легкомысленный тонъ. Яна ждутъ. Заневскій, литераторъ, изъявилъ горячее желаніе познакомиться съ Терезой.

Кшевицкая чуть не ахнула. Заневскій? Тотъ, кого любитъ Ирэна? Какая случайность... Конечно, она слы-

шала не разъ о Вацлавѣ Заневскомъ, и отъ Пшерминскаго, и отъ Ирэны, и отъ другихъ, по газетамъ, конечно, но познакомиться съ нимъ ей никогда не приходило въ голову. По общему мнѣнію, Заневскій былъ умный, талантливый беллетристъ, а не имѣлъ успѣха потому, что преслѣдовалъ неновую, смѣшную идею: отреченіе отъ половой жизни. Это казалось нелѣпымъ, театральнымъ и вмѣстѣ шаблоннымъ. Онъ возмущалъ средняго читателя мистическими, таинственными романами, полными аскетизма, словно созданными въ кельѣ бретонскаго монаха подъ впечатлѣніемъ суроваго Ѳомы Кемпійскаго.

Еще недавно Тереза прочла повѣсть Заневскаго «Къ небесамъ» и была поражена силою, красотою этихъ душистыхъ строчекъ. Онъ вызвалъ въ ней цѣлую нравственную бурю, неудержимый порывъ къ искупленію, мечту о замкнутой жизни среди отвлеченныхъ понятій, жажду мистической любви, мистическаго сближенія душъ. Онъ также нѣсколько успокоилъ ея тревогу вѣрующей католички, любящей священника, но всегда помнящей о грѣхѣ и возмездіи, увѣряя, что любовь безъ близости—подвигъ, искупительная жертва передъ Богомъ. Она недоумѣвала теперь, какимъ образомъ Заневскій заинтересовался ею? Какъ отнесется къ этому Ирэна?

Подѣлилась новостью съ мужемъ.

По случаю неприсутственнаго дня Янъ былъ дома. Она застала его на кушеткѣ съ газетой и обычной бутылкой пива.

— Заневскій?—протянулъ онъ, зѣвая.—Ну, что же... онъ—добрый малый... Я встрѣчалъ его у Дальчевской... И серьезно талантливъ.

— Но вѣдь ты не читалъ ни одной его вещи?

Кшевицкій свистнулъ... Пфа!.. развѣ для того, чтобы

говоритъ о писателѣ его нужно читать? Заневскій отрицаетъ физіологическую любовь... Те... те... те!.. Это не мѣшаетъ ему, однако, строить куры Линѣ Дальчевской. Э, да всѣ они на одинъ ладъ... Янъ притянулъ жену грубымъ, чувственнымъ жестомъ, цѣлуя сначала въ губы, потомъ шею, около уха. Краска залила лицо Терезы. Нервно высвободилась. Ну, ну... онъ изомнетъ ее всю. Пусть лучше самъ переодѣнется. Дальчевская ждетъ его къ обѣду. И потомъ, за что онъ бранилъ Ванду?

Кшевицкій нахмурился.

— Эта мерзавка уже жаловалась?

— И не думала. Я сама замѣтила. У нея заплаканные глаза.

Янъ перебилъ... Ну, да, знаемъ... «заплаканные глаза». Онъ не такъ уже глупъ, какъ она воображаетъ. Тереза давно подозрѣваетъ его и Ванду... хотя, по совѣсти, это безуміе... Ей-Богу же, безуміе...

— Ты съ ума сошелъ?—изумилась Тереза.—Я? Тебя? Ванду?

Онъ понялъ ошибку. Замялъ разговоръ, неловко наливая себѣ пива.

— Я пошутилъ... Чортъ съ нею... Отчего ты грустна?

— Нѣтъ... ничего.

Кшевицкій прищурился. Проницательно и вмѣстѣ глупо.

— Ты страдаешь съ нѣкоторыхъ поръ... Я убѣжденъ.

Она холодно пожала плечами.

— Почему? Что за вздоръ!..

— Почему?—передразнилъ онъ.—Почему, я не знаю, но видѣть ежедневно перекошенную физіономію не больно сладко.

— Я тебѣ не мѣшаю.

Онъ не понялъ ея ироніи, глядя на яркій, упрямый ротъ. Тормошить съ алчными огоньками въ глазахъ.

— Я начинаю влюбляться въ тебя снова, малютка... Зачѣмъ ты посадила меня на діэту? Вы женщины хитрѣе насъ... вы умѣете разнообразить чувство... Я долженъ, въ сущности, поблагодарить тебя.

Она разсердилась. Это оскорбительно... цинично...

Янъ развалился, потягиваясь. «Разскажите вы ей...» Онъ не вѣритъ въ женскую стыдливость. Бабѣ нужна постель прежде всего и чѣмъ съ нею грубѣе на этой постели, тѣмъ лучше... Куда, однако, отправляется Тереза? Къ тетѣ Юліи? Дѣло. Старуху нужно навѣщать. Она всегда пригодится. А потомъ куда?

Невольно опустила глаза.

— Я забѣгу къ настоятелю... ксендзу Ганушу... Собираютъ въ пользу новаго пріюта... Мы еще не давали.

— Къ черноряснику? Охъ, уже эти мнѣ ксендзы!

Грязно шутилъ по поводу целибата.

Тереза почти убѣжала, возмущенная.

Ванда уже улыбаясь отворяла дверь барынѣ.

Тереза шла къ теткѣ.

Было тепло, пасмурно и тихо. Отъ вчерашняго ливня остались борозды, земля разбухла, легко вдавливалась подъ ногою. Вездѣ лежали каштановые и кленовые листья, словно маленькія потухшія звѣзды. Въ воздухѣ, упругомъ, плотномъ, насыщенномъ влагою, долго задерживались, не таяли различные звуки.

У Терезы кружилась голова.

Она щурилась, лѣниво подымая подолъ, и два-три раза вяло отвѣтила на поклонъ. Обдумывала разговоръ съ тетей Юліей. Если бы старуха указала ей какой-нибудь выходъ... Старая сводница! Она ненавидѣла и презирала

тетку. Возмущалась тому, какъ легко попала ей въ руки...

Ахъ, это все ея обычная, болѣзненная, никчемная болтливость!

Старуха относилась къ ней иронически. Считала комедіанткой, развратницей, а послѣ исторіи съ Пшерминскимъ просто глупой. Не сумѣла забрать въ руки... Сегодня Бжезовская встрѣтила племянницу разстроенная, злая. Да, тутъ заворчишь, если обкрадываютъ чуть ли не ежедневно. Трехъ платковъ нехватаетъ и пары чулокъ...

— Неужели? Здравствуйте, тетя... Я къ вамъ по дѣлу.

— А безъ дѣла нельзя?

Въ полутемной заставленной комнатѣ удушливо пахло бензиномъ.

— Что случилось?—бормотала тетя Юлія, возясь съ кофейникомъ.—Гдѣ твой мужъ?

Тереза объяснила. Бжезовская язвительно фыркала. У Дальчевской? Второе воскресенье? Значитъ романъ съ Линой вовсю. О чемъ только думаетъ Тереза? Лина—прехитрая бестія. Тереза еще наплачется отъ нея, дай срокъ...

Кшевицкая молчала.

Старуха тяжело сѣла, принимаясь за бутерброды. Вся она, смуглая, толстая, съ обильной растительностью, была сегодня особенно непріятна Терезѣ.

— Кушай же... Это вкуснѣе, чѣмъ ты думаешь...

— Благодарю, тетя... потомъ... у меня такое горе.

— Что съ тобой? Беременна? — покосилась Бжезовская.

— А, нѣтъ... Пшерминскій вернулся.

Тетя Юлія ахнула. Какъ? Когда? Кто сказалъ? Зачѣмъ?

Потомъ шумно и притворно вздохнула.

— Что дѣлать? Прошлаго не воротишь. Тебѣ слѣдовало вести себя лучше, малютка...

Впрочемъ Пшерминскій не имѣетъ никакихъ доказательствъ. Тебѣ нечего бояться. Нѣтъ ни малѣйшей опасности.

Тереза сухо разсмѣялась. Ахъ, она совсѣмъ забыла, какъ всегда хладнокровна тетя. Но, можетъ быть, по ея мнѣнію пустяки и отвращеніе къ мужу?

Старуха разсердилась. Глупости... фантазіи... Бракъ это чисто коммерческая сдѣлка. Пора понять, кажется... Было бы также лучше, если бы Тереза рѣже шушукалась съ ксендзами.

— Нужно смотрѣть трезво на жизнь, матушка.

Кшевицкая безпомощно откликнулась:

— А если я опять сойдусь съ Пшерминскимъ?

Тетя Юлія пожала плечами. Ея дѣло... Боже мой, всѣ онѣ любили въ свое время, но не разводили драмъ... вотъ въ чемъ разница... онѣ винили, обыкновенно, судьбу, въ рѣдкихъ случаяхъ—мужа, но себя—никогда. У нихъ любовь была радостной. Приправа. Развлеченіе. Тереза молода, красива. Естественно, она не можетъ безъ этого. Съ годами все пройдетъ.

Бормотала, фыркая, какъ разсерженная кошка. Сентименты! Комедіи... Кому нужно ея раскаяніе?.. Просто курамъ насмѣхъ. Наконецъ, если уже такъ невтерпежъ, пусть идетъ на исповѣдь... пощекочетъ ксендзу нервы...

Тереза молчала. Дѣйствительно, было безуміемъ ждать здѣсь помощи.

Потомъ онѣ сѣли обѣдать. Теперь тетя Юлія восторгалась Пшерминскимъ. Нѣтъ, она не удивится, если Тэрка сойдется съ нимъ... изященъ, красивъ, богатъ... особенно по нынѣшнимъ временамъ...

Кончила вскользь:

— Что бы ни случилось, — ты найдешь во мнѣ поддержку, малютка.

«О, не сомнѣваюсь», иронически подумала Тереза.

Пробормотала:

— Благодарю васъ, но... не будемъ говорить о Пшерминскомъ.

Тетя Юлія вспыхнула.

— Уже не думаешь ли ты, что вся эта грязная исторія доставляетъ мнѣ удовольствіе?

Чуть-чуть не поссорились серьезно.

— Дома ксендзъ-настоятель?

Лакей пропускалъ Кшевицкую.

— Пожалуйте. Я сейчасъ доложу.

Въ пріемной и сосѣднемъ кабинетѣ пахло чѣмъ-то неуловимо-пріятнымъ, не то дорогими духами, не то сигарой. Было изящно, нарядно, свѣтло. Много живыхъ цвѣтовъ. Рояль.

Оглядывалась кругомъ.

Комната носитъ отпечатокъ живущаго.

Предметы смѣялись надъ Тэркой. Они не выдадутъ тайны. Здѣсь онъ думалъ, говорилъ, работалъ, но ничего изъ этого она не узнаетъ. Ничего, никогда.

Въ раскрытое окно глядѣло вечернее небо. Плыли, ломались, мѣняли очертанія, совсѣмъ таяли розовыя облака. Вся широкая улица, стѣны, окна, подрѣзанные каштаны, медленно проѣзжающіе извозчики запылали въ лучахъ заходящаго солнца.

Ахъ, эта грустная сказка умирающей природы!

Тосковала, стягивая и натягивая перчатки.

Въ передней поминутно звонили. Слышались женскіе и мужскіе голоса. Мимо закрытой двери шуршали юбки.

«Засѣданіе», рѣшила Тереза.

Дѣйствительно, ксендзъ Ганушъ вышелъ озабоченный, офиціальный. При видѣ Кшевицкой по его лицу скользнула тѣнь неудовольствія.

— Извините... У меня собраніе членовъ нашего благотворительнаго общества.

— О, я задержу настоятеля всего лишь нѣсколько минутъ.

Отдавала пожертвованіе. Обѣщала похлопотать еще у знакомыхъ.

Ксендзъ Ганушъ слушалъ, стоя съ легкой, незначущей улыбкой.

Лѣтъ сорока, очень худъ, очень смуглъ, своеобразенъ во всемъ, начиная съ голоса и кончая походкой. Лицо подвижное, умное, съ большими, гордыми, на рѣдкость прекрасными глазами и крупнымъ, властнымъ ртомъ. Движенья, рѣчь быстры, но безъ суетливости. Сейчасъ онъ сухо благодарилъ Терезу.

Она не уходила. Путаясь, волнуясь спросила, за что онъ такъ враждебно относится къ ней.

Настоятель выразилъ холодное, непріятное удивленіе. Онъ? Къ ней? Да онъ совершенно не знаетъ ея.

Тереза продолжала съ отчаяніемъ. Неужели никогда она не заслужитъ его одобренія, участья? Пусть ксендзъ Чеславъ только скажетъ, какой ей нужно быть, чтобы онъ измѣнился къ ней...

Выходило глупо и театрально.

Она сгорала отъ стыда, а онъ нервно пожималъ плечами.

— Ничего не понимаю... Рѣшительно ничего.

Потомъ пресѣкъ сразу этотъ неумѣстный разговоръ. Ей лучше пойти къ конфессіоналу. Здѣсь много интимнаго... дѣло совѣсти... онъ не имѣетъ чести знать ее

близко и вообще (въ голосѣ зазвенѣла ироническая нота).

— Я—плохой психологъ, пани.

Освѣдомился небрежно:

— У кого исповѣдуетесь?

— У викарія.

— Ну, вотъ... идите къ нему... Посовѣтуйтесь...

Его явное неудовольствіе, еле сдерживаемое нетерпѣніе и послѣдняя подчеркнутая фраза парализовали Терезу. Можетъ быть, онъ уже догадался о ея чувствѣ къ нему? Онъ не выносилъ ея. Это ясно.

Кшевицкая растерялась. Поднесла тонкую руку къ губамъ робко, какъ провинившаяся дѣвочка.

Настоятель не провожалъ ея.

Въ гостиной Кшевицкой сидѣла обычная гостья—Лина Дальчевская, жена архитектора. Янъ пилъ пиво, тихо оправдываясь въ чемъ-то. Тереза, собираясь уходить, прикалывала шляпу. Лина сказала вкрадчиво:

— Въ костелъ? Совсѣмъ святая... помолись за насъ.

Янъ фамильярно подмигнулъ ей. Го... го... го!.. Это становится подозрительнымъ... Уже не влюблена ли Тереза? Всѣ влюбленныя женщины религіозны.

Лина сыпала новостями. Упомянула, что къ ней съ чего-то пріѣзжала Ирэна Мошко.

— Да... да... Пріѣхала. Цвѣтовъ привезла. Нервничала. Глаза такіе вопросительные, умоляющіе.

— Видно, хотѣла выпытать что-нибудь о Заневскомъ,—ехидно и грубо добавила Дальчевская.

Тереза сдержанно удивилась. Янъ стукнулъ стаканомъ.

— Мошко распутничаетъ открыто... рисуется своей смѣлостью... Я бы не пустилъ Ирэну на порогъ порядочнаго дома.

Сплетни лились рѣкой.

Кшевицкая съ ужасомъ думала о томъ времени, когда ея чувство къ настоятелю станетъ извѣстнымъ. Любовь трудно скрыть. Любовь—это сіяніе надъ головою.

Она ушла задумчивая и грустная.

Тотчасъ же Янъ началъ интимно жаловаться Дальчевской.

Охъ, ужъ эти истерички... ни въ чемъ нѣтъ мѣры... Онъ становится съ каждымъ днемъ все несчастнѣе. Тереза рѣшительно отказывается исполнять свои супружескія обязанности. Передъ дѣтскимъ поцѣлуемъ слезы, отвращеніе, страхъ... въ ихъ спальнѣ происходятъ чудовищныя сцены. Порою вынужденъ прибѣгать къ насилію. Гадко, но... что подѣлаешь? Какъ мужчина онъ чувствуетъ себя глубоко оскорбленнымъ и не понимаетъ причины. Тереза ссылается на желаніе быть чище... А, вздоръ, ерунда! Изъ-за нея онъ сошелся съ этой малокровной дрянью, Вандой. Теперь куча непріятностей, почти скандалъ. Да, дорого ему стоятъ фокусы жены. Не пойти ли, въ крайности, къ ксендзу? Пусть заставятъ хоть чернорясники... они имѣютъ вліянія на женскія души, надо сознаться... Тетя Юлія передавала ему, что Тереза увлекается ксендзомъ Ганушемъ... платонически (чортъ знаетъ, что такое!). Э, все возможно въ концѣ концовъ. Она вѣдь психопатка. Если это правда...—ну, онъ способенъ помириться, волновать жену чужимъ именемъ. Такъ поступалъ одинъ изъ его товарищей и всегда достигалъ цѣли. Къ шуту всякую нравственность! Женщину, женщину!.. Онъ боленъ изъ-за подобной діэты. Онъ не желаетъ тратить по пустому годы. Онъ хочетъ жить,

какъ всѣ. Онъ, слава Богу, здоровый, нормальный человѣкъ. Какъ всѣ и ничего больше...

Лина жадно слушала Кшевицкаго. Дорогой мальчикъ!.. Не жизнь, а каторга... Она понимаетъ его...

— Я бы разошелся съ Терезой, — мрачно заявилъ Янъ, — но это убьетъ мою мать... нужно пощадить старуху.

Лина кокетливо, дѣланно-сконфуженно, протянула руки.

— Ну, довольно... довольно... вы меня мучаете... Я сгораю отъ ревности... Гадкій, злой Янекъ.

Волновалась, прелестно играя роль дѣтки, вся розовая и смѣющаяся.

Онъ властно и сильно притянулъ ее къ себѣ, заглядывая въ смущенные глаза.

— А Заневскій?.. Литераторъ?.. Я думалъ Заневскій...

— Но онъ глупъ, милый,—обидѣлась Дальчевская,— онъ глупъ.

Тереза медленно входила въ костелъ.

Охватило ароматомъ ладана, цвѣтовъ, старыхъ матерій, влажнымъ, особеннымъ запахомъ церкви. Кое-гдѣ темнѣли фигуры старухъ изъ богадѣльни, низко склоненныя надъ молитвенниками. Сметалъ пыль сакристіанъ, потомъ снималъ покрывало съ главнаго алтаря, поправлялъ свѣчи. Въ полуоткрытую дверь ризницы виднѣлись мальчики, уже одѣтые для службы, шушукались и тихонько шалили. Каждый шорохъ, шаги, кашель, громкое слово молитвы, трескъ въ партахъ и конфессіоналѣ звучали гулко, удвоенно и потомъ не сразу таяли въ куполѣ. Казалось, до начала богослуженія костелъ говорилъ. Среди зелени пальмъ бѣлѣлъ главный алтарь. Видно было, какъ склонялись извнѣ

вѣтки къ цвѣтнымъ стекламъ и царапали скользкую поверхность, рвались внутрь. Сумерки прокрались въ притворы, ползли выше, затушевали углы и лики святыхъ.

Знакомая, странная, томительная тоска по чему-то лучшему, несбыточному, неземному жгла сердце Терезы. Взглядъ медленно скользилъ по предметамъ. Внутренняя молитва, внутреннее восхищеніе не только таинственнымъ, но и реальнымъ. Ахъ, она такъ любила костелъ!.. Любила пѣніе псалмовъ, однообразное, покорно-тоскливое, словно кто-то рыдалъ подъ сводами, рвался къ небу и бился здѣсь, на землѣ, въ безысходномъ отчаяніи. Любила нѣмые притворы, лики святыхъ, колебаніе свѣчей, клубы ладана. Любила умирающіе цвѣты на алтаряхъ, матовый блескъ кадильницъ, мелодію органа. Любила всю эту таинственную, мистическую обстановку костела, заставляющую такъ неустанно, пылко грезить о Богѣ.

Сквозило. Продолжали звонить. Парты заполнялись.

Молодой викарій, наивный и жизнерадостный, несмотря на опущенныя рѣсницы, занялъ лѣвый конфессіоналъ; капелланъ, съ замкнутымъ, болѣзненнымъ лицомъ—правый.

Изнемогая отъ тоски, Кшевицкая перебирала четки. Мраморная Мадонна кротко молилась въ нишѣ. Она долго глядѣла на Нее.

«Я—Непорочное Зачатіе.»

О чемъ Тереза могла просить Ее?

Вечерню началъ ксендзъ Ганушъ.

Гордый профиль. Бѣлизна ризы. Блескъ золотой пряжки на груди. Мягкій, знакомый голосъ.

«Deus, in adjutorium meum intende...»

Воскликнула мысленно отъ всего сердца вмѣстѣ съ органомъ.

«Domine ad adjurandum me festina...»

Негромко и скорбно пѣлъ мужской голосъ о Вѣчномъ.

«Dixi Dominus Domino meo...»

Закрыла лицо руками. Глубокая черная бездна души. На днѣ грѣхъ, отчаяніе, развратъ. Или такъ предопредѣлено, ничего не измѣнишь? Осуждена уже? Осуждена до вѣчности... Боже, о Боже, милосердія! Отчаяніе смѣшивалось съ приливомъ внезапныхъ сомнѣній, не ждала уже помощи отъ неба. Молилась, чтобы отвлечь мысли, заглушить внутренній хаосъ.

«Laudate, pueri, Dominum, laudate nomen Domini...»

Гимнъ глубочайшей, почти нечеловѣческой покорности. Ангелы диктовали его. Вся скорбь міра, все безсиліе души передъ невозможнымъ вылилось въ немъ. О, скорбная иронія! О, величіе побѣжденныхъ!..

«Excelsus super omnes gentes Dominus, et super coelos gloria ejus...»

Руки медленно перебирали четки, головы безпомощно опускались передъ Великимъ, уста пламенно молили о помощи. Свѣчи горѣли лишь у главнаго алтаря и казались розовато-желтыми лепестками нездѣшнихъ цвѣтовъ.

«Dirigatur, Domine, oratio mea»...

Упивалась любимымъ голосомъ, словно пила душистое, сладкое вино. Сохраняла бархатные звуки въ тайникахъ души, какъ хрупкое, безцѣнное сокровище. Не видѣла, не слышала ничего изъ окружающаго. Твердила его имя съ благоговѣніемъ. Оно обжигало губы. Священная облатка, невидимое прикосновеніе чьихъ-то легкихъ, тонкихъ пальцевъ.

«Magnificat anima mea Dominum».

Шорохъ встающей толпы. Мелодичное звяканіе кадильницы... Въ туманѣ ладана неясно любимая голова,

тонкая рука, край манжеты... Кажется, поетъ не только хоръ съ органомъ, но и цвѣты, и хоругви, и всѣ святые на стѣнахъ...

«Sicut locutus est ad patres nostros»...

Ксендзъ Ганушъ сходитъ по ступенькамъ къ подножью алтаря, таинственный, далекій и чуждый всѣмъ, какъ лучъ на дароносицѣ. Черные, широко-раскрытые, бездонные глаза... безстрастное выраженіе губъ... неподвижность сложенныхъ рукъ. Вся кровь бросается въ голову Терезѣ. Полъ, парты, алтарь плывутъ куда-то. Во рту пересыхаетъ. Терзаетъ огненная жажда. Какъ тяжело бьется сердце!.. Чудится, будто сосѣдки понимаютъ ея мысли. Страшно оглянуться, а еще страшнѣе молиться.

Словно бѣлый непорочный голубь летитъ хвалебная пѣснь Маріи—Salve Regina.

Вечерня кончилась. Тушили электричество. Шаги, кашель, шорохъ юбокъ. Прошелъ органистъ съ хоровъ. Крестили ребенка въ притворѣ. Дѣтскій плачъ, слабый, болѣзненный, жалобный.

У Терезы дрожали колѣна. Вышла слабой, неровной походкой.

Пшерминскій ждалъ ее у костела.

Пшерминскій развязно пошелъ ей навстрѣчу. Все тотъ же красивый, выхоленный блондинъ, безукоризненно одѣтый. Слегка небрежный.

Поцѣловалъ ея руку, говоря такъ, словно они разстались вчера.

— Здравствуйте, малютка... Здравствуйте, моя дорогая.

Пошла съ нимъ въ ногу, блѣдная до прозрачности, замкнутая.

Улица была пуста. Вѣтеръ усилился. Лиловато-сѣрыя тучи неслись съ быстротой, замѣтной для глаза. Надъ колокольней, вылетая изъ ея темныхъ углубленій, кружилась цѣлая стая крикливыхъ птичекъ. Падали сумерки. Деревья роняли послѣдніе листья. Оставшіеся трепетали на вѣтвяхъ, словно одинокія, умирающія бабочки съ перебитыми крылышками.

Пшерминскій старался заглянуть въ лицо Терезѣ. Можетъ быть она хочетъ выпить чашку шоколода у Рабю? Боже мой, какъ она вздрогнула... Ну, не надо, не надо... во всякомъ случаѣ онъ обиженъ. Онъ ждалъ иной встрѣчи. Что онъ сдѣлалъ дурного?

Пробормотала сквозь зубы:

— А дальше?

Дальше то, что они должны поболтать, какъ старые друзья, выяснить, опредѣлить ихъ отношенія.

— Наши отношенія? Вы съ ума сошли?

Да нѣтъ же... ничуть... пусть она будетъ только фаталисткой... Если они снова встрѣтились, значитъ такъ нужно. Fatalita... И они поѣдутъ сейчасъ же къ нему, Пшерминскому. Да. Чортъ возьми, какъ она красива, когда сердится!.. Эй, извозчикъ!.. Ну, вотъ... разъ, два... А теперь пусть она дастъ свои лапки... Такъ... отлично...

У нея вырвался измученный, изступленный крикъ:

— Послушайте, вы завладѣли мною изъ пустой прихоти и бросили тоже по прихоти. Вы развратили меня, искалѣчили... отняли желаніе жить... не достаточно ли вамъ всего этого?

— Ба! Зачѣмъ такъ трагично? Само собою разумѣется,—недостаточно. Онъ влюбленъ въ нее безъ памяти. Тереза должна быть польщена. Онъ вернулся только изъ-за нея въ эту трущобу.

Кшевицкая еще защищалась.

— Вы не имѣете на меня никакихъ правъ... вы ихъ никогда не получите... я вамъ чужая.

Пшерминскій отозвался хладнокровно, скучая:

— Извините... мужчина всегда имѣетъ права на женщину, которая принадлежала ему... всегда... хотя бы даже черезъ сто лѣтъ... и если бы вы сами не чувствовали своей зависимости, вы бы не говорили съ докторомъ Шатковскимъ... вы бы указали ему на дверь... Почему вы выслушали доктора?

Униженная, внѣ себя отъ стыда, она молчала.

— Простите, я былъ грубъ, Тэрка, и извиняюсь... Забудемъ эту вспышку. Зачѣмъ клеветать на прошлое и зачѣмъ омрачать встрѣчу?

Онъ продолжалъ полуискренно, полуаффектировано. Тереза дала ему столько счастливыхъ минутъ. Она была такъ нетронута, неопытна и вмѣстѣ такъ трогательно отзывчива на каждую ласку. Вообще, онъ увлекается цѣломудренными, религіозными женщинами. Когда въ нихъ просыпаются желанія, онѣ боятся ихъ, ненавидятъ, плачутъ, каются, борются и все-таки падаютъ. Въ ихъ любви всегда искреннія, теплыя ноты раскаянія. Онѣ какъ бы смачиваютъ кровью каждый поцѣлуй, каждое объятіе. Ихъ сердце—вѣчно ноющая рана. Если онѣ и падаютъ, то обоготворяютъ своего любовника, переносятъ на него свое томленіе о чистотѣ, идеалѣ, Богѣ. Это все увеличиваетъ, обостряетъ наслажденіе. Потомъ остается терпкій, раздражающій привкусъ ихъ горя, словно ароматъ какихъ-то таинственныхъ жгучихъ слезъ, слабая тѣнь отчаянія, борьбы. Тереза, по его мнѣнію, именно такая женщина. И онъ не можетъ забыть ея, не можетъ... Онъ любитъ ее.

Кшевицкой уже не хотѣлось спорить, бороться. Охватила слабость. Ледяное спокойствіе. Покорность.

— Моя жизнь скудна впечатлѣніями... Что же касается Яна... мы не интересуемся другъ другомъ.

Пшерминскій лукаво допытывался, вѣрны ли слухи, что она увлечена ксендзомъ-настоятелемъ? Почему Тереза сердится? Ахъ, да онъ шутитъ... только шутитъ... Развѣ можно полюбить ксендза? Разсказывалъ о себѣ. Онъ шатается за границей. Прокучиваетъ состояніе. Все надѣется умереть раньше нищеты. Впрочемъ, думаетъ теперь остепениться.

Кшевицкая плохо разбиралась въ томъ, что происходило. Мысли текли лѣниво, недружно. Впуталась въ сознаніе Ирэна... черная широкая шляпа, матовое лицо, пунцовыя губы... Страдаетъ ли она, отдаваясь? Можетъ быть, въ будущемъ ее, Терезу, ждетъ та же участь? Обострилось безразличіе. Стушевалось представленіе о трехъ годахъ одиночества, раскаянія, любви къ другому.

И теперь уже (думала) ничего нельзя измѣнить, а только постараться, чтобы ненавистныя ласки скорѣе кончились, и чтобы объ этомъ никто никогда не узналъ. Въ ея позѣ отразилось грубое равнодушіе. Она нѣсколько разъ нервно громко зѣвнула. Сквозь сукно юбки чувствовала сильныя, твердыя ладони. Онъ дышалъ надъ ея ухомъ. Искоса глядѣла на него... вотъ густая бровь, чуть-чуть горбатый носъ, подвитые усы...

— Сознайтесь, Тереза,—вдругъ сказалъ, улыбаясь, Пшерминскій, — раскаяніе пришло къ вамъ недавно. Да... да... возможно, вы сами убѣдили себя въ немъ... это случается. Я боготворю женщину, однако въ ея нравственность не вѣрю. Если женщина исповѣдуется, то лишь изъ страсти выбалтывать интимные секреты. Здѣсь играетъ большую роль еще тщеславіе, рисовка грѣхомъ. Женщина съ удовольствіемъ называетъ себя падшей. Право же... Ахъ, дорогая моя, какъ я

люблю васъ... эти глаза, эти скорбновопросительные глаза... Вы съ ума меня сводите... Слышите?

Она сжала губы и глядѣла на фонари, улицу и магазины. Дождь лилъ частый. Блестѣли лужи. Въ экипажъ дулъ влажный, ледяной вѣтеръ.

«А ксендзъ Ганушъ?» мелькнула мысль.

Сухое рыданіе сдавило горло, а руки отвѣтили на пожатіе Антося.

— Будешь моею?

— Буду.

— Сегодня?

— Сегодня.

— О, какъ я счастливъ!.. А ты?

— Счастлива.

Квартира была прежняя.

Комнату «свиданій» Тереза узнала сразу. Нѣсколько темная, очень густого краснаго тона, но уютная, стильная. Къ окну склонялось, скрипѣло старое дерево. Тереза вспомнила, какъ прежде она любила слушать этотъ жалобный, затяжной, унылый скрипъ. Сколько разъ она тихо плакала здѣсь!

— Я оставлю васъ на минуту, Тэся...

— Хорошо, Антось.

Глядѣла на туалетъ, столики, пуфы. Разсматривала бездѣлушки. Антось ничего не забылъ. Казалось, она ушла отсюда только вчера, а сегодня вернулась. Видно также, что ждалъ ее... спиртовка съ серебрянымъ чайникомъ, фрукты, конфеты...

Она медленно снимала влажное пальто, поправляла волоса, долго смотрѣла на себя въ зеркало. Блѣдное, тонкое лицо со скорбными глазами показалось чужимъ

и жалкимъ. Теперь ее пронизала дрожь остраго сожалѣнія къ себѣ самой, тусклая горечь передъ паденіемъ.

Неожиданно и странно пришли мысли, ничего общаго съ настоящимъ не имѣющія. Сидя на кушеткѣ и глядя въ темное окно, по стеклу котораго ручейками стекалъ дождь, представляла желтовато-грязную, ровную долину... Австрія... поѣздъ... также дождь... маленькій саквояжъ вздрагивалъ въ ея рукѣ... черная вуаль трепетала возлѣ лица... Это она ѣхала въ Швейцарію.

Уѣхала за границу, зная, что тамъ тогда былъ ксендзъ Ганушъ. Деньги еще оставались отъ Пшерминскаго. Янъ ничего не имѣлъ противъ: тетя Юлія намекнула ему, что это она балуетъ племянницу.

Тереза бродила одинокая, тоскующая и влюбленная на чужбинѣ.

Какъ было тяжело встрѣчать пароходы. Какъ она плакала въ пустыхъ церквахъ!

Ксендза Гануша не встрѣтила. Три мѣсяца нечеловѣческой муки. Потомъ вернулась.

Ощутила громадную пустоту при этихъ воспоминаніяхъ. Да, стоило ли жить послѣ этого? Зачѣмъ она жила?

Встала, потянулась. Ей хотѣлось быть сейчасъ грубой, распутной.

Антось пришелъ, радостно-возбужденный.

Обнялъ, заглянулъ въ глаза. Прочелъ ужасъ, покорность и слабую мольбу о пощадѣ.

— Какъ мы себя чувствуемъ?

— Превосходно, — пробормотала она.

Добавила послѣ паузы:

— Здѣсь ничего не измѣнилось.

— Ничего. Это тебѣ нравится?

— Да.

Усадилъ на кушетку. Жадно и долго цѣловалъ. Разжигался отъ сопротивленія.

Умоляла, слѣпая отъ муки:

— Послѣ... послѣ, Антось.

— Но, малютка...

Однако онъ уступилъ.

— Ну, а какъ денежныя дѣла твоего мужа?

— Плохи.

— А... проигрываетъ, кутитъ?

— И то, и другое.

Сидѣла, мерцая глазами, что-то обдумывая. Чутко прислушивалась, какъ стонетъ дерево.

— Я дамъ тебѣ денегъ... сколько хочешь... сегодня... Хорошо?—нагнулся къ ней Антось.

Прищурившись, оглядѣла его сытаго, влюбленнаго. Спросила почти цинично:

— Много денегъ?

— Много.

— Ну, хорошо,—зѣвнула она,—а пока что, дай чаю.

Онъ возился около столика, она лежала. Случайно посмотрѣла вправо. Нарядныя ширмы... за ними кровать... Какъ, вѣроятно, холодны простыни! Это случится... это случится сейчасъ... скоро... вотъ... вотъ... Неотвратимо, неизбѣжно... Руки похолодѣли. Глаза закрывались сами собою. Гадливость безъ мѣры. Что ей нужно сдѣлать. Какъ поступить? Какъ поступила бы на ея мѣстѣ другая женщина, сильная и цѣломудренная? Можетъ быть, нужно подняться, ударить, убить этого человѣка? Искать защиты у Яна? Или пойти къ ксендзу Ганушу?

Чудовищность послѣдней мысли совсѣмъ уничтожила Терезу. Нѣтъ, нѣтъ... гибнуть.

Только безъ крика.

Антось подошелъ къ ней съ хищной улыбкой. Его движенія были удивительны мягки, эластичны, какъ у кошки.

— Чай готовъ, но... развѣ....

Обдалъ горячимъ, взволнованнымъ дыханіемъ.

Послѣдній стонъ... полумольба... смятеніе, крикъ души, не слетѣвшій съ губъ... слабый отпоръ слабыхъ рукъ...

Закрыла глаза.

IV.

Тереза лежала въ неубранной спальнѣ.

Мужъ ушелъ на службу. Ванда возилась гдѣ-то въ глубинѣ комнатъ. Было тихо. Поздно. Вѣроятно, заполдень.

Взглядъ Терезы скользилъ по предметамъ, давно знакомымъ, но сегодня чужимъ, необычнымъ. Странными казались кружевныя шторы, матовый блескъ зеркальнаго шкапа, коверъ, лампа. Страненъ былъ умывальникъ, тумбочка, красныя туфельки на полу. Ничего не говорило сердцу. Распятье. Было понятно, близко и страшно только смятое черное платье на ворохѣ нѣжнаго, изящнаго бѣлья,—платье, которое вчера комкалъ Пшерминскій и по подолу котораго такъ символически краснорѣчиво бѣжала полоска грязи.

Тереза смотрѣла на него съ убійственной, ѣдкой, безпощадной ироніей. Удивлялась, какъ эти неодушевленные предметы нѣмы, искренно удивлялась.

Голова была тяжела. Пылала. Во рту отвратительный вкусъ. Грудь разбита.

Вчера, вернувшись отъ Пшерминскаго, застала тетю Юлію, Лину Дальчевскую, одного сослуживца мужа... Янъ устроилъ преферансъ. Возбужденно хохотала. Разсказывала рискованные анекдоты. Надъ нею подтруни-

вали. Гдѣ была пани Тереза въ такой ливень? За ужиномъ она пила коньякъ до неприличія. И что всего гаже... что всего гаже... потомъ ночью... Янъ... Ахъ!..

Невыносимая боль въ сердцѣ заставляла ежеминутно открывать глаза, вздрагивать, тихонько, жалобно стонать. Она каталась по постели, то кусая себѣ руки и беззвучно рыдая, то какъ-то истерически, съ икотой, смѣясь и гримасничая. Горе упало большое. Позорное и темное, оно любило мракъ и нельзя было довѣрить его никому на свѣтѣ, никому. Даже на исповѣди. Въ первый разъ священникъ не могъ помочь ей. Она не могла его послушаться. Кончено.

Облита грязью и сама грязь.

Разсмѣялась вслухъ. Съ наслажденіемъ хлестнула себя въ лицо уличнымъ словомъ. Губы ея кривились отъ отвращенія. Не отрываясь, глядѣла на смятое брошенное платье съ полоской грязи по подолу.

Вспоминала.

Вечерня... Алтарь... Magnificat... профиль ксендза Гануша въ дымкѣ ладана... потомъ Пшерминскій, дождь... запахъ экипажа... фонари...

Тогда еще она была чище, чѣмъ теперь. Еще принадлежала только себѣ.

Да, это случилось. Это *все-таки* случилось.

Внутренно, сквозь броню горя, удивилась своей наглости... Лгунья, проститутка... Да развѣ она боролась! Какъ будто она боролась, великій Боже!.. Какъ будто это являлось для нее неожиданностью. Смѣшно.

Лежать дольше становилось невыносимымъ.

Поднялась, желтая, осунувшаяся, съ грубымъ, новымъ выраженіемъ лица. Медленно одѣвалась (во все другое, не касаясь того, что лежало на стулѣ) и въ первый разъ за свое замужество не убирала спальни.

Въ столовой еле коснулась кофе, поглядѣла невидящими, мутными глазами на газету. Не рѣшалась смотрѣть на Ванду. При видѣ шляпы, тоже слегка помятой вчерашнимъ ливнемъ, ее затошнило.

Сейчасъ же ушла изъ дому, торопливо, пугливо, съ чувствомъ убѣгающаго вора. Куда? Такъ, впередъ... направо, налѣво, прямо... все равно... лишь бы подальше.

V.

Лина поцѣловала Кшевицкую.

— Здравствуй, милочка... Я привела Заневскаго... Онъ въ столовой съ твоимъ мужемъ...

Тереза неохотно отложила книгу.

— Заневскій?.. Такъ поздно...

Дальчевская удивилась.

— Хорошо поздно... еще нѣтъ и семи часовъ... Тереза не пожалѣетъ... Очень онъ интересенъ. Забавный такой.... рѣзкій....

— Какъ ты предполагаешь, Тэрка, неужели же онъ, дѣйствительно, монахъ?

— Не знаю, говорятъ...

Лина странно, непріятно улыбнулась.

— О, это было бы забавно... совратить... святого Антонія.

Думала о чемъ-то чувственномъ. Порозовѣла. Ужасно онъ сильный, Заневскій... неуклюжій... медвѣдь...

Терезу покоробило. Она вышла къ писателю холодная и разстроенная.

Первое впечатлѣніе—не въ его пользу. Высокій, слегка сутуловатый господинъ, жесткіе, внимательные глаза, вялыя движенія. Черезъ нѣсколько же минутъ начало казаться, что онъ носитъ въ себѣ громадную волю и непохожъ на остальныхъ. Заневскій разспрашивалъ

ее довольно безцеремонно. Тереза читала его разсказы. Ну, и какое же впечатлѣніе?

Она возмущалась его мнѣніемъ о женщинѣ, какъ о существѣ низшемъ.

— Не находите ли вы, что на насъ слишкомъ много лгутъ?

— На все лгутъ, пани.

Бросилъ нѣсколько фразъ о Пшерминскомъ. Человѣкъ зрительныхъ впечатлѣній. Неглубокій. И въ злѣ и въ добрѣ наивенъ.

За чаемъ блистала Лина. Звонко смѣялась. Шуршала платьемъ, сверкала кольцами. Упивалась нѣмымъ восторгомъ мужчинъ. Оба смотрѣли на нее умоляющими, нѣжными, покорными глазами.

Тереза внутренно ахнула.

Безъ сомнѣнія, Заневскій увлекался Линой. Ирэна не ошиблась.

И, какъ бы отвѣтъ на ея мысли, Лина завела рѣчь о Мошко. Зло вышучивала.

Высказался и литераторъ. Ирэна ему не нравилась. Испорченная, театральная женщина... истеричка... Вся ея жизнь—милліонъ выдуманныхъ, раздутыхъ драмъ, нелѣпостей, осложненій. Собственно, исторія Мошко походитъ на исторію сотни женщинъ, но она считаетъ себя особенно несчастной, особенно интересной, особенно порочной и гордится этимъ.

Лина удалилась съ Яномъ въ гостиную, гдѣ они продолжали интимно смѣяться, прижавшись на кушеткѣ, а Заневскій повторилъ передъ Терезой свою пламенную проповѣдь мистической любви, любви безъ желанія.

Она спасетъ міръ. Она освободитъ человѣка. Нѣтъ ничего невозможнаго для человѣческаго духа. Развѣ не было тысячи примѣровъ полнѣйшаго цѣломудрія? Пусть люди зададутся цѣлью быть чище и будутъ Нѣтъ

любви тамъ, гдѣ говоритъ тѣло, есть гнусный физіологическій актъ, унижающій мужчину и женщину. Есть угарный порывъ, послѣ котораго стыдно стѣнъ, свѣта, самого себя. Есть низменное желаніе, гораздо легче поборимое, чѣмъ думаютъ. Природа? Будемъ выше ея. Наслажденіе? Отречемся отъ него ради свободы.

Любовь—это стремленіе къ небу, томленіе духа о вѣчности.

Любовь—это страданіе, мистическая роза, увядающая при первомъ поцѣлуѣ.

Любовь—это любовь дѣвственницъ къ Іисусу.

Зарождается нежданно въ таинственный часъ первой встрѣчи, растетъ, черпая соки изъ мукъ влюбленнаго сердца, распускается, живетъ въ тишинѣ печальной, чистой, рвущейся къ небу души. Сотканная изъ лучей любимаго взора, нѣжная, благоухающая, мистическая любовь ведетъ къ Богу и даритъ смерть раньше, чѣмъ та придетъ, такъ какъ тотъ, кто любитъ—мертвъ для міра и живъ въ томъ, кого любитъ.

Кшевицкая улыбнулась его паѳосу. Пожала плечами.

— Это трескучія фразы, панъ Вацлавъ. Боже мой, дѣйствительность такъ убога... И кто теперь умѣетъ любить? И нужно ли любить такъ, какъ вы говорите?

Прибѣжала Лина.

— Какія у васъ странныя лица... Что случилось?

Потомъ вкрадчиво положила руку на кресло Заневскаго.

— Мнѣ пора домой. Проводите меня, панъ Вацлавъ...

VI.

За окномъ шелъ густой, мохнатый снѣгъ.

Въ комнатѣ было жарко. На каминѣ ароматно дышали розоватыя, словно восковыя, туберозы.

Тереза безпокойно и безпомощно слѣдила за Мошко. Закипала горячая жалость.

Хотѣлось стать на колѣни, обнять ея платье. Милая, несчастная Ирэна!..

— Разскажите о себѣ, Инка.

Та слабо отмахнулась.

— Ну, что тамъ... тоска... мечусь, словно безумная... сколько я глупостей надѣлала, не перечесть...

Впрочемъ ей не зачѣмъ щадить себя. У нея жизнь цинична и вся она цинична. Это уже въ крови. Всѣ женщины ихъ семьи были красивы, лживы, развратны и несчастны. А самое себя она искренно презираетъ. Говорила о будущемъ. Ждетъ ее нищета, больница и больше ничего...

Затосковала мучительно, страстно.

— Развѣ я не боролась, Тереза. Развѣ я не боролась?

Кшевицкая отозвалась чуть-чуть жестоко.

— Вы напрасно передо мною исповѣдуетесь. Ей-Богу же и мои дѣла плохи. Я сошлась съ Пшерминскимъ.

— А!

Ирэна слегка потерялась. Потомъ сѣла рядомъ, участливая, блѣдная.

— Говорите дальше.

Тереза призналась. Сейчасъ же ей стало стыдно и противно, словно она стояла передъ Инкой голая. Съ легкой враждебностью ждала отвѣта Мошко.

Ирэна возмутилась.

— Любовь трагична, но не грѣховна. Почему вы свое чувство къ настоятелю, такое большое, выстраданное, святое, считаете преступленіемъ, Тэрка? Смотрите проще. Вѣрьте въ право любви.

Напомнила любовь Магдалины къ Іисусу. Ахъ, такой красивый, трогательный эпизодъ изъ Евангелія!

Падшая женщина любитъ Бога. И величіе, глубина, сила чувства смягчаетъ Вѣчное Милосердіе.

Слова Инки не трогали Терезу.

Они звучали откуда-то далеко и были лишены всякаго смысла. Она внутренно даже нашла смѣшнымъ, что Инка—невѣрующая, упомянула о Магдалинѣ.

Зѣвнула и умышленно грубо сказала:

— Merci, Инка...

Ее самое затошнило отъ этой вульгарности, а Мошко даже потерялась.

Черезъ минуту онѣ сухо простились.

Забилась въ кресло и глядѣла передъ собою безъ мысли. Страшно внезапно устала. Снѣгъ... бѣлизна... Представленіе о смерти на минуту стало очень близкимъ. Сознаніе почти замерло. Она думала съ восторгомъ и тихими навернувшимися слезами: «Какъ, должно быть, прекрасна смерть... безъ воскресенія».

Среди обрывковъ мыслей, воспоминаній огненными буквами вспыхнулъ крикъ Ирэны: «Развѣ я не боролась?»

Она смотрѣла на падающій снѣгъ, на безучастную тишину улицъ.

«А я!.. Я не умѣю бороться...»

Кротко, безпомощно, почти наивно улыбнулась въ сумеркахъ.

Вечеромъ Пшерминскій привезъ билеты въ театръ. Кшевицкая отказалась ѣхать.

— А покататься?. Чудесный санный путь.—Нѣтъ, она тоже не хотѣла...

— Вы боитесь Яна?

— Теперь я уже ничего не боюсь, Антось.

Раздражался, видя ее такой замкнутой, враждебной. Чѣмъ она недовольна? Наоборотъ, она всѣмъ довольна.

— Ага!.. Я понимаю... И, кажется, я недалекъ отъ истины... Вы были на исповѣди... этотъ проклятый ксендзъ...

Она возмутилась, блѣднѣя.—Ну, это уже черезчуръ!..

Пшерминскій взялся за газету. Враждебное лицо Терезы пугало его.

Они сидѣли въ гостиной, откуда недавно ушла Ирэна Мошко. Янъ, какъ всегда, отсутствовалъ. Туберозы, казалось, пахли еще ядовитѣе.

Тереза задумалась. Въ бѣлыхъ кружевахъ она выглядѣла тоньше, воздушнѣе. Нѣтъ, она не была сегодня въ костелѣ. Это выше ея силъ. Впрочемъ, жажда видѣть ксендза Гануша достигала у нея порою предѣла, напоминала взрывъ помѣшательства.

Она убѣгала изъ дому, чтобы безцѣльно исколесить городъ.

Тогда, казалось, волна нравственныхъ страданій расплывается, тускнѣетъ, словно поглощается пространствомъ, таетъ въ тишинѣ улицъ, смягчается подъ куполомъ неба.

— О чемъ мы мечтаемъ?—насмѣшливо окликнулъ ее Пшерминскій.

Вздрогнула и поглядѣла съ ненавистью.

— О васъ, конечно.

— Вы очаровательны, дорогая, но почему мы играемъ въ молчанку?

— Мнѣ не о чемъ говорить, Антось.

Обиженный Пшерминскій разспрашивалъ о Янѣ. Еле отвѣчала. Перевелъ разговоръ на Лину. У той клюнуло съ Заневскимъ.

— То-есть? — прищурилась Кшевицкая.

Оказалось, Антось встрѣчаетъ ихъ часто вмѣстѣ совсѣмъ поздно. Вчера они подъѣхали къ Grand Hôtel'ю

съ другого хода. Лина подъ густой вуалью. Честь честью.

— Ну, это вздоръ...

Тогда онъ грубо сталъ ласкать ее.

Покорилась молча, больно закусывая губы. Густой сладкій ароматъ туберозъ только увеличивалъ ея раздраженіе.

— Почему ты пропустила среду? Я ждалъ тебя долго...

— Нездоровилось.

— Неужели же каждую ласку я долженъ вымаливать? Это скучно и смѣшно, дорогая.

— Охотно вѣрю.

Комедіи Терезы ему наскучили. Кажется, онъ не прибѣгалъ къ насилію. Она знала, на что шла.

— Но, Боже мой, я не спорю, Антось...

— Я молчу... Значитъ, ты придешь ко мнѣ завтра.

— Я думаю.

— Не думаю, а навѣрное, малютка.

VII.

Заневскій сумрачно выслушалъ Ирэну. Онъ не любилъ быть въ глупомъ положеніи. А теперь казался самъ себѣ смѣшнымъ.. Ему объясняется въ любви... падшая женщина. Да, онъ смотрѣлъ на нее безъ всякой дымки. Вы — падшая женщина, Ирэна Мошко. Какое мнѣ дѣло, разъ вы даже любите меня? И еще вопросъ — любите, дѣйствительно, или только вамъ чудится. Хочется порисоваться. Любить по-настоящему, конечно, не можете... Поздно спохватились. Сколько вы видѣли нашего брата? Гм!.. Его раздражаетъ, что она стоитъ бѣлая, какъ бумага, и не уходитъ. Чего ждать? Кажется, ясно. Онъ могъ любить лишь дѣвственницу, жен-

щину холодную, какъ мраморъ, и чистую, какъ только что раскрывшаяся лилія. Женщина въ его представленіи рисовалась или Мадонной св. Бернарда или Беатриче Данте. Онъ не могъ простить ей паденія. Онъ понималъ Магдалину лишь въ тотъ моментъ, когда Спаситель говоритъ ей у гроба—«Марія»,—и посылаетъ къ ученикамъ. Магдалина, цѣлующая ноги Іисуса, была ему чужда и непріятна. Въ тайникахъ души онъ осудилъ ее вмѣстѣ съ фарисеями—«Побей ее камнями».—Онъ отворачивался съ дрожью ужаса и гнѣва. Онъ видѣлъ въ ней искушеніе, паденіе мужчины, смутно боялся ея.

«Побей ее камнями».

И онъ смотрѣлъ на Мошко холодно, упрямо, сбоку. Рѣзко повторилъ свое «вѣроученіе». Онъ такъ жестокъ, что даже извиняется.

Ирэна спросила:

— Вы любите Лину Дальчевскую?

Сквозь черный тюль вуали страдальчески блеснули и впились въ него темные глаза.

Онъ раздраженно, недоумѣвая, сдвинулъ плечами. Pardon, это, кажется, его личное дѣло.

Ирэна унизилась еще больше. Катилась внизъ. Разбивала алтарь своей души, открывала сокровеннѣйшую келію. О, пусть онъ сжалится, пусть онъ повѣритъ!.. Если *это* стало ея ремесло, то вѣдь не сразу... не такъ скоро...

— Панъ Вацлавъ,—шепчутъ сухія, блѣдныя губы,—панъ Вацлавъ, я много страдала. Я раскаиваюсь... я на край свѣта пошла бы за вами...

— Хорошо... хорошо... сентиментальность... онъ готовъ вѣрить, однако у него уже свои, вполнѣ продуманные, твердые взгляды... Онъ просилъ бы прекратить эту тяжелую для нея же сцену... Безъ всякаго сомнѣ-

нія, ея чувство къ нему на патологической почвѣ (онъ отчетливо выговорилъ это слово), она сама себѣ внушила его...

Еще немного и весь разговоръ превратится въ пошлый фарсъ.

Уронила еле слышно:

— Вы не оставляете мнѣ никакой надежды?

Заневскій развелъ руками. Развѣ онъ не высказался вполнѣ опредѣленно?

Сухо, звонко чеканитъ:

— Намъ лучше не встрѣчаться.

Впрочемъ, на секунду ему стало жутко отъ раздирающей тоски ея взора. Пробормоталъ:

— Желаю вамъ счастья.

VIII.

Тереза сильно измѣнилась. Порокъ затягивалъ ее. И давно уже она не тосковала такъ мучительно-остро, какъ теперь.

Въ домѣ всецѣло распоряжалась Ванда, молчаливая, блѣдная, хитрая. Супруги жили окончательно каждый самъ собою. Сначала забѣгала встревоженная, недоумѣвающая тетя Юлія. Кшевицкіе притворялись непонимающими. О чемъ волнуется тетушка? Развѣ не соблюдены всѣ apparences? Пусть ихъ оставятъ въ покоѣ. Тереза веселится день и ночь. Ну, что же, она не старуха. Янъ все время у Дальчевской? Привычка. Его тамъ принимаютъ, какъ родного. Ванда любитъ барина? Не велика бѣда... Это обычная исторія. Служанки всегда влюблены въ господъ.

Хитрая Бжезовская сдалась и примолкла.

Теперь Кшевицкая вставала и ложилась съ одной и той же неотвязной мыслью: «Нужно забыться, нужно

развлечься». Она ѣздила въ театръ, посѣщала концерты, балы, собранія, рефераты. Ее встрѣчали повсюду. О ней говорили явно двусмысленно.

Полюбила Кшевицкая тройки, шумные ужины, возвращеніе на разсвѣтѣ, долгое лежаніе въ постели, быструю смѣну туалетовъ, безсмысленную трату денегъ. Напѣвала модныя шансонетки, пила вино, измѣнила походку, манеру, выраженіе глазъ. Съ мужчинами держалась игриво и легко. Умѣла быть нестерпимо желанной, интересной, волнующей, и ей говорили часто:

— Вы чудная, нездѣшняя. Скажите только одно слово, и я буду самый счастливый человѣкъ.

Послѣ ужина твердили, что смыслъ жизни—физическое наслажденіе, все же остальное самообманъ и скука. Вспоминала ксендза Гануша, Заневскаго, Ирэну, вспоминала собственное подавленное томленіе о чистотѣ и, волнуясь, спрашивала:

— А мистическая любовь? Любовь безъ желанія? Существуетъ ли такая любовь?

И этотъ вопросъ, задаваемый порочнымъ, яркимъ ртомъ, отъ котораго пахло виномъ и на который все время смотрѣли голодные мужчины, казался дикимъ, даже не забавнымъ, а просто оскорбительнымъ.

Ей объясняли дѣловито, съ ироніей, что подобной любви нѣтъ и не можетъ быть, кто же станетъ доказывать противное, тотъ вредный идеалистъ, и даже дегенератъ.

— Помилуйте, а человѣческій родъ? Что будетъ тогда съ человѣческимъ родомъ?

И она тоже думала надъ этимъ старымъ, затрепаннымъ вопросомъ.

— А человѣческій родъ? — и спокойнѣе обнимала Пшерминскаго.

Возвращаясь же къ себѣ, ложилась ничкомъ, не раз-

дѣваясь, и слезы струились обильныя, жаркія, безсильныя, и она металась въ тоскѣ, сгорая отъ безплоднаго раскаянія, опутанная грѣхомъ съ головы до ногъ, терзаемая вѣчной думой о ксендзѣ Ганушѣ. Любила его попрежнему, болѣзненно-страстно, но уже избѣгала. Рѣдко посѣщала костелъ. Боялась открыть молитвенникъ, гдѣ между строкъ чудилось любимое имя, между страницъ еще сохранились сухіе лепестки розъ, еле уловимый ароматъ ладана, таинственный дымъ воспоминаній о пламенныхъ молитвахъ за него же.

О ея любви къ настоятелю болтали досужіе языки. Это становилось анекдотомъ, пикантной исторіей. Это такъ же унизили, какъ унизили ея душу.

Впрочемъ, одинъ изъ угарныхъ вечеровъ зимы наполнилъ сердце Терезы восторгомъ, радостью и надеждой.

Ксендзъ Ганушъ устраивалъ концертъ для бѣдныхъ.

Когда Тереза сѣла на свое мѣсто, Пшерминскій сказалъ ей:

— Посмотрите налѣво... Настоятель въ ложѣ...

Дѣйствительно, она тотчасъ же разглядѣла его профиль и тонкую руку. Оперся на барьеръ.

Бросилась почему-то въ глаза и остро запомнилась крупная темная запонка на бѣлоснѣжной манжетѣ.

Ее охватило безмятежное, глубочайшее ощущеніе покоя. Сидѣла молча, не шевелясь, и не глядѣла въ сторону ложи, но всѣмъ своимъ существомъ чувствовала его присутствіе здѣсь, въ душной, темной залѣ, переполненной людьми. Въ рукахъ вяли чайныя розы. Опьяняли ароматомъ. Навѣвали чистыя, наивныя мечты. Не слышала ни одного слова со сцены. Душа унеслась на иную планету, тонула въ эѳирѣ, наслаждаясь неземной любовью. Безплотныя губы касались чьихъ-то устъ, безплотныя руки ласкали другія руки. Пред-

ставляла себя дѣвушкой. Забывала свое познаніе добра и зла.

Очнулась лишь въ антрактѣ.

Страшная горечь жгла сердце. Блѣдная, измученная, въ черномъ бархатномъ платьѣ стояла въ фойэ.

Отрывки фразъ. Смѣхъ, кого-то зовутъ. Кто-то говоритъ по-англійски. Мелькаютъ лица, шуршатъ дамскіе трэны.

Ксендзъ Ганушъ поравнялся съ нею.

Темный взглядъ упалъ на Терезу, задержался. Ахъ, этотъ взглядъ, такой смѣлый, глубокій, властный! Сердце екнуло, оборвалось... вся кровь отхлынула отъ лица... слабость... смятеніе... радость трепетная и ослѣпляющая...

Казалось, онъ жалѣлъ ее. По лицу мелькнуло мягкое выраженіе.

Спросилъ на ходу:

— Вы въ третьемъ ряду?

— Въ третьемъ, — пролепетала Тереза.

Опомнилась, когда онъ уже смѣшался съ толпой.

Дрожа, вернулась на мѣсто. Ложи и занавѣсъ качались передъ нею. Она полузакрыла лицо розами и представила себѣ голосъ ксендза Гануша: «Вы въ третьемъ ряду?»

Подошелъ Пшерминскій.

Строго и подозрительно оглядѣлъ ее. — Говорили съ настоятелемъ. Поздравляю... П-о-оздравляю... Это становится неприличнымъ.

— Вы глупы, — ненавидя его, отозвалась Тереза, — вы глупы и я васъ презираю.

— Это мало меня тревожитъ.

И шумно сѣлъ рядомъ.

Лина ластилась къ Терезѣ. Она хочетъ спросить ее о чемъ-то... и боится. Тереза не разсердится? Нѣтъ? Честное слово?

— Честное слово. Говори, милочка...

Онѣ сидѣли на диванчикѣ, обнявшись, какъ старыя, любящія другъ друга пріятельницы.

Лина начала съ искусственнымъ жаромъ. О Терезѣ и Пшерминскомъ говоритъ цѣлый городъ. Конечно, Лина понимаетъ ее... женщина не можетъ жить безъ любви, но все-таки... Терезѣ нужно быть осторожнѣе. Письма сжигать. Возвращаться домой раньше. Не кататься на лихачахъ среди бѣлаго дня. Иначе...

Она сдѣлала значительную паузу. Въ ея голосѣ чувствовалась угроза и задоръ.

— Иначе? — тревожно спросила Кшевицкая.

Лина мягко перебирала кружево на ея пеньюарѣ.

— Иначе будетъ плохо, ангелъ мой... Ты знаешь, твой мужъ ничего не скрываетъ отъ меня... Онъ намекалъ... что... если... если бы онъ убѣдился... Понимаешь? Твердо убѣдился бы... Ахъ, Тереза, мужчины всѣ на одинъ ладъ... гордость и эгоизмъ... эгоизмъ и гордость... Онъ, конечно, ревнуетъ къ Пшерминскому... Ты одинока, безъ средствъ... Представь себѣ, что онъ, дѣйствительно, выгонитъ тебя изъ дома.

— Что ты говоришь! — ужаснулась Тереза. — Что ты говоришь!

Лина бросилась обнимать ее. Боже мой, не такъ трагично... она не хотѣла напугать Тэсю... только предупредить... А потомъ вотъ еще... Тереза религіозна, внѣ всякаго сомнѣнія, но эти девотки... въ городѣ всѣ, рѣшительно всѣ говорятъ, что она... увлечена имъ... ксендзомъ-настоятелемъ.

Кшевицкая молчала.

Да, ей теперь не оставалось ничего другого, какъ только молчать. Она не сумѣла уберечь свою тайну. Улица ворвалась въ ея душу.

Подумала, что теперь случилось одно изъ ея самыхъ крупныхъ несчастій.

«Что я надѣлала, — мысленно воскликнула Тереза, — что я надѣлала!»

Желая перемѣнить тему, заговорила о Ирэнѣ. Давно не видались. А какъ поживаетъ Заневскій?

Дальчевская отозвалась сухо:

— Заневскій любитъ меня, это ясно, но... я—честная женщина, Тэся.

Почти сейчасъ же ей сдѣлалось дурно. Побѣлѣла, какъ мѣлъ. Распустила корсетъ. Молча, не говоря ни слова, убѣжала въ ванную. Тереза испугалась. Не тронулась съ мѣста.

Лина вернулась скоро. Легла на кушетку и положила мокрое полотенце на раскрытую грудь. У нея были заплаканные глаза и пятна на щекахъ.

— Что съ тобой? Лучше? — робко пробормотала Тереза.

— Не знаю,—вся сморщилась Дальчевская,—рвоты... вѣроятно, отъ ананаса...

Обѣ онѣ разстроились.

Уходя, уже въ передней, Лина спросила адресъ Ирэны.

— Вчера мнѣ говорили, что Ирэна—добрая, чуткая, — какъ бы про себя сказала она.

— Очень добрая, — согласилась Кшевицкая.

Лицо Дальчевской было непривычно серьезно. Погрозила Терезѣ:

— Помни же мой совѣтъ насчетъ Пшерминскаго... Янъ твой способенъ на все.

IX.

Вернувшись къ обѣду, Ирэна Мошко застала у себя Лину Дальчевскую. Та была укутана густой вуалью, въ какомъ-то новомъ пальто, сильно напудренная.

Мошко изумилась. Дальчевская, обыкновенно, едва кланялась ей.

Кольнула мгновенная, острая боль... Заневскій... Ревность болѣзненно сводила губы. Глаза впились съ безсильной ненавистью.

Говорила неестественно-быстро, весело.

— Здравствуйте... здравствуйте... какъ это мило съ вашей стороны.

Вмѣсто отвѣта Лина заплакала. Громко, не закрывая лица, какъ плачутъ дѣти. И въ то же время казалось, что она лжетъ, притворяется и не вытираетъ глазъ изъ кокетства.

— Инуся, милая моя...

Ирэна ничего не знала, ничего не предполагала, но ужасъ проникъ въ ея душу. Ледяной ужасъ предчувствія. Невидимое, но ясно-ощутимое дыханіе горя.

— Что случилось, Лина?

Дальчевская рыдала.

Ирэну вихремъ подхватилъ тотъ же необъяснимый, инстинктивный ужасъ.

— Что же? Что случилось? Да говорите же...

Слухъ, нервы напряглись до крайности. По лицу тѣни. Тревога, боль въ глазахъ. Лина почти кричала, плача и топая туфлей:

— Я — беременна... Понимаете? Я беременна отъ Заневскаго... Будь онъ проклятъ!.. Ну, что же мнѣ теперь дѣлать... О!.. О!..

Слова разсыпались, словно бусинки порваннаго ожерелья.

Шумъ въ ушахъ Ирэны.

Темно... снова свѣтло... Все плыветъ, качается, двоится... Откуда-то совсѣмъ издалека голосъ Лины.

— Онъ прогналъ меня... гнусный, гадкій человѣкъ... Что я скажу теперь Яну? Что я скажу, когда мужъ вернется изъ поѣздки? И я не хочу имѣть дѣтей... не хочу!.. У меня нѣтъ денегъ на выкидышъ... Докторъ Шатковскій проситъ сто рублей, акушеркѣ тридцать... Гдѣ я ихъ достану? Съ этимъ нужно спѣшить... Я хотѣла обратиться къ Терезѣ, но она—дура, ханжа, болтунья... Инка... дорогая моя... вы любили Заневскаго... ради него, Инка, спасите меня...

Мошко смотрѣла на Лину. То близко она, то далеко... То ясно, то въ туманѣ... То розовая, то блѣдная, то желтая... Широкое пальто съ матовыми крупными пуговицами... Сколько пуговицъ? Разъ... двѣ... пять... семь... Слабость въ ногахъ, слабо... Ирэна сѣла.

Ровно, негромко, лѣниво роняетъ:

— Какъ же это вы?..

Кончить не можетъ. Взглядъ изъ-подъ рѣсницъ мутный, тяжелый, нехорошій, ищущій взглядъ по всему тѣлу Лины. Такъ раздѣвалъ. Ласкалъ. Онъ. Эту грудь, эти бедра... Да... да... ничего... сложена хорошо... У него вкусъ недуренъ. Внутренній безумный, отчаянный крикъ къ небу: «Нѣтъ Бога... нѣтъ справедливости!»

Лина осторожно поправляла мокрую сбившуюся вуаль:

— И сама не знаю, какъ я сошлась съ нимъ... Заневскій проповѣдывалъ мистическую любовь... любовь безъ всего... ни... ни... грѣшнаго ничего... Я хотѣла провѣрить, пошутить немного... Вы знаете, я довольно легкомысленная... любопытная... А потомъ, Боже мой, онъ мужчина, какъ всѣ мужчины!..

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY

Почти шаловливо, наивно развела руками. Ей уже хотѣлось улыбнуться. Слезы высохли.

— Я люблю Яна... Съ мужемъ я несчастлива... А Заневскій... Брр!.. Я возненавидѣла его сейчасъ же... сейчасъ же... но только я знаю... ребенокъ отъ него...

Ирэна неудержимо, спазматически расхохоталась. Лицо искажалось судорогами. Хохотала, бросая невнятно:

— О... о... вы очаровательны... вы восхитительны... о, Боже мой... Боже мой!..

Нѣтъ ужаса, нѣтъ дурноты. Удивительная легкость, воздушность во всемъ тѣлѣ. Глаза смотрятъ прямо, безъ дымки. Глаза застывшіе, темные камни. Руки касаются рукъ ничтожной, глупенькой женщины. Нѣтъ ненависти, ахъ, нѣтъ, нѣтъ,—одно лишь бездонное, гадливое презрѣніе.

Вкрадчиво, успокоительно звучитъ голосъ Инки:

— Разскажите подробно, дорогая...

Лина оживляется. Болтливо, грубо вскрываетъ тайну ночи. Выбрасываетъ интимности. Д-да!.. Заневскій любилъ ее, она не можетъ пожаловаться. И притомъ темпераментъ... Она не забудетъ того дня, конечно... Вспоминала, какъ онъ твердилъ восхищенно: «Теперь ты моя и душою и тѣломъ...» Качалъ на колѣняхъ... всегда самъ снималъ калоши...

Мелочь, ударившая такъ больно, такъ больно Ирэну.

Шопотъ, полустонъ, умоляющій жестъ Мошко.

— Снималъ калоши?..

Она не замѣчала, какъ крупныя раскаленныя слезы катились по щекамъ. Тихонько повторяла:

— Снималъ калоши... ахъ... снималъ калоши...

Лина поглядѣла сконфуженно. Послѣ паузы пробормотала, что извиняется... не хочетъ огорчить...

А что скажетъ Инуся по поводу денегъ?

Инка легко, словно по воздуху, очутилась у письменнаго стола.

Пальцы не держатъ ключа... еле-еле... Чудомъ какимъ-то открываетъ ящики. Письма, счета, карточки, вотъ маленькій портфель... Мысли бѣгутъ... бѣгутъ, перегоняютъ другъ друга... Мудрое, вѣчно правдивое сердце шепчетъ: «Жить нельзя, умереть можно». Да... да... умереть...

Вслухъ небрежный вопросъ:

— Значитъ, теорія мистической любви разбита?..

И снова смѣхъ. Еще и еще...

— Да вѣдь это вздоръ, — горячится Лина, — это невозможно...

— Невозможно, — слабымъ эхомъ вторитъ Ирэна.

Деньги шуршатъ, неловко укладываются въ конвертъ. Жуткая боль. Вотъ тутъ, около сердца... жжетъ... буравитъ... глубже... глубже...

— Лина, пожалуйста...

Голосъ упалъ снова.

Дальчевская бросилась ей на шею. Нѣтъ... нѣтъ... Мошко вся содрогается. Кажется, не выдержитъ... Крикнетъ...

Легкомысленный лепетъ Лины, какъ перезвонъ колокольчиковъ.

— Ну, погодите же... я отомщу за васъ, ласточка... Вы милая, чудная... Вацлавъ узнаетъ, какъ оскорблять несчастныхъ женщинъ...

Лина просила ее поклясться въ молчаніи, обѣщала возвратить деньги при первой возможности, потомъ снова заплакала, потомъ сказала:

— Дайте, голубчикъ, рюмку вина... это подкрѣпитъ меня... ужасно я измучена....

Ушла наконецъ... Хлопнула дверь. Шаги горничной.

Тихо. Какъ тихо... Біеніе сердца слышно. Жалкій маятникъ.

По окнамъ крупныя-крупныя капли дождя. Тамъ, на улицѣ, экипажи, трамвай, люди съ открытыми зонтиками. Высоко поднимаютъ юбки женщины, некрасиво, широко шагаютъ...

Такъ какъ же?

Жить нельзя, умереть можно.

Отрекаюсь отъ Бога. Нѣтъ Бога. Отрекаюсь отъ жизни... Будь проклята жизнь! Жить нельзя, умереть можно.

Ахъ, умереть!.. Захлебнулась отъ радости, когда почувствовала себя твердой. Умереть. Забыть навсегда грязную, циничную жизнь, забыть эту пошлую, трусливую Лину, забыть Заневскаго, весну, небо, цвѣты, все... все... Ахъ, умереть!.. И вдругъ зарыдала и летѣла въ пропасть тоски и отчаянія, и уже нравственно умирала, прежде чѣмъ вкусить сладость и покой небытія. Умереть...

X.

Кшевицкій склонился надъ женою полуудивленный, полузаискивающій.

— Отчего ты сидишь въ темнотѣ, дорогая?

Отъ Яна пахло виномъ и онъ былъ въ сюртукѣ. Только что вернулся изъ гостей.

Тереза солгала: нездоровится.

Его глаза цинично смѣялись. Уже не оттого ли, что онъ забылъ ее временно? Ей-Богу, контора отнимаетъ всѣ силы. Спишь, какъ убитый...

Она брезгливо покраснѣла и встала:

— Янъ, не лги... Дальчевская честнѣе тебя... По крайней мѣрѣ не скрываетъ... Я не вмѣшиваюсь въ ваши дѣла, но...

Онъ цѣдилъ сквозь зубы, взбѣшенный:

— Что за чушь. Что ты городишь?

— Ахъ, ты самъ понимаешь... физически мы должны быть чужими.

Возразилъ угрюмо:

— Ксендзъ Ганушъ имѣетъ на тебя вліяніе... я знаю... Если я попрошу его...

Перебила внѣ себя отъ ужаса:

— Умоляю тебя... умоляю тебя...

Янъ больно схватилъ ее за руки:

— Слушай, ты... дѣвка... если я только узнаю навѣрное о Пшерминскомъ... Понимаешь? Выгоню тебя, какъ собаку. — Нѣсколько минутъ съ глубокой ненавистью они смотрѣли другъ на друга.

Потомъ онъ толкнулъ ее:

— Убирайся къ чорту!..

Она ушла.

Вечеръ былъ темный и вѣтреный.

Тереза шла къ настоятелю и думала: «Онъ скажетъ: чѣмъ могу вамъ служить?» Да, онъ скажетъ: «чѣмъ могу служить?»—И во всей его позѣ отразится нетерпѣніе. Она дастъ денегъ на пріютъ, и покуда онъ будетъ писать квитанцію—она все-таки посмотритъ на его лицо, голову, плечи. Можетъ быть, онъ будетъ одинъ. Можетъ быть, онъ улыбнется ей?.. Это тоже счастіе — такія минуты.

Звонила неувѣренно, медленно. Впустили. Заставили ждать, по обыкновенію. За стѣной раздавались голоса, пѣніе, звуки рояля. Была спѣвка церковнаго хора. У Кшевицкой выступили слезы. Почувствовала себя болѣе несчастной, болѣе одинокой, чѣмъ когда-либо. Она не находила въ своемъ сердцѣ обыкновенно-острой любви къ настоятелю. Сюда примѣшивалась громадная горечь, безсиліе, тоска о невозможномъ. Онъ, словно

ушелъ вдаль и затянулся туманомъ. Думала о немъ почти какъ о мертвомъ. Не былъ ли онъ просто ея грезой о чистотѣ? Не сотворила ли она сама себѣ бога? Изъ любви—культъ?

Ксендзъ Ганушъ наконецъ вышелъ.

Оказывается, его вызвали изъ костела. Тамъ, послѣ вечерни, много исповѣдывалось.

Онъ сохранилъ еще въ складкахъ сутаны тонкій ароматъ ладана, а въ глазахъ усталость духовника, измученнаго человѣческими драмами. Условно вѣжливо благодарилъ Терезу за пожертвованіе. Извинился, занятъ, не можетъ посидѣть. Ощутила сразу обычную ледяную стѣну между ними. Не находила ни одного искренняго, теплаго слова. Въ душѣ пустота, усталость, превышающая всякую мѣру.

Чужой, далекій, безучастный человѣкъ... зачѣмъ она лѣзетъ къ нему?

Ей оставалось уйти. Медленно, безъ сожалѣнія, простилась.

Вернулась въ темный, занесенный снѣгомъ церковный садикъ, съ минуту думала и пошла въ костелъ. Дверь отворялась туго. Въ ризницѣ сакристіанъ, одѣтый въ пальто, читалъ молитвенникъ. Электричество не потушили у главнаго алтаря. На нее пахнуло холодомъ, почти враждебностью отъ темныхъ притворовъ, сырыхъ стѣнъ, умирающихъ цвѣтовъ, купола. Мрачно и неодобрительно глядѣли святые. У конфессіонала капеллана оставалось еще нѣсколько женщинъ.

Рабочіе устраивали катафалкъ для похоронъ, стуча грубыми ногами и переговариваясь по-русски. Изъ угловъ глядѣла сырая тьма. Все здѣсь показалось непріятнымъ, невиданнымъ, чужимъ.

Нахлынула волна непередаваемаго отчаянія. Нѣтъ спасенія и не проситъ его. Мужъ, Пшерминскій,

ксендзъ Ганушъ, изломанная, исковерканная жизнь... Четко вырѣзано на доскѣ, и эта доска передъ глазами. Любуйся! Подумала объ Ирэнѣ. Бѣдная, далекая Ирэна!.. Теперь она въ Варшавѣ. Приходила прощаться. Встало, какъ живое, матовое, блѣдное лицо съ яркими губами. Тоже потеряна. Потеряна навсегда. Ирэна уже не вернется.

Что-то сдавило ей горло. Потянуло на воздухъ. Въ ризницѣ съ нею поздоровался викарій, ея духовникъ. Только что вернулся отъ умирающаго. Около него суетился сакристіанъ. Тереза заговорила съ нимъ по-французски.

Какъ, возмутился викарій, значитъ она снова была тамъ... у настоятеля?.. Да, да, она была. Она невыносимо страдаетъ. Она боится за себя.

— Молитесь Богу,—сухо возразилъ викарій,—молитесь Богу. Вы не должны больше видѣть настоятеля... вы совершаете грѣхъ... вы дадите отвѣтъ за свое поведеніе.

— Мнѣ тяжело,—простонала Тереза,—мнѣ тяжело... Онъ вдругъ разсердился:

— Это нужно выкинуть изъ головы!.. Разъ навсегда выкинуть!..

Рабочіе съ грохотомъ уронили лѣстницу.

Викарій и сакристіанъ поспѣшно выглянули на шумъ.

Ушла, шатаясь отъ тоски, забывъ молитвенникъ въ притворѣ св. Іосифа.

XI.

Янъ взялъ отпускъ на мѣсяцъ. Рѣшено было, что онъ уѣдетъ вечернимъ поѣздомъ въ Вильно. Его мать тяжело хворала и звала къ себѣ. Язвительно добавляли:

— Тереза можетъ не безпокоиться.

Въ день отъѣзда Яна у Кшевицкихъ обѣдала Дальчевская и Пшерминскій.

Нѣсколько дней шелъ проливной дождь. Вездѣ цѣлыя рѣки. Небо, казалось, спустилось на крыши. Поднялся плотный, бѣлесоватый туманъ. Деревья словно затянуло кисеей. Съ голыхъ, черныхъ вѣтокъ падали крупныя, тяжелыя капли. Ѣздили на колесахъ. Почти весь снѣгъ стаялъ.

За столомъ велись исключительно дѣловые разговоры о наслѣдствѣ. Будетъ, конечно, много хлопотъ. Все же Янъ надѣялся получить домъ. Къ болѣзни матери относился равнодушно.

Шутя, замѣтилъ:

— Боюсь, тетя Юлія особенно ждетъ катастрофы. Я обѣщалъ дать ей у себя мѣсто управительницы... пожизненное...

Тереза разсѣянно поддакивала. Послѣднее время она бѣшено веселилась и еще вчера ужинала съ Пшерминскимъ. Они ссорились ежеминутно, не сдерживаясь передъ другими, по временамъ больше враги, чѣмъ любовники. Связь становилась кошмаромъ, темницей. Оба тяготились ею и находили теперь наслажденіе въ томъ, что мучили другъ друга.

За десертомъ Пшерминскій неожиданно и безъ всякой связи съ предыдущимъ вспомнилъ Ирэну Мошко.

Гдѣ она теперь?.. Въ городѣ ея до сихъ поръ не могутъ забыть.

Тереза отозвалась угрюмо:

— У меня дурныя предчувствія насчетъ Инки.

— Что такое? — насмѣшливо прищурился Антось.

— Почему? — удивилась Лина. Она всегда говорила очень развязно объ Ирэнѣ.

— Такъ... не знаю, — вяло бросила Тереза, — чудится...

это необъяснимо... Я видѣла ее недавно во снѣ... Мы вмѣстѣ покупали восковыя свѣчи. Обѣ въ черныхъ платьяхъ, а кругомъ розы... множество бѣлыхъ розъ.

Засмѣялись. Какое суевѣріе... стыдно... впрочемъ, нервы у Терезы давно не въ порядкѣ...

Въ передней позвонили.

Тереза воскликнула полушутя, полусерьезно:

— Ага... это несчастіе...

Янъ разсердился. Вѣчно она со своими комедіями... Странное желаніе быть Кассандрой... Глупо; наконецъ...

Она повторила упрямо, враждебно глядя на него:

— Это несчастіе...

Къ всеобщему изумленію пришелъ Заневскій. Вѣрнѣе, его тѣнь, такъ онъ измѣнился. Худой донельзя, желтый, обросшій. Плохо одѣтъ.

Сѣлъ на кончикъ стула, вертѣлъ мокрую шляпу и смотрѣлъ на Терезу.

— Я къ вамъ... Ирэна Мошко застрѣлилась въ Варшавѣ.

Лина вскрикнула. Торопливо, въ одинъ голосъ заговорили Янъ и Пшерминскій. Тереза осталась неподвижной. Почувствовала приливъ желѣзнаго спокойствія. Только спросила блѣдная-блѣдная:

— Какъ это случилось?

Заневскій разсказывалъ подробности. Ирэна застрѣлилась въ Варшавѣ, въ Лазенковскомъ паркѣ. Уничтожила всѣ бумаги. Вещи свои наканунѣ раздарила. Послѣ нея остались кое-какіе долги, и онъ, Заневскій, уже уплатилъ ихъ. Письмо Ирэны къ нему сжегъ. Такія письма не должны перечитываться. Они писаны кровью. Повторялъ возбужденно:

— Мы еще встрѣтимся съ нею... мы встрѣтимся... Я вѣрю въ загробную жизнь.

Лина разнервничалась, расплакалась, повторяя:

— Боже мой, Боже мой, такая молодая... такая умная... Несчастная Ирэна... милая Ирэна...

Потомъ, внѣ себя, крикливо, по-бабьи накинулась на Заневскаго:

— Вы виноваты... вы!.. Вы всегда оскорбляли ее... фарисей... филистеръ... вы!.. Она на васъ молилась... она любила васъ... вы оскорбляли ее, унижали... падшей въ лицо называли... вы...—задохнулась, а потомъ грубо расхохоталась: — Мистическая любовь! Мистическая любовь!

Въ запальчивости пошла дальше, забывая присутствующихъ:

— Вы ея неоплатный должникъ... Помните ту исторію... съ деньгами?.. Трупомъ Ирэны клянусь, я вамъ не солгала... да... да...

Заневскій посмотрѣлъ на нее съ ужасомъ.

— Тише... тише... не надо... умоляю васъ...

Тереза положила конецъ этой безобразной сценѣ.

Она увела его къ себѣ въ комнату. Отдала на память кое-какія бездѣлушки Ирэны.

Умоляюще взяла за руки.

— Панъ Вацлавъ, что же это такое?.. Что же это такое?..

Она совсѣмъ потерялась.

Заневскій сейчасъ же простился.

Послѣ его ухода Янъ иронизировалъ. Ну, и литераторъ!.. Теперь съ ума сходитъ, тогда бранилъ Ирэну на чемъ свѣтъ стоитъ...

— Романическая непослѣдовательность, — щурился на Терезу Пшерминскій, — и кромѣ того нѣтъ выдержки. Горе нужно скрывать.

— Лгунъ онъ... фразеръ, — возмущалась Лина,—мистическая любовь!.. Подумаешь, въ самомъ дѣлѣ, какое сокровище... Да я ему кланяться не буду послѣ этого...

Тотчасъ же она, Янъ и Пшерминскій уѣхали на вокзалъ.

Тереза осталась одна.

Благодаря густому туману, въ комнатѣ было почти темно. Изъ раскрытой форточки тянуло сырымъ воздухомъ. Журчаніе воды по трубамъ. Изрѣдка лошадиный топотъ. Она ничего не слышала. Стонала, качалась отъ тоски, ломала руки.

— Инка умерла... Инка умерла... Что дѣлать?.. Ахъ, что дѣлать?..

Металась, пугаясь одиночества, тишины, позорныхъ призраковъ настоящаго и прошлаго, обнимавшихъ ее со всѣхъ сторонъ. Впервые поняла все глубоко, полно, какъ будто съ глазъ сняли повязку. Вдумывалась. Ужасалась. Сгибалась подъ мукой. Въ ней совершался таинственный процессъ внутренней ломки, зрѣло что-то новое, сильное, нежданное. Ея сердце разрывалось отъ безпредѣльной нѣжности и любви къ Ирэнѣ. Инка... милая, несчастная Инка!.. Нѣтъ Инки!.. Нѣтъ!.. Пришло позднее, гложущее, жуткое раскаяніе. Мало было участія съ ея стороны... ахъ, какъ мало... Не доглядѣла, не поняла. Не почувствовала муки близкой.

Мысленно стала передъ ней на колѣни, цѣловала ея руки... Инка!.. Ты — замученная, несчастная, но ты — святая, Инка... Знаю, ты—святая... Прости, Инка... если можешь, прости...

Лежала ничкомъ и глядѣла себѣ въ душу. Мертво бьется холодное, полное отчаянія сердце. Нѣтъ оправданій. Ни въ прошломъ ни въ настоящемъ.

Искупленіе... покаяніе... Эти слова выплыли откуда-то изъ мрака и переполнили трепетомъ.

Искупленіе... покаяніе... Да... да....

Вспомнила, что сегодня суббота. Сорвалась съ мѣста, начала было одѣваться.

— Ванда!.. Ванда!..

Пришла горничная. Изумленно глядѣла на барыню.

— Ванда, я бѣгу въ костелъ.

— Вечерня отошла, барыня, — тихо и со страхомъ откликнулась та, — барыня прилегла бы лучше... Ливень-то... ливень какой...

Тереза вдругъ залилась слезами.

— Ты знаешь,—говорила она между рыданіями,—ты знаешь... теперь нужно молиться за пани Мошко.

На другой день погода не измѣнилась. Это походило не на раннюю весну, а на позднюю осень. Небо плакало въ безысходномъ отчаяніи. Деревья согнулись еще ниже, ручьи увеличились, улицы потемнѣли. Дома словно дрожали въ ознобѣ. Городъ, казалось, надѣлъ трауръ.

Въ квартирѣ Кшевицкой царилъ хаосъ. Барыня затѣяла уборку. Лицо Терезы выражало упрямую думу. Испуганная Ванда предчувствовала объясненіе.

Кшевицкая, дѣйствительно, обратилась къ ней:

— Ванда, я хочу сказать вамъ... я все знаю... Хотите остаться у насъ или уѣхать? Я не отпущу васъ съ пустыми руками.

Дѣвушка поджала тонкія, безкровныя губы. За кого считаетъ ее барыня? Она не потаскушка. Она—честная женщина, а если съ нею случилось горе, такъ на то и городъ. Мало ихъ погибаетъ здѣсь. Если барыня поможетъ, она уѣдетъ въ Лодзь и выйдетъ тамъ замужъ. Она вѣкъ будетъ молиться за пани... Вотъ только что скажетъ баринъ?

Тереза успокоительно махнула рукой. Она все беретъ на себя.

Часамъ къ пяти заглянулъ Пшерминскій.

Что-то порвалось между ними со дня послѣдней встрѣчи, хотя не было ни одного слова о разрывѣ. Теперь оба подумали о немъ, здороваясь въ маленькой гостиной. Выросло новое, странное чувство, мѣшающее имъ обняться.

Пшерминскій насмѣшливо и удивленно оглядывался. Что означаютъ эти перемѣны въ квартирѣ?

Послѣ нѣсколькихъ фразъ по поводу смерти Ирэны Антось началъ жаловаться. Онъ скучаетъ, нервничаетъ, ему необходимо встряхнуться. Нѣтъ, довольно провинціи. Онъ вернется въ Варшаву. Его маленькую Тэрку кто-то отнялъ... ему подмѣнили ее... она такъ холодна... такъ враждебно настроена... О, слава Богу, онъ еще не ослѣпъ окончательно...

Добавилъ разсѣянно:

— Какъ пусто въ квартирѣ безъ Яна... Вы простите, если я сейчасъ уѣду?

Тереза возразила дрогнувшимъ голосомъ:

— Нѣтъ, останьтесь немного, Антось... у меня къ вамъ большая просьба...

У него мелькнуло подозрѣніе, что она попроситъ денегъ. Вырвалась сухая, нетерпѣливая нота:

— Я спѣшу, дорогая... Нельзя ли отложить до другого раза?

— Нѣтъ... я не задержу васъ...

Она сильно волновалась. Лицо покрылось пятнами, а руки дрожали. Встревоженный Пшерминскій глядѣлъ жестоко, внимательно, играя брелоками. Тереза въ эту минуту раздражала его.

— Думали ли вы о нашихъ отношеніяхъ, Антось?

— Нашихъ отношеніяхъ?—изумился онъ.

— Ну, да... только серьезно... безпристрастно... Два человѣка сошлись вмѣстѣ. Мужчина довольно упрямый, женщина довольно податливая. Не было никакихъ важ-

ныхъ, побудительныхъ причинъ къ сближенію, кромѣ чувственнаго любопытства.

— Фи, Тэся!—обидѣлся Пшерминскій.

Однако уже улыбался. Слушалъ ее заинтересованный.

Тереза умоляла. Имъ лучше разойтись. Они оба перегорѣли, устали. Зачѣмъ эта комедія?

— Разстанемся, Антось... Забудемъ и простимъ другъ друга.

— Да, конечно, Тереза...

Спросилъ послѣ паузы добродушно:

— Здѣсь вліяніе ксендзовъ?.. Правда?.. Признавайтесь, дѣло прошлое... вы вернетесь къ церкви?

— Ахъ!

Онъ примирительно взялъ ее за руки, говоря проникновенно, тепло:

— Тереза, у меня насчетъ васъ дурныя предчувствія... Вы не умѣете жить... вы слишкомъ экзальтированны... Помните только одно: я вездѣ и всегда вашъ другъ... если бы что-нибудь случилось съ вами, здѣсь остается докторъ Шатковскій... вы отъ него будете знать, гдѣ я....

Тереза встрепенулась. Смотрѣла широко-раскрытыми, испуганными глазами.

— Что можетъ со мной случиться, Антось?

— Все и ничего. Я, конечно, не знаю... Я только предупреждаю васъ.

Они простились.

Почти тотчасъ же Терезѣ принесли телеграмму. Мать Яна скончалась. Отнеслась безучастно. Сунула бѣленькую бумажку подъ прессъ-папье и забыла.

Думала о томъ большомъ, что готовилась сдѣлать.

Рѣшила итти къ ксендзу Ганушу.

Дорогой она наивно изумлялась. Почему она до сихъ поръ боялась настоятеля? Почему она таилась такъ долго? Или это грѣхъ стоялъ между ними, заслонялъ его свѣтлаго, чистаго?

Но теперь она идетъ къ нему и разскажетъ все безъ утайки. Просто, правдиво. Какъ она грѣшила, падала, какъ любила его, страдала, боялась, какъ ей хочется жить по-иному, вѣрится въ возрожденіе, и какъ умерла Инка, и какъ отошелъ Пшерминскій... Да... да... все скажетъ... Нѣтъ, теперь она его не боялась... совсѣмъ не боялась... это правда. Если ксендзъ Ганушъ проститъ... Боже, Боже, если онъ проститъ!..

Ея возбужденіе достигло предѣла. Ея тоска и отчаяніе перешли въ полубредъ.

Шла неувѣренно, не поднимая подола, не минуя лужъ, не замѣчая улицъ, фонарей, экипажей. Ее толкали, надъ нею смѣялись, ей бросали порою циничныя слова, а она тащилась впередъ медленно-медленно, воображая, что летитъ на крыльяхъ. Она кротко улыбалась подъ вуалеткой. Изъ глазъ струились теплыя слезы, чувствовала ихъ соленую горечь на губахъ, но не вытирала. Она готова была протянуть въ туманную, влажную даль блѣдныя, трепетныя руки, какъ будто уже видѣла своего бога среди блеска, аромата, красоты, со словами прощенія, утѣшенія, ласки... Мысленно она уже распростерлась у его ногъ, несчастная, измученная, усталая безъ мѣры, принесшая ему на судъ грѣшное, опозоренное тѣло, грѣшную, искалѣченную душу, всю тяготу, ложь, мракъ своей жизни...

О, какія пламенныя мольбы звучали въ ея сердцѣ!

Представляла себѣ лицо, глаза, губы, лобъ того... любимаго. О, милые глаза, милыя губы, милый голосъ! Задыхаясь отъ любви и нѣжности, шептала тысячу ласкательныхъ, безплотныхъ словъ, тающихъ сейчасъ же.

Ея лицо и одежда были мокры отъ ливня. Прическа развилась. Она потеряла перчатки и не замѣтила.

Она увидитъ ксендза Гануша. Увидитъ.

И онъ проститъ.

Она вернется и скажетъ себѣ:—«Любимый простилъ меня».—Утромъ, проснувшись, подумаетъ:—«Вчерашнее не сонъ... онъ простилъ меня».—Можно будетъ назвать его въ умѣ просто по имени... Чеславъ... Музыка, о, музыка, въ этомъ имени... Чеславъ.

... Райская дивная долина, залитая солнцемъ, пестрѣющая цвѣтами, долина свѣта, тишины, радости. Очищенная покаяніемъ душа. Душа, вернувшаяся къ Богу...

Рѣзкій стукъ... хлопнула калитка въ церковномъ саду.

Очнулась. Остановилась.

Темно, очень темно. Сыро. Деревья треплетъ вѣтеръ. Стонутъ, наклоняются чуть ли не до земли. Снопы тяжелыхъ капель. Отовсюду струятся, бормочутъ сердито ручьи. Черная безформенная громада, тамъ, дальше... это костелъ. Зябнутъ, мокнутъ, недовольно молчатъ постройки вокругъ. Въ тускломъ, нечистомъ окнѣ пріюта голубенькій абажуръ... горитъ блѣдно лампа. Ноги скользятъ въ глинѣ, попадаютъ въ ямки, пробоины. Трудно добраться до крыльца.

Стоитъ.

Не бьется, а грузно падаетъ сердце... разъ... два... и еще... и еще... оборвется, кажется. Больно. Неловко въ груди. Хочетъ вздохнуть, не можетъ. Лицо пылаетъ. Собирала разбѣжавшіяся мысли. Ощутила вдругъ страшную, непоборимую робость, хлынувшую по всему тѣлу. Страхъ, ужасъ, стыдъ, сомнѣнія парализовали ее. Къ чему итти. Что ему, ксендзу Ганушу, до нея? Для интимныхъ бесѣдъ есть конфессіоналъ, духовникъ,

мужъ, друзья наконецъ... Что ему до ея горя, грѣховъ, раскаянія? Не скажетъ ли онъ вѣжливо и холодно: — «Простите, моя квартира не для частныхъ дѣлъ... вы не сюда попали»...—Быть можетъ, онъ даже не пригласитъ сѣсть, не выслушаетъ, а просто замѣтитъ:—«Въ эти часы я не принимаю».—Онъ будетъ правъ. Быть можетъ, мысленно онъ улыбнется небрежно и досадливо:—«Вотъ истеричка».

Вѣтеръ рвалъ юбку, накидку, вуаль, а Тереза стояла посреди двора, заливаемая дождемъ, слѣпая отъ муки, прижавшись, какъ нищенка, у входной двери. Ее начала бить лихорадка. Она не пойдетъ обратно... не можетъ... Ужасъ и безнадежность глядѣли на нее изъ мрака сада. Исчезла увѣренность. Слышала явственно шумъ мокрыхъ вѣтвей, скрипѣніе стволовъ, жалобы вѣтра, журчаніе воды, слышала рѣдкія, слабыя гаммы изъ комнаты органиста, но чудные голоса умерли, любимый образъ потускнѣлъ, надежда угасла. Вернуться? Прійти домой, раздѣться, зажечь лампу... остаться одной съ позорными призраками прошлаго, съ воспоминаніями о Пшерминскомъ, съ портретомъ умершей Ирэны... Ахъ, Инка!..

Передъ опухшими, заплаканными глазами мелькнули Лазенки. Тамъ, въ паркѣ, бродила Ирэна передъ смертью. Инка, Инка, любимая моя, одинокая моя!.. Впрочемъ, и ты не могла бы помочь мнѣ... Зажмурилась отъ цѣлаго фонтана капель, плеснувшихъ съ вѣтокъ. Не покойная ли нѣжно коснулась ея плеча? Иди же... ну, иди же. Дрогла у двери, безпомощно ежась и плача. Нѣтъ, она не посмѣетъ подняться въ квартиру настоятеля... не посмѣетъ....

Если ксендзъ Ганушъ прогонитъ ее... Что же, пусть... Тайно злорадствовала, измывалась сама надъ собою. Пусть прогонитъ. Она пойдетъ и отдастся пер-

вому встрѣчному... станетъ продажной тварью... Она напьется пьяной, будетъ ругаться и бить стаканы... Она запоетъ шансонетку «Люблю мужчинъ я рыжихъ». А потомъ... потомъ такъ же, какъ и Ирэна... пуля въ лобъ...

Боже!.. Боже!.. Или нужно было броситься на мокрую, вязкую тину, биться на ней и кричать, молить помощи у неба! Или Богъ возмущался, что она обращается сначала къ человѣку? Можетъ быть настоящее это есть лишь кара за любовь—земную любовь къ священнику? Богъ, церковь, законъ, люди были противъ нея. Ей ли бороться съ ними. Гдѣ, у кого искать защиты?

Было неловко оставаться дольше здѣсь, у двери. Ежеминутно могли вытти изъ пріюта или кухни.

Впередъ или назадъ?

Рѣшилась.

Съ трудомъ открыла набухшую входную дверь. Знакомая высокая лѣстница. Дуетъ откуда-то... пахнетъ сыростью, известкой... на ступеняхъ мокрые слѣды...

Поднималась выше. Вотъ и площадка. Горитъ электрическій рожокъ. Прямо дверь съ большой дощечкой—«Настоятель», налѣво такая же дверь въ квартиру молодыхъ священниковъ. Коврикъ для ногъ... Salve... Ящикъ для писемъ... Узкой полоской окно...

Звонила. Молчаніе. Одна минута, двѣ, три... Кажется, вѣчность. Кажется; она все еще внизу, у двери, промокшая и усталая... шумъ вѣтра, холодная влажность дождливой ночи, ускользающая глина подъ ногою...

Дрожащая рука поднялась было позвонить вторично и упала. Если не откроютъ? Что же, пусть лучше не открываютъ.

Явственно щелкнулъ замокъ. Дверь дернули... из-

нутри цѣпочка... вопросительное лицо лакея... минута... Открыли....

— Пожалуйте.

Теперь все понятно, знакомо и просто... Передняя. Вѣшалка. На подзеркальникѣ фетровая шляпа вмѣстѣ съ телефонной книжкой. Направо на полу свѣтовыя полосы... изъ канцеляріи... Тамъ занимается письмоводитель. Прямо—гостиная. Лакей забѣгаетъ впередъ, зажигаетъ электричество.

Тереза одна. Хватается за кресло... на секунду забываетъ, зачѣмъ она здѣсь.

Шаги настоятеля.

Она выпрямляется. Какъ кружится голова и стучатъ зубы. Боже всесильный, Боже милосердный!..

Входитъ ксендзъ Ганушъ.

Бросаетъ на столъ бумаги, письма, счета.

Спрашиваетъ что-то, пристально глядя своими большими, властными, черными глазами.

Отвѣчаетъ она ему или нѣтъ?

Тереза не слышитъ своего голоса... Почему онъ самъ придвигаетъ ей кресло? Какой у него участливый видъ. Онъ никогда еще не смотрѣлъ на нее такъ ласково... никогда... Лучъ надежды... огненная мгновенная мысль: «проститъ»....

Внѣ себя она бросается на колѣни... совсѣмъ близко, совсѣмъ близко... И говоритъ. Она не помнитъ ничего изъ того, что говоритъ. Это плачетъ ея душа. Это кричитъ ея сердце... Она ненавидитъ мужа... она ненавидитъ родныхъ... она пала... у нея любовникъ... она и его ненавидитъ... она на содержаніи... она боится пасть еще ниже....

Ксендзъ Ганушъ блѣднѣетъ. Склонился надъ нею. Весь—одно вниманіе, состраданіе, чуткость.

— Встаньте. Богъ прощаетъ.

Сказалъ или почудилось? Все ея существо, сквозь туманъ горя, слезъ боязни, пронизываетъ сладкій восторгъ, упоительное головокруженіе отъ его близости, нѣмой, понимающей улыбки.

Она пришла къ нему, чтобы онъ простилъ ее... онъ поддержалъ ее... она обманывала его до сихъ поръ... никогда не была она честной женщиной, никогда... пусть ксендзъ Чеславъ проститъ, пусть проститъ...

— Встаньте. Богъ прощаетъ.

Она чувствуетъ плотность суровой сутаны, шершавый поясъ у себя подъ грудью, вдыхаетъ слабый, тонкій запахъ духовъ и сигары. Ея пылающія губы лежатъ на его рукахъ, голова касается его колѣнъ, глаза поднимаются, для того, чтобы слиться, потонуть въ любимыхъ глазахъ. И, почти теряя сознаніе, она рѣшается на послѣднее. Она повѣряетъ ему свою святую, глубокую, прекрасную тайну. Она любитъ его... Любитъ съ первой встрѣчи, съ перваго взгляда, насмерть любитъ. Никто, ничто, не заставитъ ее отречься отъ него... она будетъ любить его, будетъ... она не можетъ разлюбить... О, пусть онъ будетъ милосерденъ къ ней, пусть сжалится надъ ней....

— Встаньте. Богъ прощаетъ.

Неожиданно и просто онъ взялъ ея руки въ свои. Наклонился такъ, что почувствовала на себѣ его дыханіе, увидѣла бездонную глубину и красоту его черныхъ глазъ, темную прядь волосъ, упавшихъ на упрямый лобъ, безконечно грустное, безконечно нѣжное выраженіе.

Замерла полно, всѣми чувствами, какъ если бы ее ослѣпила молнія, присутствіе божества.

Замерла отъ хлынувшаго счастія.

Ксендзъ Ганушъ говорилъ...

Сознаніе, оцѣпенѣвшее въ любви, не удерживало, не воспринимало рѣчи. Она смотрѣла и не слышала.

Ахъ, эти неуслышанныя слова... какъ ихъ потомъ жалѣла Тереза.

Наконецъ она встала. Улыбалась ему благодарно, смотрѣла восхищенными, влюбленными, покорными глазами. Нѣсколько незначительныхъ фразъ... дружески поданныя перчатки, платокъ...

Ксендзъ Ганушъ провожалъ ее и стоялъ на площадкѣ, покуда она спускалась по лѣстницѣ.

Его лицо, строгое замкнутое лицо священника озарилось внутреннимъ свѣтомъ и лаской. Pax tecum.

XII.

Въ Страстную пятницу костелъ погрузился въ трауръ.

Алтарь оставался одинокимъ, съ опрокинутыми предметами—хаосомъ, символизирующимъ смерть Іисуса. Лѣвый притворъ занялъ гробъ Господень. Св. Гостія, таинственно блистающая сквозь бѣлый тюль, плотно укутанная, плѣненная, безпомощная, какъ пойманный голубь. Скорбно плачущія и покорно умирающія свѣчи. Густой ароматъ цвѣтовъ, обрывки ладана, словно разорванная синеватая вуаль. Шопотъ молитвъ, подавленные вздохи, темные склоненные силуэты.

За окнами весенняя ночь, шорохъ проснувшихся деревьевъ, далекое небо и звѣзды.

Вечерня кончилась.

Пропѣли стонущее, рыдающее.

Теперь исполняли духовный концертъ Гайдена—«Семь словъ Спасителя на крестѣ». Тереза молилась, тоскуя о прошломъ, покоряясь настоящему, прося силы для будущаго.

— Сердце Іисуса, сжалься надъ нами...

О, Сердце, истекающее кровью за грѣхи человѣчества, о, Сердце, преисполненное любви и прощенія, о, Сердце, распинаемое, оскорбляемое, унижаемое ежедневно, вѣчная жертва на вѣчной Голгоѳѣ!..

Ксендзъ Ганушъ сидѣлъ на первой партѣ, ближе къ сакристіи, не снимая кружевной комжи. У него былъ очень измученный видъ.

Ей казалось нѣчто невидимое, могущественное, высшее соединяло ихъ здѣсь, среди темныхъ притворовъ, въ ароматѣ ладана, цвѣтовъ, подъ нѣжную мелодію скрипокъ.

Мечтала о тѣхъ жертвахъ, которыя принесла бы, если бы онъ принялъ ихъ, о той любви, которую не смѣла выражать слишкомъ ярко. Жить всегда вмѣстѣ... Исполнять радостно не только желаніе, но и капризъ, отдавать себя полностью, ничего не ожидая, ни на что не надѣясь, слѣдить жадно за каждымъ измѣненіемъ любимаго лица, покорно опуститься къ его ногамъ и умереть, не подымаясь. О, если бы это было возможно!

Она роптала невольно. Ея чувство было такъ несчастно. Оно лежало въ сердцѣ бездѣятельно, и она ничѣмъ не могла проявить его. Оно считалось даже грѣхомъ, преступленіемъ, ужасомъ. Она обязана была сама задушить его, уничтожить.

О, милосердія, Боже, милосердія!

Вспоминала, какъ утѣшеніе, слова одной набожной книги:—«Вы—свѣтлые ангелы, падите на колѣни и преклонитесь передъ этимъ проходящимъ мимо служителемъ Бога».

Не такъ ли должна была относиться и она?

Глядѣла на него, перебирая четки, съ восторгомъ и

благоговѣніемъ. Онъ воскресилъ ее. Всѣмъ она была обязана ему, только ему.

Скрипки смолкли. Шумъ пюпитровъ. Полуголоса. Парты опустѣли давно.

Въ сакристіи ксендзъ Ганушъ самъ отворилъ дверь Терезѣ. Они вышли вмѣстѣ. Было тихо въ саду. Пахло весною. Небо сверкало звѣздами. Въ душѣ Терезы покорная грусть смѣнилась трепетной благодарностью. Ей хотѣлось поцѣловать землю, по которой онъ шелъ. Она не смѣла сказать ничего изъ того, что чувствовала.

— До свиданья.

— До свиданья.

Въ отвѣтѣ настоятеля дрогнула жалость, словно понимая ея мысли и страдая за нее, положилъ ей руку на голову...

И она пошла дальше, во мракъ ночи, одна, хотя по-настоящему смыслъ ея жизни былъ въ томъ, чтобы оставаться всегда съ нимъ и служить ему вѣрно, покорно, до смерти.

Это былъ удивительно - длинный памятный день, цѣлая эпоха для Терезы.

Проснулась рано, сейчасъ же вспомнила, что завтра Пасха, она встрѣчаетъ ее одна, безъ Яна, нужно убрать столъ, послать цвѣтовъ ксендзу Ганушу, пойти къ заутренѣ, молиться, радоваться, и, по возможности, не думать о настоящемъ. Убирала квартиру оживленная, смѣющаяся. Окна выставлены. На всемъ южное, весеннее солнце. Голубое небо. Гулъ улицы.

Въ пять часовъ поѣхала въ цвѣточный магазинъ. Съ наслажденіемъ усѣлась въ грубый экипажъ, пахнувшій кожей. Долго объясняла, куда нужно ѣхать (глухой извозчикъ не понималъ), но не сердилась, а продолжала смѣяться. Ахъ, ты мой славный, забавный

старичокъ! Поѣзжай только скорѣе... на-чай получишь щедро, поклонишься. Оглядывалась блестящими, радостными глазами. Прониклась умиленіемъ ко всему окружающему... Ахъ, какія вы красивыя, нарядныя женщины. Ахъ, какіе вы милые мужчины....

Суетитесь, друзья, суетитесь....

Въ цвѣточномъ магазинѣ стоялъ густой, восхитительный ароматъ гіацинтовъ, розъ, сирени, ландышей.

Тереза заказала корзину лилій, внутренно задыхаясь отъ восторга. Ея голубые глаза сіяли.

— Куда прикажете послать?

Говорила адресъ медленно, наслаждаясь тѣмъ, что произносила вслухъ имя и фамилію ксендза Гануша. Сладкій, приторный воздухъ туманилъ ей голову. Явственно мелькнули любимые, темные, гордые глаза, яркія губы...

Вся кровь бросилась въ голову Терезѣ и сразу отхлынула. Острая, нестерпимо-жгучая, жуткая мысль... мысль отъ которой похолодѣло тѣло, выступилъ потъ... смятеніе... страхъ... крикъ бѣшенаго, дерзкаго, слѣпого желанія... Нѣтъ... нѣтъ... ахъ, нѣтъ!..

Приказчикъ смотрѣлъ удивленно. Дама стояла растерянная, блѣдная, вертѣла безпомощно чекъ. Повторилъ внушительно:

— Корзина лилій... восемнадцать рублей пятьдесятъ копеекъ...

Машинально заплатила, машинально вышла.

Что это? Откуда? Шла болѣзненно-напряженная, гнѣвная, смущенная. Что это? Услужливо, холодно и трезво мысль подсказала... ксендзъ Ганушъ встрѣчалъ много женщинъ, красивыхъ, обаятельныхъ, возможно, желанныхъ... возможно, онъ любилъ и его любили... да, безъ сомнѣнія... Что она знала о немъ? Какъ она могла знать? Ревность душила ее. Поняла, что радость до-

ступна для нея только минутами, а ея любовь—горе и такое же горе, даже удвоенное, ждетъ впереди. Останавливалась передъ невозможнымъ—безсильная, безпомощная. Ничего не могла измѣнить. Ничего.

Уже совсѣмъ поздно новая прислуга Терезы доложила о приходѣ Заневскаго. Изумленная Кшевицкая почти выбѣжала навстрѣчу.

Литераторъ казался смущеннымъ. У него большая просьба. Идетъ ли Тереза къ заутренѣ? Да? Въ такомъ случаѣ не позволитъ ли она проводить ее? Конечно, охотно... Онъ принесъ ей фіалокъ. Въ память Ирэны. Инка такъ любила ихъ....

Тронутая Тереза отвѣчала на вопросы.

Янъ пріѣдетъ лишь въ концѣ этого мѣсяца. Тетя Юлія здорова, у нея все по-старому. Пшерминскій до осени, писалъ, останется за границей, а потомъ будетъ жить въ Варшавѣ. Дальчевская заходитъ рѣже.

Заневскій пристально смотрѣлъ на Терезу. Замѣтилъ, что она измѣнилась, очень похорошѣла... Спросилъ полугрустно, полузавистливо:

— Любите, пани Тереза?

Вспыхнула, но не обидѣлась. Чувствовала въ немъ близкаго. Да, любитъ. Ксендза Гануша? Да, ксендза Гануша.

Заневскій пробормоталъ участливо:

— Вы должны очень страдать. Вы такъ молоды... полны силъ. Теперь весна, звѣздныя ночи... вы слышите запахъ фіалокъ. Между нимъ и вами глубокая пропасть... Пани Тереза, вы берете на себя слишкомъ много. Мистическая любовь... Какой вздоръ... Какая ненужная, безполезная пытка.

Кшевицкая воскликнула съ невольнымъ отчаяніемъ:

— Я ничего не жду, ничего не прошу, панъ Вацлавъ!

— А что будетъ потомъ?

— Ксендзъ Ганушъ уѣдетъ.

— И не вернется?

— Не вернется.

Она тотчасъ же ушла скрыть слезы, а литераторъ остался у пасхальнаго стола.

«Какой ужасъ, — думалъ онъ, — какая несправедливость».

Черезъ полчаса, выходя съ Терезой на улицу, онъ возмущался ея покорности. Но она уже плохо слушала его.

Высыпали крупныя, яркія звѣзды. Воздухъ колебался отъ колокольнаго звона. Улицы запрудились народомъ. Мелькали красные, зеленые, голубые фонарики. Лица женщинъ въ полосахъ свѣта казались особенно нѣжными, заманчивыми, трогательными. Онѣ оставляли послѣ себя тонкую струю духовъ, шелестъ юбокъ, гамму смѣха и жаль было, когда тьма поглощала ихъ.

Въ костелѣ толпа разъединила Терезу и Заневскаго.

Тереза вздохнула свободнѣе. Заневскій разстраивалъ ее.

То, что пѣло внутри ея, заглушило, однако, скоро тревогу, грусть, сомнѣнія, и для нея остались лишь сверкающія паникадила, сверкающее богослуженіе, пѣніе, органъ, ладанъ, цвѣты и онъ, ксендзъ Ганушъ, у алтаря.

Послѣ службы пошла въ сакристію поздравить его. Остановилась передъ настоятелемъ. Подняла восторженные, влюбленные глаза, несмѣло улыбнулась. Волненіе мѣшало говорить.

Былъ отвѣтный, мерцающій взглядъ—загадочно глубокъ и нѣженъ.

XIII.

Лина бросилась въ качалку. Она уѣзжаетъ на дачу. А Тереза?

— Я остаюсь, — улыбнулась Кшевицкая.

Господи, Боже мой, не думаетъ ли она все лѣто сидѣть здѣсь? Да, вѣроятно... Какой ужасъ!

Вскользь замѣтила, что скоро и ксендзъ Ганушъ уѣдетъ.

Брови Терезы дрогнули. Нѣтъ, настоятель остается до августа... вѣдь оба викарія въ отпуску.

Тогда Дальчевская рѣшилась высказаться яснѣе:

— Милочка, я хотѣла попросить тебя... твой мужъ привыкъ къ намъ... я думаю предложить ему комнату... у насъ на дачѣ. О, за сущій пустякъ, разумѣется... Ѣдимъ мы великолѣпно. Садъ, купанье, на службу въ городъ десять минутъ ѣзды по желѣзной дорогѣ. Если бы ты ничего не имѣла противъ?

— О, ничего! — страшно обрадовалась Тереза.

— Ты—ангелъ,—расцѣловала ее Дальчевская.

Она тотчасъ же упорхнула, сообщивъ новость, что Заневскій навсегда оставляетъ городъ.

— Пусть бѣжитъ, хоть на край свѣта, а Инку ему не забыть.

Тереза осталась одна въ глубокой задумчивости. Поднялось и стало яснымъ предчувствіе горя. Вспомнились слова Пшерминскаго: «Вы погубите себя, Тэся.» Погибнуть? Какъ? Почему? Ради чего? Ея семейная жизнь становилась невыносимой, Янъ возмущался новыми порядками, злился, что безъ его вѣдома разсчитали Ванду, придирался, пилъ, скандальничалъ. Вокругъ Терезы тайно и глухо зарождался заговоръ въ лицѣ Яна, тети Юліи, Дальчевской. Создавали хитроумные планы. Добивались, чтобы такъ или иначе Тереза бросила Яна.

Тетя Юлія серьезно поддерживала Кшевицкаго, хотѣла быть съ нимъ въ ладахъ. Мечтала получить мѣсто управительницы домомъ въ Вильно. Тереза относилась безучастно. Видѣла въ тѣ дни странный, жуткій сонъ. Идетъ будто бы она мимо костела. Сумерки. Небо темное, низко нависло, деревья качаются. Видитъ, костелъ открытъ. Возлѣ грязный, отвратительный нищій въ зеленомъ кафтанѣ. Остановилась. Спросила:

— Служба въ костелѣ?

— Да. Хоронятъ Терезу Кшевицкую.

Въ ужасѣ она проснулась.

Нищаго этого она знала въ дѣйствительности, всегда встрѣчала у дверей костела, испытывала непріятное чувство. Не то жуть, не то гадливость.

Сонъ скоро забыла. Не придала значенія.

XIV.

Этотъ мѣсяцъ былъ счастьемъ для Терезы. Къ этому мѣсяцу, какъ на поклоненіе къ мощамъ, возвращалась душа Терезы, и это все, что за цѣлую жизнь подарила ей судьба.

Янъ переѣхалъ на дачу къ Линѣ Дальчевской. Тереза осталась одна. Она могла жить по-своему. Она забыла, что замужемъ. Все казалось новымъ, необычнымъ, прекраснымъ. Открылись свѣтлые горизонты, повѣрилось въ счастье, вернулись бѣлые, снѣжно-цѣломудренные сны. Во всемъ, что она видѣла, слышала, чудилось ей одно—Чеславъ. Имя, повторенное тысячу разъ послѣ Ave, наполнявшее ее восторгомъ до краевъ, жившее, пѣвшее въ ней. Чеславъ! Она перебирала всевозможныя ласкательныя слова, будто таинственную литанію или часть той мессы, которую служила ему душа днемъ и ночью, безъ отдыха. Думала о немъ такъ упор-

но и постоянно, что ей казалось, она никогда не разстается съ нимъ. Упоенная любовью ослѣпла для окружающаго, очутилась внѣ жизни, надъ жизнью. Аккуратно посѣщала майскія богослуженія. Бѣлыя длинныя вуали дѣвушекъ, ароматъ цвѣтовъ, въ которыхъ утопали алтари, старыя польскія пѣсни...

Ея любовь достигла тогда нечеловѣческой силы и чистоты.

Ксендзъ Ганушъ относился къ ней бережно, съ безконечнымъ участіемъ. Хотѣлъ загладить, щедро заплатить за долгую, упорную холодность, за то недовѣріе, съ какимъ прежде встрѣчалъ ее. Былъ простъ, ласковъ, откровененъ. Входилъ въ ея интересы, участилъ свиданія, всячески подчеркивалъ свою перемѣну.

Самое лучшее время для Терезы были утреннія мессы.

Она приходила въ костелъ далеко до начала. По стѣнамъ, полу, конфессіоналамъ бѣгали солнечные зайчики, лучи пробивались сквозь разноцвѣтныя окна, и синія, красныя, оранжевыя пятна трепетали на алтарѣ, цвѣтахъ, коврѣ. Листья пальмъ тоже окрашивались, напоминали сказку о волшебныхъ деревцахъ, и весело было глядѣть на нихъ. Врывались неясные, посторонніе звуки, струи свѣжаго воздуха, щебетаніе птицъ.

Минутъ за двадцать до начала мессы приходилъ въ конфессіоналъ ксендзъ Ганушъ.

Тереза вздрагивала. Прозрачная лазурная радость кутала сердце. Обнимала отрадная тишина. Глубокая. дивная тишина, въ которой расцвѣтали розы, грезились свѣтлые сны, пѣли невидимые ангелы, струились хрустальные ручьи. Онъ здѣсь... совсѣмъ близко... Все забывалось. Былъ онъ, онъ, только онъ. Что ей до прошлаго. Что до будущаго.

Онъ здѣсь... совсѣмъ близко....

И она счастлива. Съ его приходомъ даже костелъ для нея преображался, свѣтлѣлъ. Ей казалось, благоуханіе бѣлыхъ розъ на алтарѣ сливалось съ благоуханіемъ ея опьяненнаго сердца.

Звонили на колокольнѣ. Мелодичный серебряный звонъ, будившій скучную улицу и улетавшій потомъ къ облакамъ въ погонѣ за вѣтромъ. У алтаря зажигали свѣчи. Тоненькія, бѣлыя, невинныя, онѣ радостно страдали и умирали за молящихся. Ксендзъ Ганушъ начиналъ мессу.

— Introïbo ad altare Dei...

Органъ нѣжно развертывалъ свою бархатную мелодію, солнечныя разноцвѣтныя пятна дрожали на алтарѣ, пальмахъ, одеждѣ сакристіана, посторонніе звуки мягко вплетались въ богослуженіе.

Блѣдная отъ любви и восторга, Тереза опускала голову.

Склонялась не только передъ Богомъ, склонялась передъ нимъ, любимымъ, потому что былъ для нея земнымъ богомъ, и господиномъ, и свѣтомъ, и жизнью.

XV.

Когда Тереза проснулась и еще неясно поняла, гдѣ она и что съ нею, луна заливала комнату, а въ передней настойчиво трещалъ звонокъ.

Она вздрогнула, испугалась, насторожилась. Легкій уколъ въ сердцѣ, дурное предчувствіе. Потомъ разбудила Францишку.

Пріѣхалъ съ дачи Янъ.

— Что за чортъ, не дозвонишься!

И по его грубому окрику на горничную, и по тому, какъ онъ толкалъ мебель и швырнулъ пальто, Тереза

поняла, что мужъ пьянъ и настроенъ бурно, по-новому. Янъ сердито дергалъ ручку двери.

— Тереза, спишь? Отвори.

Впустила въ спальню блѣдная, дѣланно-спокойная. Держала высоко лампу. Оглядѣла мужа съ головы до ногъ. Безъ сомнѣнія, онъ былъ навеселѣ.

Бормоталъ, икая:

— Я пріѣхалъ... да... да... мнѣ нужно поговорить съ тобой серьезно.

— Въ два часа ночи?

— А хотя бы и въ два, кошечка... Я, кажется, здѣсь хозяинъ.... а... Какъ ты думаешь?

Выругался, плюнулъ и неловко началъ стаскивать сюртукъ.

Обстановка спальни, запахъ духовъ отъ пеньюара Терезы, сама она—маленькая, безпомощная, полуодѣтая, волновали его. Онъ хитро прищурился. Г-гы!.. Она дьявольски соблазнительна сегодня, Тэська. Схватилъ ее за плечи... старался разстегнуть пуговицы на груди... А, его не ждали? Тѣмъ лучше...

Стараясь подавить ужасъ, Кшевицкая отвѣтила ровно:

— Напрасно ты являешься въ такомъ видѣ, Янъ... Завтра поговоримъ, а теперь ложись или здѣсь, или въ гостиной... меня же оставь въ покоѣ.

Кшевицкій разразился площадной бранью. А, вотъ какъ... его, законнаго мужа, выпроваживаютъ... Ну, чорта съ два, такъ онъ и послушается. Онъ не дуракъ. Онъ понимаетъ, въ чемъ дѣло. Тереза навязала ему Линку, а сама вообразила, что можетъ обзаводиться любовниками. Нѣтъ, шалишь, не на таковскаго напали... онъ не желаетъ быть посмѣшищемъ всего города... Довольно роговъ... Или она его жена, или просто шлюха, и тогда пусть убирается на всѣ четыре стороны... За-

втра же онъ вышвырнетъ ея тряпки и ее самое на улицу... Ступай въ публичный домъ... тамъ въ такихъ нуждаются, дрянь паршивая!..

Изъ его ругальтельствъ и криковъ выяснилось, что товарищи настроили его особенно противъ Пшерминскаго.

— Счастливъ твой богъ, что Антось удралъ за границу, я бы ему зубы почистилъ.

Внѣ себя она крикнула:

— Ты зналъ... ты зналъ это, лгунъ!.. Ты зналъ... ты самъ продалъ свою жену, негодяй!..

На секунду ошеломленный ея взрывомъ, онъ молчалъ. Потомъ почесалъ затылокъ и продолжалъ примирительно. Пусть такъ... Пшерминскаго онъ прощаетъ. А ксендзъ Ганушъ?

Тереза задохнулась отъ неожиданности.

Сѣла подавленная. Шепнула еле слышно. Онъ скорѣе догадался по губамъ.

— Ксендзъ Ганушъ?

— Ну, да, конечно, — фыркнулъ Янъ, раздѣваясь и швыряя ботинки, — ксендзъ Ганушъ... Что такое ксендзъ Ганушъ? Ни рыба, ни мясо... ксендзъ... забавно... Ей-Богу же, я даже не ревную. Только поцѣлуй меня... Слышишь? Поцѣлуй... И потомъ ты будешь сегодня моею....

— Молчи... молчи...

— Тсс... тише... тише... не хорохорься, цыпочка... будешь... Какой дьяволъ мѣшаетъ тебѣ обнимать меня, а думать о немъ. Ночью всѣ мужчины, какъ и женщины, равны, милочка... не отличишь.

— Ты негодяй!—задыхалась она.

— Любящій мужъ, — икалъ онъ, — только любящій мужъ.

Она накинула платокъ и ушла въ гостиную.

Здѣсь прислонилась къ стеклу.

Луна свѣтила холодно, ярко. Темно-синее, почти черное небо. Застыли на блѣдной панели силуэты каштановъ. Гулялъ съ палкой сторожъ. Блеснула мысль— «уйти изъ дому и не вернуться». Сейчасъ же потухла. Развода у католиковъ нѣтъ. Средствъ никакихъ. Полная неумѣлость жить, слабое здоровье...

Кто-то злой, безобразный, гадкій хихикнулъ... Что будете дѣлать, барынька? А, продаваться придется... Обязательно, даже, милочка....

Изъ темноты сверкали мужскіе хищные зубы. Вспомнилось любимое выраженіе Шатковскаго:

— Бѣдная маленькая женщина съ большими глазами.

Гримаса искажала ея лицо. Въ ужасѣ, словно ища опоры, оглянулась.

— Тереза!.. Тэська!.. Жена!.. — кричалъ Янъ.

Онъ показался въ нижнемъ бѣльѣ, коренастый и всклокоченный.

Крикнула истерично, блѣднѣя, замирая отъ страха:

— Я не пойду!.. Я не пойду!..

Янъ схватилъ ноты съ рояля и, подойдя послѣ паузы, началъ хлестать ее по лицу.

— Дѣвка!

Потомъ онъ началъ бить ее руками, повторяя все одно и то же:

— Дѣвка!.. Дѣвка!..

Въ глазахъ Терезы потемнѣло. Отшатнулась къ окну. Лицо запылало, какъ въ огнѣ. Острая боль, истерическій клубокъ сдавилъ горло. Молчала, стискивая зубы.

— Живи до осени, а потомъ убирайся!.. Падаль!..

Потомъ онъ швырнулъ ноты и ушелъ въ спальню.

Встала и зажгла лампу Францишка. Пришла на шумъ. Испугалась.

Тереза вытирала кровь.

— Пани, — вдругъ заплакала Францишка, — бросайте его, идола... пусть самъ живетъ, какъ хочетъ... свѣтъ широкій, пани....

На разсвѣтѣ Янъ пришелъ къ женѣ въ гостиную, гдѣ она спала на диванчикѣ, и грубо, животно овладѣлъ ею.

Утромъ Янъ привелъ тетю Юлію и объявилъ, что она останется у нихъ до осени, такъ какъ начался ремонтъ ея флигелечка. Онъ посвятилъ Бжезовскую въ интимности вчерашняго вечера, жаловался на Терезу, расхаживалъ павлиномъ и пѣлъ шансонетки.

— Не знаю, — объявилъ онъ важно, — смогу ли я простить Терезу, или мы разъѣдемся. Вы, тетушка, будьте свидѣтельницей. Такого мужа поискать нужно.

Тереза откликнулась вяло:

— Мы разъѣдемся. Будь покоенъ.

Тетя Юлія враждебно фыркала. Она поддерживала Яна. Нѣтъ, Тереза ведетъ себя возмутительно. Всякій стыдъ забыла. Богъ съ нею, съ такой племянницей... «А я буду таки управлять домикомъ въ Вильно» пѣла задняя мысль.

Вечеромъ пріѣхала Лина. Тереза только сейчасъ замѣтила, какъ она похорошѣла, пополнѣла. Одѣвалась еще наряднѣе. Съ Терезой держалась покровительственно-ласково.

Когда весь этотъ враждебный персоналъ расположился въ квартирѣ, Тереза съежилась, ушла въ себя. На ея блѣдномъ, сразу осунувшемся лицѣ застыло скорбное замкнутое выраженіе. Отъѣздъ ксендза Гануша дѣло нѣсколькихъ дней—оба викарія вернулись. Что еще могло волновать ее, тревожить или огорчать?

Янъ поѣхалъ сопровождать Лину на музыку.

Въ его отсутствіе зашелъ проститься Заневскій. Пожелали другъ другу счастья, въ счастье не вѣря.

XVI.

Кшевицкая ждала Францишку, изнемогая отъ волненія. Даже руки у нея стали влажны. Нѣсколько разъ подходила къ окну. Безуспѣшно.

Раскаленная, пыльная улица, вѣтеръ...

Ушла бы, конечно, но нельзя оставить пустую квартиру. Янъ, тетя Юлія на дачѣ у Лины.

Сегодня Тереза узнала отъ сакристіана, что ксендзъ Ганушъ вернулся изъ X. Онъ ѣздилъ туда на цѣлыхъ двѣ недѣли. Прелюдія разлуки.

Тереза совсѣмъ измучилась. Съ тѣхъ поръ, какъ она жила съ мужемъ, новое, тягостное чувство стыда, отвращенія къ себѣ самой мѣшало ей посѣщать костелъ. Цѣлыя ночи, задыхаясь отъ жары, терзаемая безсонницей и тоскою, думала о томъ, что ксендзъ Ганушъ уѣзжаетъ навсегда. Уѣзжаетъ онъ въ Америку. Говорятъ, останется тамъ миссіонеромъ. Что-то въ этомъ родѣ. На ея вопросы ксендзъ Ганушъ отвѣтилъ уклончиво. Онъ не любилъ распространяться о себѣ самомъ. Значитъ, она теряла его изъ вида. Навсегда уѣдетъ... вколачивала это слово съ упорствомъ отчаянія. Навсегда уѣдетъ. Старалась воспринять, хотя немного привыкнуть къ ужасу неизбѣжной разлуки. Она теперь часто вспоминала Инку и завидовала ей. Пробовала утѣшать себя: «Это искупленіе». Потомъ кощунственно смѣялась. Искупленіе? Передъ кѣмъ? За что?

Къ вечеру страшно утомлялась. Ложилась посинѣвшая, разбитая, укутывалась, несмотря на жару, плэдомъ и такъ лежала безъ движенія. Тосковала такъ мучительно, что ее боялись трогать.

Сегодня, передъ свиданіемъ съ настоятелемъ, Тереза задыхалась отъ волненія.

Скоро ли?.. Боже мой... эта Францишка... Скоро ли?..

Наконецъ прислуга вернулась. Жаловалась на погоду... и это люди называютъ лѣтомъ, Іезусъ-Марія! Фамильярно пеняла Терезѣ. Куда собралась пани? Вонъ какая блѣдная. Напилась бы лучше чаю съ ягодами...

Тереза убѣжала, не понимая ея.

Надъ городомъ свирѣпствовалъ вѣтеръ. Столбы раскаленной, ѣдкой, сухой пыли поднимались къ самому небу. Оно потускнѣло, затянулось дымкой. Вяло бродили люди. Зной. Духота. Совершенно пустынные улицы и скверы. Ахъ, этотъ вѣтеръ, это колебаніе вѣтокъ, солнечныхъ пятенъ, густыя облака пыли! Ей казалось, она потеряла сразу всѣ силы, сама закружилась песчинкой въ порывахъ судьбы.

Куда, зачѣмъ и почему несетъ ее? Почему ея жизнь такъ печальна, такъ ужасно, безгранично печальна?

Въ церковномъ саду, трепещущая, напряженная, увидѣла ксендза Гануша.

Гулялъ съ однимъ изъ синдиковъ. Она споткнулась о камень. Его глаза остановились на ней. Строгіе, внимательные, какіе-то новые. Иные глаза—это она почувствовала инстинктивно, почувствовала всѣмъ своимъ существомъ.

Сердце Терезы упало.

Чужой... вновь чужой и далекій... Почему? Что случилось? Хочетъ смягчить для нея ужасъ разлуки? Поглощенъ своими заботами? Отвыкъ за эти двѣ недѣли?

— Добрый день, ксендзъ Чеславъ...

— Добрый день...

Цѣловала руку, ожидая улыбки.

Ксендзъ Ганушъ оставался серьезнымъ. Нѣтъ, она не ошиблась... чужой... вновь чужой и далекій. Снова ея взглядъ робко, умоляюще, виновато поднимался къ нему, а онъ самъ былъ далеко, далеко, тамъ, вмѣстѣ со звѣздами.

Обратилась униженно, какъ когда-то въ пріемной, съ деньгами для бѣдныхъ:

— Можно васъ видѣть?

Онъ посмотрѣлъ на часы.

— У меня сейчасъ засѣданіе церковнаго совѣта, но мы можемъ поговорить здѣсь.

Да, онъ измѣнился. Онъ жалѣлъ о своей временной мягкости. Было ясно его желаніе оставаться на строго-офиціальной почвѣ.

Тереза задрожала отъ тоски.

Синдикъ удалился на нѣсколько саженъ, черезъ плечо недовольно поглядѣвъ на Терезу. Скрипѣли липы. Лаялъ щенокъ и гонялся за воробьями. Вѣтеръ на минуту занесъ ихъ пылью.

— Ксендзъ Ганушъ, вы уѣзжаете скоро?

Закусывая губы, кривила ихъ въ лживую, безконечно-жалкую улыбку. На лицѣ его нельзя было прочитать ни одной мысли. Тѣнь отъ полей шляпы скрывала глаза.

— Да. Уѣзжаю на будущей недѣлѣ.

Жадно впилась умоляющимъ взглядомъ. Полувопросъ, полумольба. Ждала ласковаго слова. Ждала вопроса. Онъ молчалъ.

Съ усиліемъ пробормотала, что придетъ проститься.

— Если хотите...

Былъ равнодушенъ, тихъ. Вѣжливо освѣдомился:

— Вашъ мужъ вернулся?.. Я его видѣлъ на-дняхъ...

— Нѣтъ, онъ попрежнему на дачѣ... изрѣдка пріѣзжаетъ.

Стояла безпомощная, растерянная, комкая платье. Синдикъ насмѣшливо наблюдалъ за нею. Пыль, вѣтеръ, голуби надъ колокольней, какія-то некрасивыя женщины въ окнахъ пріюта.

Лицо ксендза Гануша выражало нѣкоторое нетерпѣніе. Онъ даже сдѣлалъ шагъ впередъ. Пора уходить. Прошептала:

— До свиданья.

Чуть наклонилъ голову, щурясь.

— Съ Богомъ!

Ахъ, Богъ!..

Ушла медленно, спотыкаясь и не оглядываясь. Слышала, какъ чему-то смѣялся синдикъ. Вѣтеръ рвалъ ея длинную черную вуаль, засыпалъ пылью, злорадно гналъ со двора.

«Дѣвка,—вдругъ подумала она про себя съ безконечной ироніей,—дѣвка... здѣсь тебѣ не мѣсто... онъ снисходитъ къ тебѣ... онъ прощаетъ тебя, какъ священникъ, но онъ считаетъ тебя дѣвкой... да... можешь успокоиться...»

Грубо и глупо захохотала, затыкая ротъ платкомъ.

На колокольнѣ звонили къ Angelus. Чистые, дѣтскіе голоса въ пріютѣ нараспѣвъ говорили молитву Непорочной:

„Zdrować Marya lasky petna...“

Ахъ, какая это была долгая, кошмарная ночь!

Тереза бродила въ ненавистныхъ комнатахъ изъ угла въ уголъ, при слабомъ мерцаніи свѣчи, полная такой невыразимой муки, что сама удивлялась, почему она не умираетъ. Почему смерть не приходитъ къ намъ тогда, когда мы зовемъ ее покорно, униженно? Почему смерть такъ же капризна, какъ счастье?

Въ эту ночь ее оставила вѣра. Она не молилась. Она не замѣчала Распятья. О чемъ просить? Смерти? Любви ксендза Гануша? И то и другое было кощунствомъ. Небо казалось пустымъ, а человѣкъ одинокимъ, безпомощнымъ и болѣе ненужнымъ, чѣмъ сорная травинка въ полѣ. Въ ней поднялся вихрь кощунственныхъ упрековъ къ Небу. Издѣваясь сама надъ собою, думала: «Что мое горе въ сравненіи съ вѣчностью? Что мои страданія въ сравненіи съ тѣмъ, кто умиралъ подъ пыткой, на кострахъ, въ подземельѣ?»

Рвала себѣ сердце тихимъ, любовнымъ шопотомъ:

— Чеславъ... Богъ мой... господинъ мой... Чеславъ...

Почему онъ не слышалъ? Почему она не могла встать, пойти, лечь у его ногъ, какъ раненое животное: «Убей... убей своими руками... умирая, я буду видѣть тебя».

Почему она не могла вынуть и бросить ему свое окровавленное, несчастное, истерзанное сердце со стономъ любви и муки: «Я больна, господинъ мой, но скажи слово и слуга твоя исцѣлится». О, если бы онъ зналъ все!.. О, если бы онъ могъ подобно ангеламъ читать мысли, видѣть сокровеннѣйшія движенія души! О, если бы онъ не былъ священникомъ!

Равнодушіемъ и покоемъ дышала тишина ночи.

Свѣтлое небо, звѣзды, мѣсяцъ. Это было такъ далеко, чуждо, непонятно. Во всемъ мірѣ она была одна. Гдѣ-то въ эту минуту рождались люди, гдѣ-то умирали, гдѣ-то былъ день, гдѣ-то полярная ночь. Что имъ всѣмъ до нея, какъ и ей до нихъ! Кто или что могло помочь ей, кромѣ смерти? Но она еще хотѣла жить. Она такъ молода... Она простирала руки къ небу. Помощи!.. Милосердія!

Слезъ не было. Сидѣла, сгорбившись, какъ старуха, съ растрепанными волосами. Думала: «Если бы Инка

осталась въ живыхъ...» И думала такъ, просто отъ горя, такъ какъ чѣмъ бы могла ей помочь Ирэна.

Потомъ встала на колѣни передъ Распятіемъ. Не молилась, стонала. Дошла до предѣла муки. До экстаза страданія.

— Господи, я не знаю Тебя... Я не знаю, существуешь ли Ты или нѣтъ, но я хочу вѣрить въ Тебя... Умножь мою вѣру... Вотъ я нашла человѣка, въ котораго перелила свою душу, который сталъ моей жизнью, дыханіемъ, святыней, ради него, черезъ него я снова вернулась къ Тебѣ... Господи, не отнимай его у меня, не отнимай... Если не Ты, кто же поможетъ мнѣ? Придетъ смерть и унесетъ его или меня навѣки. Видѣть его, слышать, не разставаться съ нимъ... Господи, я большаго не прошу... Не отнимай!.. Не вѣрю, не могу вѣрить, будто оскорбляю Тебя, любя его... Не отнимай!

Что еще могла она прибавить къ этому?.. Ничего.

Попрежнему было молчаніе, ночь...

Она долго слушала тишину.

Потомъ, оставивъ Невидимаго Бога, молилась тому, второму, земному... Тому, кто отвѣтить, услышать также не могъ и не хотѣлъ, но кого она любила больше перваго.

— Чеславъ, будь милостивъ... сжалься надо мною... Господинъ мой, радость моя... Чеславъ...

Благословляла его за тотъ мигъ, когда впервые услышала его голосъ, благословляла за муку нераздѣленной любви и радость короткихъ свиданій, благословляла за каждое ласковое и каждое гнѣвное слово. Благословляла, рыдая, въ изступленіи безысходности, въ слѣпомъ отчаяніи передъ невозможнымъ.

Свѣтало. Звѣзды потухли. Легли голубыя тѣни. Стали проще, явственнѣе выступать дома, каштаны. Стало проще и грубѣе ея горе.

XVII.

Тереза вышивала за пяльцами. Какъ ни ломала себя, а думать о ксендзѣ Ганушѣ пришлось. Завтра онъ уѣдетъ съ ночнымъ поѣздомъ.

У нея не было отъ него ни карточки, ни пустой записки, ничего такого, что бы она могла сохранить. Онъ уходилъ изъ ея жизни полностью, обрекая ее на одиночество, не оставляя даже тѣни надежды, словно умирая заранѣе. Не мелькнулъ ли онъ яркимъ лучомъ, согрѣвъ ее лишь потому, что она случайно попала ему на дорогѣ? Быть можетъ было бы лучше не встрѣчать его?

Не могла представить себѣ, что скажетъ ему на прощанье.

Терзала мысль, какъ онъ встрѣтитъ ее? Близокъ или далекъ? Ласковъ или безучастенъ?

Гдѣ-то глубоко-глубоко, въ тайникахъ сердца просыпался робкій, нѣмой вопросъ—можетъ быть, онъ любилъ ее. Но такъ робко и неопредѣленно, что она сама почти не сознавала этого.

Какъ сквозь сонъ видѣла окружающее.

Тетя Юлія металась фуріей, въ передникѣ, красная, пахнувшая какими-то соусами, съ масляными губами. Францишка накрывала на столъ, стуча тарелками. Ждали Яна съ дачи. Потомъ тетя Юлія говорила что-то по поводу прекрасной погоды и раскрыла окно.

Солнце заливало комнату. Вѣтеръ колыхалъ занавѣсочку. Часы били три.

И вдругъ, какъ годъ тому назадъ, появилась похоронная процессія и медленно двигалась мимо оконъ. Впереди шелъ ксендзъ Ганушъ въ кружевной комжѣ, беретѣ. Сосредоточенный, замкнутый, гордый.

Тереза встала и читала Ave, сжимая холодныя руки.

Вся ея любовь къ этому человѣку, несчастная, больная, измученная любовь мелькнула передъ нею.

Со стономъ отчаянія и муки она перебирала въ душѣ прошлое, словно чудесныя, драгоцѣнныя четки. Она вонзила въ тысячный разъ и въ тысячный разъ повернула ножъ въ своемъ сердцѣ.

Опустилась на стулъ и не смогла отвѣтить на какой-то вопросъ тети Юліи.

За обѣдомъ Янъ замѣтилъ насмѣшливо:

— У тебя, Тереза, неприличное лицо, какъ послѣ оргіи.

Знакомая, старая улица, по которой проходила тысячу разъ... знакомый скверъ, гдѣ часто сидѣла послѣ богослуженія... мужская гимназія... лѣчебница... а вотъ и костелъ. Небо голубое-голубое, радостное. Надъ крестомъ вьются какія-то птички. Въ изгородь лѣзутъ цвѣты отцвѣтающей широколиственной сирени.

Входила въ церковный садъ невѣрной, слабой походкой. На скамеечкѣ старый полковникъ въ бѣломъ кителѣ, окруженный ребятишками. Гуляетъ викарій, читая требникъ. Ползутъ какія-то старушки. Окна въ пріютѣ раскрыты. Вездѣ и на всемъ солнечныя пятна. Тихо. Тепло. Буднично.

Тереза поднялась къ настоятелю. Не спѣша. Искусственно сохраняя спокойствіе.

— Ксендза нѣтъ дома,—равнодушно заявилъ лакей.

Смотрѣла на него возмущенно. Мелькнула невѣроятная мысль—лжетъ.

Потомъ рѣзко, точно онъ былъ виноватъ въ этомъ, спросила:

— А когда ксендзъ вернется?

— Не могу знать.

Въ такомъ случаѣ она останется ждать.

Лакей неохотно впустилъ ее.

Въ гостиной сѣла страшно усталая. Рѣзалъ воротникъ. Глаза какъ-то туманились. Не сразу оглядѣлась, а лишь минутъ черезъ десять.

Ахъ, какъ здѣсь все перемѣнилось! Съ трудомъ узнавала въ этой пустой пыльной комнатѣ изящный темно-красный уголокъ, гдѣ всегда стояли живые цвѣты и такъ весело наигрывалъ на дудочкѣ игрушечный савояръ. Потѣшный ты мой! Комната была почти голая и цинично показывала прорѣхи въ обояхъ. Мебель кое-какъ наскоро, кучкой въ углу. Гравюры, ковры, занавѣси сняты. Обрывки бумагъ, бечевокъ. Коробки отъ гильзъ.

Все измѣнилось.

Нужно было встать и заглянуть въ кабинетъ. Не захотѣла. Боялась, что ея сердце совсѣмъ разорвется отъ горечи, жалости, ужаса передъ разоренной квартирой.

Соображала, что ей сказать ксендзу Ганушу. Какія найти мольбы? Подумала, что не сможетъ заплакать, и онъ унесетъ навсегда въ памяти ея лицо тусклымъ, тупымъ и усталымъ. Можетъ быть уйти? Но развѣ это возможно? Чрдовищная мысль! Не тронулась съ мѣста.

Женщина въ чесучовой кофточкѣ, странная и безобразная, принесла бѣлье ксендза.

Какъ зимою на концертѣ, Тереза остро запомнила почему-то запонку ксендза, такъ и теперь остро, рельефно врѣзалась въ мозгъ эта стопка бѣлья съ черными носками.

Женщина испуганно, глуповато поглядѣла на Терезу и поклонилась.

— Ксендзъ скоро вернется?—нарочно остановила ее Тереза. Смотрѣла сурово и враждебно на прислугу.

Ненавидѣла ее уже отъ души. Пришли грубыя и скверныя мысли.

Та наивно склонила голову.

— Сейчасъ, паненка, сейчасъ...

Терезѣ вдругъ захотѣлось засмѣяться и причинить боль этой идіоткѣ. Она терла лобъ и ничего не придумала.

Женщина зашла въ кабинетъ. Терезѣ чудилось, что она остается тамъ вѣчность.

Потомъ женщина такъ же бокомъ, косо, смѣшно, какъ будто однимъ плечомъ разсѣкая воздухъ, ушла обратно.

Тереза ждала. Мучительно тосковала. Внутренно ахнула, что теперь, за нѣсколько минутъ до прощанія, ея мысли такъ мелки, пошлы и разсѣянны. Нетерпѣніе во всемъ тѣлѣ напоминало зудъ.

Наконецъ звонокъ.

Тереза не шевельнулась. Слабо звонили. Вѣроятно знакомые или просители. Нѣтъ, ошиблась. Голосъ ксендза Гануша.

Тотчасъ же, въ одно мгновеніе, была на ногахъ. Сердце покатилось въ бездну.

Ясность, жадность, изступленная внимательность широко раскрытыхъ глазъ...

«Сейчасъ... сейчасъ... Боже!.. въ эту дверь... сейчасъ... Не призракъ, а живой... онъ!.. Да, онъ!..»

Ксендзъ Ганушъ входилъ.

Поздоровалась чужимъ голосомъ, чужой улыбкой улыбнулась.

— А я уже здѣсь.

Повторила глупую фразу нѣсколько разъ:

— А я уже здѣсь.

Ксендзъ-настоятель не казался удивленнымъ. Вяло подалъ руку. Сѣлъ. Закурилъ. Имѣлъ видъ человѣка усталаго до полуобморока. Смотрѣлъ на Терезу тре-

вожно. Боялся какой-нибудь выходки. Дверь въ коридоръ оставалась открытой.

Тереза начала... какую-то пошлость... весь день томилась... хотѣла видѣть... Слова оборвались. Мысль потухла. Страшно, до безумія страшно, что время бѣжитъ... ежеминутно могутъ войти... помѣшать... Придется прощаться при другихъ.

Тихонько безпомощно заплакала.

Ксендзъ Ганушъ пробормоталъ:

— Пусть Господь сохранитъ васъ.

Тереза молча нѣсколько минутъ смотрѣла на него.

Внезапно увидѣла его душу до дна, поняла то, въ чемъ еще сомнѣвалась.

Онъ никогда не любилъ ея.

Жалѣлъ, понималъ, но не любилъ. Ахъ, мужчину всегда трогаетъ, если его любятъ!

Чудовищно-ясно поняла свою ненужность въ его жизни. Тащилась, волочилась за его сутаной, какъ случайный репей. Оторвали и выбросили. Вотъ и все. Ничего не нужно было. Ни мукъ, ни любви, ни раскаянія, ни откровенности—все лишнее, непрошеное, навязанное, скучное.

Ударъ оглушилъ ее. Страшный ударъ, послѣ котораго душа отказывалась чувствовать что-либо.

Она поднялась, страшно усталая, съ трясущимися губами.

— Въ которомъ часу отходитъ вашъ поѣздъ?

XVIII.

Два дня... три... десять... двѣнадцать...

Съ внѣшней стороны жизнь Терезы не мѣнялась.

Такъ же тетя Юлія съ утра до вечера копошилась въ квартирѣ, тонула въ сплетняхъ, дрязгахъ и благополучіи.

Такъ же пріѣзжалъ съ дачи два раза въ недѣлю Янъ, то трезвый, то пьяный, то разнузданно чувственный, то угрюмый. И хотѣлъ разойтись съ Терезой и боялся скандала. Колотилъ нѣсколько разъ, потомъ просилъ прощенья, выбиралъ Дальчевскую посредницей.

Являлась и Лина, нарядная, благоухающая, разжирѣвшая самочка, усиленно ухаживала за Терезой, напуганная тѣмъ, что та знала объ ея отношеніяхъ къ Заневскому.

И среди нихъ, живыхъ, двигалась мертвая Тереза.

Мертвая, потому что ничто изъ всего окружающаго не трогало ея, не достигало ея души. Отвѣчала на вопросы, ѣла, пила, гуляла, отдавалась мужу, но ничего не чувствовала. На глаза, лобъ, губы легли новыя, грубыя тѣни. Тѣни жестокаго равнодушія, циничнаго безразличія къ хорошему и дурному. Оставалась праздной, замкнутой, безучастной.

Чаще всего полдня она проводила въ томъ, что безцѣльно бродила по городу. Если домашніе были на дачѣ, то и ночь оставалась на улицѣ. Какъ бездомная, затравленная собака тащилась вверхъ, внизъ, бульварами, скверами, площадями, переулками. Находила въ этомъ странное, жуткое наслажденіе, жила только внутренними обостренными ощущеніями, не сливаясь съ внѣшнимъ міромъ. Гуляя, почти не думала. Усталость растопляла тоску, лежавшую глыбой на сердцѣ, притупляла мысль.

Жалѣла, что провинціальный городъ малъ, знакомъ ей такъ же, какъ ея квартира. Она не могла бы заблудиться въ немъ. А она любила теряться среди домовъ и чужихъ людей. Такъ было съ нею давно-давно въ заграничныхъ городахъ. Теперь у нея порою мѣшалось представленіе о времени, мѣстѣ: думала, что идетъ она по безконечной, раскаленной, ненавистной Ludwig Stras-

se въ Мюнхенѣ, или по скучному бульвару Gorges Favon въ Женевѣ, тоскуетъ о ксендзѣ Ганушѣ и ждетъ съ нимъ встрѣчи. Блѣдная, дрожащая, готовая разрыдаться, останавливалась, отрывалась отъ грезы и познавала горькую дѣйствительность.

Прогулки имѣли цѣлью убить время. Ужасное,тягучее, безобразно-мучительное время. Какъ медленно ползло оно! Чувствовала, проклинала каждую минуту, каждый часъ. Пускалась на всевозможныя хитрости и уловки, чтобы сократить его, на дѣтскую ложь передъ самой собою. Съ тѣхъ поръ, какъ упала въ грязь съ вершинъ своей любви, впервые замѣтила глубочайшее одиночество. Всѣ мужчины оставили ее. Сначала былъ непобѣдимый соперникъ, красивый, богатый Антось Пшерминскій, потомъ глухіе слухи о ея любви къ ксендзу Ганушу. Тереза больше не интересовала ихъ.

Женщины были обыкновенно ея тайными, злѣйшими и безпощадными врагами. Ихъ томила зависть, недоброжелательство, порою удивленіе, наконецъ равнодушіе. Она не могла также назвать ни одного семейства, гдѣ бы она бывала съ удовольствіемъ. Она жила среди людей, какъ въ пустынѣ. Это даже занимало ее нѣсколько. Рождалось презрительное высокомѣріе. Закалялась. Отходила отъ нихъ всѣхъ съ грубымъ смѣхомъ.

Одиночество мѣшало въ одномъ—не давало забыть ксендза Гануша.

Правда, съ того дня, какъ онъ уѣхалъ, запрещала себѣ думать о немъ. Вбивала въ голову, какъ прежде, слово «навсегда», такъ теперь «не любилъ». Повторяла это то съ изступленіемъ отчаянія, то съ мукой, то съ издѣвательствомъ надъ самой собою. «Не любилъ».

Дивилась тому, какъ быстро и безслѣдно свершила обратный нравственный переломъ. Нѣтъ, подумать только... она вообразила себя счастливой, честной, спасенной.

Впрочемъ, на нее нападалъ суевѣрный ужасъ жреца передъ алтаремъ. Ксендзъ Ганушъ былъ (и оставался) ея богомъ... Какъ она могла роптать на него?

Съ рыданіемъ, мысленно возвращалась къ нему. Переживала весь ужасъ, всю скорбь утраты. Это было тяжелѣй всего, пожалуй...

Не могла все еще побороть жгучей жажды видѣть костелъ и распинать тамъ въ тысячный разъ свое сердце. Зашла какъ-то. Траурная месса. Катафалкъ, окруженный свѣчами съ горой вѣнковъ. Служитъ викарій. Плачущія дамы. Народу мало. Дверь широко раскрыта. Вынесены на паперть хоругви. Оглядывалась съ кощунственной усмѣшкой. Дѣла! Нѣтъ, ей уже не молиться, ей не молиться... Потомъ пронизало внезапное болѣзненно-страстное желаніе услышать отъ кого-нибудь имя ксендза Гануша... только услышать... громко... вслухъ... Затряслась отъ нетерпѣнія. Оглядывалась безпомощно и жадно. Наконецъ у двери при входѣ замѣтила нищаго. Давно когда-то видѣла его во снѣ. Обросшій, отвратительный, грязный, въ просаленномъ зеленомъ кафтанѣ.

Подошла, бросила на ладонь мѣдяки.

— А гдѣ же тотъ ксендзъ... другой?

Красные слезящіеся глазки уставились тупо, удивленно:

— Какой ксендзъ?

— Э, да тотъ... не молодой.

— Ксендзъ Ганушъ... Пробощъ.

Затрепетала. Жалко, растерянно улыбнулась.

— Пробощъ уѣхалъ... совсѣмъ уѣхалъ, — шамкалъ старикъ.

Дрожала вся съ головы до ногъ, словно узнала это въ первый разъ.

Еле сошла со ступеней... — Уѣхалъ, — бормотала, — уѣхалъ...

И слезы раскаленныя, скудныя, безсильныя ползли по щекамъ и щекотали губы.

Съ тѣхъ поръ, какъ потеряла его навѣки, всякій интересъ къ самой себѣ умеръ въ Терезѣ. Чѣмъ быть и какъ жить дальше,—одинокой, слабой, нищей—безразлично. Неясно, блѣдно накидала планъ. Поѣдетъ въ Варшаву. Пшерминскій уже, вѣроятно, вернулся изъ-за границы. Сойдется съ нимъ. Это легко устроить. Въ концѣ-концовъ Антось лучше многихъ мужчинъ и къ ней привязанъ. А не удастся,—живетъ тамъ адвокатъ Вальчевскій... ухаживалъ за нею сильно... или Михась Ляско... этотъ тоже ничего... парень съ деньгами... или... или... ахъ, да не все ли равно... будутъ. Мало ихъ... Ей безразлично. Она ни съ кѣмъ не связана. Ксендзъ Ганушъ не любилъ ея, уѣхалъ. Былъ чужимъ, равнодушнымъ человѣкомъ. Яна она ненавидѣла. Работать? Т.-е. что же, пойти въ гувернантки, шить? Въ кондитерскую? Кассиршей? Она легкомысленно и желчно пожимала плечами. Нѣтъ... Здѣсь ей все равно оставаться нельзя. Ее достаточно знаютъ. Будетъ излишній не въ ея пользу скандалъ. Нужно бѣжать. А тамъ?.. Ну, тамъ... проституція... да, конечно...

Мысленно твердила упрямо и тоскливо:

— Тысячи женщинъ живутъ такъ... Чѣмъ я лучше ихъ?

Въ этомъ была большая доля наивности, но грѣхъ и неизвѣстность уже не пугали ея. Церковь не останавливала. Оглядывалась въ ночь прошлаго, подходила къ безднѣ будущаго вызывающе, смѣло, рѣшительно. «Погибну?.. И пусть погибаю... Туда и дорога!»

Стаи порочныхъ мыслей зарождались въ ея больномъ мозгу. Она насыщала ими безсонницу.

Боже мой, Боже мой, они снова темны! Два высокихъ, узкихъ окна. Темны. Какъ загипнотизированная, въ слѣпомъ отчаяніи возвращалась сюда, на уголъ, къ дому ксендза Гануша ежедневно. Стояла и смотрѣла, шепча что-то непонятное воспаленными, потрескавшимися губами. На нее оглядывались прохожіе. А она стояла и смотрѣла. Темны. Несчастная безъ мѣры и описанія, она, по привычкѣ, еще бродила по глухой, тѣнистой улицѣ. Она такъ устала. Устало ея сердце, ея мозгъ, ея руки, ея грудь. У нея оставалось только одно—два высокихъ узкихъ окна. Пустая комната человѣка, который не любилъ ея. Она смотрѣла туда съ болью, тоскою и нѣжностью. Ей хотѣлось сложить молитвенно руки. О, милыя окна!.. Его окна...

Однажды тамъ, внутри, черныя впадины освѣтились. Блѣдный, еле замѣтный огонекъ сквозь кружево шторъ. Слабый отблескъ неизвѣстной ей жизни. Можетъ быть пріѣхалъ новый священникъ. Или кто-нибудь изъ молодыхъ викаріевъ занялъ квартиру.

Задрожала, какъ пораженная стрѣлою. Схватилась за сердце. Вспомнила. Съ открытыми глазами вспомнила. Всталъ въ дымкѣ прошлаго живой и чарующій, любимый до безумія, съ насмѣшливой улыбкой яркихъ губъ и строгой властностью взора...

И въ тишинѣ, въ одиночествѣ осенней ночи грохнулась на землю и рыдала на ней, билась, стонала отъ муки... Будь проклята жизнь!.. Будь проклята!..

XIX.

Въ одинъ изъ сентябрьскихъ вечеровъ—между пятью и шестью часами — Тереза тихонько вышла изъ дому.

Накинула длинную черную накидку, а капюшонъ надѣла вмѣсто шляпы. Напоминала мальчика.

Гроза отшумѣла. Небо изумительно-красивое, необычное. Къ западу багровое, зловѣщее, словно гигантское зарево, дальше нѣжно-голубое, съ лиловато-сѣрыми зигзагчатыми облаками. Такое красивое небо. Глядѣла бы и не оторвалась. Мокрые желтые каштаны и клены согнулись. Не шелохнутся. Щедро покрывали влажную, холодную землю мертвые, гніющіе листья. Густой, крѣпкій ароматъ тлѣнія. Шорохъ падающихъ капель. Смерть разлита въ воздухѣ. Боже, какая тишина, какая покорность въ природѣ!

Щемящая, острая тоска у Терезы смѣнилась тупой болью.

Рѣшила погулять до поздняго вечера, а потомъ пойти къ доктору Шатковскому. Спросить объ Антосѣ. Утромъ звонила ему по телефону. Онъ сегодня одинъ, радъ будетъ видѣть... Еще бы не радъ!..

Презрительно кривила искусанныя губы. Утромъ была генеральная схватка съ Яномъ. Послѣдняя. Дикая, безобразная сцена съ побоями и руганью.

Теперь ея чемоданъ, паспортъ и сто руб. (исходатайствовала у Яна Лина) лежатъ въ ея спальнѣ. Завтра уѣдетъ въ Варшаву.

Смѣялась, вспоминая, какъ отчитала тетю Юлію. Такъ ей и надо, старой сводницѣ!..

Уходя навсегда отъ мужа, ничего не жалѣла. Ничего. Она только теперь поняла, какъ безсмысленна и ничтожна была роль Яна въ ея жизни. Съ бѣшенствомъ вспоминала ругательства, чувственную любовь и злорадствовала, что измѣняла ему. Жаль—мало. Хохотала и надъ Линой. На мое мѣсто хочешь? Валяй, душечка... Пожалуйста... Окажите милость, ваше сіятельство...

Оставляла домъ нищей даже въ смыслѣ туалета.

Прежнее роздала Вандѣ—новаго ничего не дѣлала. Укладывая вещи, натолкнулась на черное бархатное платье empire... Бархатное платье. Ея мечта, ея восторгъ, ея радость... Упала на него, плача и вдыхая слабый ароматъ розъ...

Rose Coty... любимые духи... Вспомнилось освѣщенное фойэ... толпа... ксендзъ Ганушъ... идетъ мимо... «Вы въ третьемъ ряду?»

— Вы въ третьемъ ряду?—рыдала Тереза, пряча лицо въ старое бархатное платье.—Вы въ третьемъ ряду?..

Теперь она присѣла въ скверѣ.

Оглядывалась уныло. Чувствовала себя безпріютной, безправной. Уже другой Терезой. Другой... Не могла побороть усталости, безсилія рукъ и ногъ. Ничто, никто во всемъ мірѣ не интересовалъ ея. Совершенно не думала, какъ поѣдетъ въ Варшаву и что будетъ говорить Антосю.

Обрадовалась, когда стемнѣло. Наскучило сидѣть праздной и вязать больныя, осеннія мысли. Пошла къ доктору Шатковскому. Жилъ высоко въ неуютномъ новомъ домѣ. Грязная лѣстница. Сквознякъ. Окна полуарками. Темно. Еле нашла табличку. Позвонила умышленно рѣзко.

Тотчасъ же ее впустили.

Докторъ Шатковскій въ чесучовомъ пиджакѣ, полуразстегнутый, недавно выспавшійся, ужиналъ въ столовой. Громадный клеенчатый диванъ. Висячая электрическая лампа надъ столомъ. Картины, бюсты затянуты кисеей отъ мухъ. Некрасивая, почти деревенская обстановка. Душно.

Шатковскій рѣзалъ огненный арбузъ. Тутъ же стояла холодная телятина и пиво.

Не говоря ни слова, Тереза схватила стаканъ и жадно выпила.

Волосы ея развились. Висѣли прядями. Щеки пылали. Засмѣялась его изумленію...

Ага, не ждалъ... Да... да... бросила мужа... уѣзжаетъ...

Милостиво протянула руку. Докторъ ахалъ и хлопалъ себя по колѣну.

— Я ѣду въ Варшаву... Фьютъ!.. Только меня и видѣли...

— Къ Антосю?—лукаво улыбнулся Шатковскій.

— Да, конечно... Выпьемъ на брудершафтъ...

— Охотно.

Покосилась брезгливо на его нечистыя руки.

Говорилъ ей, отдуваясь:

— Тебѣ бы слѣдовало слушаться меня, малютка, ты могла лучше пристроиться.

— Hein!..

— Безусловно лучше. Чертовски ты хорошенькая.

— Въ первый разъ замѣтилъ, котикъ.

Полѣзла на диванъ. Сбросила мантильку. Разлеглась и положила руки подъ голову.

Говорила лѣниво:

— Прошлаго не воротишь... О чемъ тужить... Мнѣ бы только добраться до Варшавы. Извольте дать адресъ, г. баронъ.

Докторъ задумчиво чесалъ голову. Потомъ сказалъ, глядя себѣ на ноги:

— Съ Антосемъ у тебя дѣло не выгоритъ.

Созналась наивно:

— Я думаю то же самое.

— Ну, вотъ видишь... онъ любитъ чужихъ женъ только тогда, когда тѣ живутъ у своихъ мужей... Намекали уже мнѣ, будто его отношенія съ Вандой Джолнковской отнюдь не платоническія... И потомъ, едва ли онъ вернулся въ Варшаву...

— Э, пошелъ каркать...

— Нужно все предвидѣть... Очутишься въ скверномъ положеніи—не обрадуешься.

— Наплевать! А другіе мужчины.

— Развѣ есть на примѣтѣ?

— Ну, какъ же не быть. Первый Вальчевскій... мигнуть ему только...

— Твое дѣло. Такъ ты это серьезно задумала?

— Что?

— Авантюры.

— Конечно.

Онъ насупился и пилъ пиво нѣкоторое время молча. Моргалъ глазами. Потомъ пробормоталъ, недоумѣвая:

— Да вѣдь болтали, что ты влюблена въ ксендза...

Судорога, боли... тамъ... глубоко... усмѣхнулась. Зѣвнула.

— Былъ грѣхъ... Ну, и что же?

Докторъ засмѣялся. Подсѣлъ къ ней. Щекоталъ шею. Шопотомъ умолялъ ее... Маленькая женщина съ большими глазами!

Поняла. Чуть-чуть поблѣднѣла. Ну, ну, безъ нѣжностей... Что онъ о себѣ воображаетъ...

Онъ недовольно прищурился.

— Для другихъ бережешь?

— Можетъ быть.

— Нѣтъ, послушай, малютка...

Неожиданно Тереза встала.

— Пора мнѣ... Пойду.

Записала адресъ Пшерминскаго. Устало и разсѣянно простилась.

Женева. Лѣто. 1909.

НА ВОЛЮ.

Старшая дочь управляющаго, Люба, стояла на крыльцѣ и, щурясь отъ солнца, съ легкой улыбкой смотрѣла то на молодого хозяина, то на приказчика. Оба они, потные, усталые, раздраженные, вернулись съ поля и спорили, не отходя отъ дрожекъ. Вокругъ молча толпились рабочіе. Выбѣжала изъ людской кухарка вся въ мукѣ, простоволосая и подоткнутая. Открыли окно сестры Любы. Цѣлый день шелъ ливень, теперь же небо было ясно и заходящее солнце сверкало въ каждой капелькѣ, лужѣ и битомъ стеклѣ. Зелень, желѣзныя крыши, ступеньки, даже утки казались вымытыми, блестящими, новыми, а самъ дворъ превратился въ черное жидкое мѣсиво.

— Ну, полно вамъ гнѣваться, Павелъ Николаевичъ,—низкимъ груднымъ голосомъ сказала Люба,—вы бы лучше отдохнули; на васъ лица нѣтъ.

Въ ея гордыхъ, насмѣшливыхъ глазахъ затеплилась нѣжность, почти мольба.

Павелъ Николаевичъ отвѣтилъ съ досадой, подходя ближе:

— Будь оно проклято, это хозяйство!.. Всякій здѣсь распоряжается по-своему... меня они всѣ въ грошъ не ставятъ...

Потомъ улыбнулся, скользнувъ взглядомъ по плечамъ, груди и бедрамъ Любы.

— Усталъ я... Ну, слава Богу, Любовь Даниловна, завтра артель двинется... Комнатка у меня тамъ прямо на заглядѣніе... Жаль только лѣса... Шумитъ себѣ... Не вѣдаетъ, не знаетъ... Эхъ, какъ бы моя воля, не согласился бы я на порубку.

Люба щурила голубые грустные глаза и перебирала кончики платочка, накинутаго на плечи.

— Не передумали?—тихо спросила она.

— Нѣтъ, что вы... я свои рѣшенія не мѣняю... черезъ часъ выгляньте въ садъ... потолкуемъ.

— Хорошо... Только слѣдятъ за нами, — вздохнула Люба,—если сегодня не удастся...

— Ну, пустое... Отчего тамъ не удастся...

Загорѣлый, сильный и красивый, главнымъ образомъ, своимъ здоровьемъ, Павелъ Николаевичъ тряхнулъ головой и ушелъ.

Приказчикъ замѣтилъ недружелюбно:

— Мудритъ барчукъ... Хоть совсѣмъ работу бросай черезъ него... Ему не угодишь...

— Барышня, мнѣ сахару нужно... весь вышелъ...

— Въ домѣ спросите... у тетки... Я не знаю,—сухо бросила Люба.

— Такъ вы бы имъ сами и доложили.

— Мнѣ некогда.

Отправилась хозяйничать, высоко поднимая ситцевое яркое платье, а другой рукой поправляя густыя бѣлокурыя косы на затылкѣ.

Теперь приказчикъ и дворня многозначительно перемигнулись.

— Рехнулась дѣвка, — сплюнулъ приказчикъ,—бить некому...

— Еще съ весны путается,—кривилъ ротъ конюхъ,—какъ пріѣхалъ ёнъ къ Пасхѣ, значитъ, въ прошломъ году, такъ промежъ нихъ-то и пошло... Думали, ста-

рый вступится... поучитъ... анъ нѣтъ... Обошли, значитъ, отца...

— Ёнъ куда, и она съ нимъ... Цѣлую ночку надъ рѣкою стоятъ,—разсказывалъ другой,—наши ребята наткнулись разъ... Испужались крѣпко... Баили, она все плачетъ, руки ломаетъ, а онъ пѣсни поетъ... Смѣху-то потомъ что было... Страсть!..

— Срамота,—фыркнула кухарка,—а еще барышней называется!.. Въ городѣ была, училась... Бабы болтали, что съ отличіемъ... похвальные листы привезла... Тетка показывала... лежатъ въ портафелѣ...

Разошлись съ бранью и еще долго смѣялись по угламъ.

Артель должна была отправиться на порубку лѣса еще въ пятницу, но почему-то замѣшкалась и отложили до понедѣльника. Въ усадьбѣ теперь царило полнѣйшее безначаліе. Старый помѣщикъ уѣхалъ съ семьею въ Крымъ, а молодого, Павла Николаевича, въ прошломъ году кончившаго университетъ, не слушали. Онъ вставалъ съ пѣтухами, ѣздилъ въ поле, лѣсъ, отдавалъ нужныя, дѣльныя приказанія, однако ни управляющій, ни даже приказчикъ ему не довѣряли. Между рабочими преобладающимъ элементомъ являлись ярославцы, съ ихъ пѣвучьей рѣчью, наглыми глазами и веселыми прибаутками. Они разгуливали по двору, ярѣя красными кумачовыми рубахами, бѣлокурые, кудрявые, въ лаптяхъ, и то тамъ, то сямъ раскладывали маленькіе костры. Варили кашу—«почемъ здря», какъ выражалась, негодуя, кухарка, такъ какъ, дѣйствительно, ихъ кормили хорошо. Приказчикъ визгливо кричалъ, ругался, что они сожгутъ ему усадьбу, но подѣлать ничего не могъ.

— Ишь расходился... что твой баринъ, — усмѣхались рабочіе и не трогались съ мѣста.

Суетились, бранились, ссорились. Шатались безцѣльно изъ угла въ уголъ. Спало большинство, несмотря на протесты женской прислуги, въ «чистой» кухнѣ. Цѣлыми часами заливалась гармонія. Около амбара, гдѣ выдавалась провизія, не переставая стоялъ кто-нибудь. Вечеромъ артель пѣла пѣсни, и отъ ихъ разгульныхъ, безшабашныхъ мотивовъ у дѣвушекъ горѣли глаза, и онѣ сами напрашивались на грубыя шутки. Выходили и дочери управляющаго, всѣ рослыя, красивыя, полныя, и садились, щелкая сѣмячки, на крылечкѣ. Тогда среди дворни поднималось шушуканье, и снова болтали грязныя, циничныя вещи о Любѣ и молодомъ хозяинѣ. Сама же она никогда не вступала въ разговоры, кромѣ Мирона Ивановича, стараго заслуженнаго эконома, который крестилъ ее.

Обыкновенно Миронъ Ивановичъ смотрѣлъ на нее плутовато, крутилъ головой и говорилъ спокойно, но съ твердымъ убѣжденіемъ:

— Не жена ты барчуку, потому што... оно то самое... конечно... Ну, а дѣвка хорошая... Огонь-дѣвка!

Люба смѣялась, показывая ослѣпительные зубы и закидывая руки за бѣлокурую голову. Тогда чувствовался въ ней такой избытокъ жизненной силы, такая смѣлость, воля, гордость, что тоска голубыхъ глазъ казалась обманомъ.

— А вотъ возьму и уйду къ нему, — отвѣчала она, — возьму и уйду... Павелъ лѣтомъ жить будетъ въ лѣсѣ... присматривать за порубкой... Вотъ къ нему и пойду... Что тогда скажешь?

Миронъ Ивановичъ настораживался. Смотрѣлъ остро изъ-подъ сѣдыхъ торчащихъ бровей.

— Ой, накличешь на себя бѣду, дѣвка... Отецъ твой, чай, шутить не станетъ.

— Пошутитъ, коли нужно будетъ... Не безпокойся,— насмѣшливо щурилась Люба.

Старикъ хмурился. Топтался на мѣстѣ. Бормоталъ, хватая что-нибудь, хоть сухой прутъ.

— Охота была вязаться съ барчукомъ. Парень шальной... совсѣмъ дитё... твоихъ лѣтъ... вѣтеръ у него въ головѣ... Броситъ тебя, ни дать ни взять, черезъ недѣльку... Попрыгаешь тогда... Мало народу вокругъ тебя, что ли?..

Вмѣсто отвѣта, она напѣвала:

Много въ небѣ звѣздочекъ... теменъ небосклонъ.
Много добрыхъ молодцевъ, да не то, что онъ.

— Говори тамъ... Все спервоначалу такъ кажется... Пропадешь ни за понюшку табаку.

— Все лучше, дядя Миронъ, чѣмъ остаться въ этомъ болотѣ... Ни солнца, ни радости... Сосватаютъ за лавочника, и молодости конецъ.

Экономъ начиналъ сердиться.

— Да ты въ сурьезъ это, дѣвка, или просто лясы точишь?

— А ты думаешь—шучу?—зло хохотала Люба.—Какъ бы не такъ... Не зачѣмъ было тогда и огородъ городить... Говорю тебѣ: уйду я къ Павлу въ лѣсъ... Навсегда уйду.

— Тэкъ-съ,—недружелюбно щурился Миронъ Ивановичъ и дергалъ бородку,—тэкъ-съ... Это какъ же дозволите понимать? Прямо въ полюбовницы, что ли?

— А хотя бы и такъ... Кому какое дѣло?

Задорно вскидывала головку, заливалась густымъ, мучительнымъ румянцемъ, но не опускала глазъ.

— Гм!.. Прытки вы больно, Любовь Даниловна...

Миронъ Ивановичъ смолкалъ на минуту. Потомъ спрашивалъ съ живѣйшимъ любопытствомъ:

— Да, вѣдь, кажись, барчукъ въ городъ осенью уѣдетъ?..

Люба затуманивалась.

— Ѣдетъ... пусть ѣдетъ, дядя Миронъ... Ему не въ деревнѣ жить... Тянетъ и меня отсюда... Такъ бы и полетѣла... Давно въ городѣ была... Перезабыла, какъ и говорить-то по-человѣчески... Душно мнѣ... Тоска замучила... У отца здѣсь словно въ клѣткѣ... Люди кругомъ все торговые, жесткіе, злые... Брань, воровство... Книжечку возьму, такъ кругомъ крикъ поднимутъ... Негдѣ приткнуться... Угла своего нѣтъ... Все въ общую кашу... Сестры замужъ хотятъ... изъ-за платьевъ ссорятся... Живемъ недружно... Тетка болѣетъ, на работу плачется... Грязь, духота, мракъ... О, Господи!.. И зачѣмъ меня только учили!.. Не могу покойницѣ-матери простить... Не могу... А съ отцомъ— не сговоришься... Онъ только объ деньгахъ и думаетъ... Эхъ, на волю бы!..

— Н-да,—соглашался Миронъ Ивановичъ,—крутенекъ Данилъ Митріевичъ, крутенекъ... всѣхъ вокругъ себя согнуть хочетъ... Въ него ты, видно, уродилась... своевольная... ни Бога, ни людей не боишься...

Потомъ, испугавшись своей откровенности, онъ сердился.

— Не твое дѣло родителевъ судить... Непутёвая!.. Вишь какія мысли въ голову лѣзутъ... Не то, чтобы смириться, покаяться... Ты бы за хозяйствомъ лучше приглядѣла... На волю!.. Чего захотѣла... Какая тамъ воля?.. Иголка да вѣникъ въ руки... Небось, пироговъ толковыхъ спечь не сумѣешь, а о волѣ толкуешь... Нехорошо, Даниловна... вѣрное слово, нехорошо.

Люба смѣялась, а онъ уходилъ, бормоча:

— Блажишь, дѣвка, вотъ, что я тебѣ скажу.

Сегодня, однако Миронъ Ивановичъ догналъ Любу около амбара туча-тучей.

— Даниловна, отецъ за тобою слѣдитъ... Берегись... Не пожалѣю, говоритъ, свою плоть и кровь... убью.

Она нетерпѣливо повела плечами.

— Оставь меня, дядя Миронъ... все равно теперь поздно... Не послушаю.

Экономъ раскричался:

— Ты думаешь, я ничего не вижу? Куда ты собираешься этой ночью? Я все скажу... выдамъ... Потеряла себя дѣвка...

Люба поблѣднѣла до губъ, потомъ выпрямилась и глухо крикнула:

— Не тронь меня сегодня, дядя Миронъ... Худо будетъ... А потеряла я себя или нѣтъ—мое дѣло.

Миронъ Ивановичъ отшатнулся. Измѣнился въ лицѣ. Пробормоталъ преувеличенно рѣзко:

— Экая, прости Господи, оголтѣлая!.. Да будь ты проклята, дѣлай, что хочешь, если тебѣ семьи не жалко!.. Хоть голой ходи... Ни стыда, ни совѣсти... Тоже... выросла...

Солнце сѣло, и во дворѣ сразу всѣ предметы потускнѣли, словно постарѣли. Пахло влагою. На землѣ оставались глубокіе, четкіе слѣды ногъ.

Люба невѣрнымъ голосомъ отдала приказанія, потомъ сѣла на скамью подъ черемухой. Ей было душно, тѣсно, жарко отъ нахлынувшихъ мыслей, дрожали колѣни и кружилась голова. Въ сердцѣ снова проснулся горячій, страстный протестъ, бѣшеный крикъ противъ насилія, гнета, семейной клѣтки, безумная жажда личнаго счастья.

«Умру, а не уступлю... Противъ всѣхъ пойду... Себя не пожалѣю», чуть не вслухъ сказала Люба.

Жизнь у нея была, дѣйствительно, тяжелая, мрачная, искалѣченная чужой прихотью. Шло за ней всегда по пятамъ злое, темное, грязное подозрѣніе и дикое преслѣдованіе цѣлой усадьбы. Она уѣхала въ городъ, чуждая ихъ средѣ, какъ-то инстинктивно, а вернулась еще болѣе одинокой, замкнутой, гордой, отошла отъ семьи и рвалась изъ нея.

«Уйду... Завтра уйду», и Люба, оглядываясь по сторонамъ, не испытывала сожалѣнія. Потомъ вспомнила Павла и въ сумеркахъ мысленно ласково улыбнулась ему. Было также немного смѣшно думать, что чужіе неразгаданные глаза, губы и голосъ имѣютъ такую странную, могучую власть надъ ея чувствами, желаніями, душою, что образъ, вызванный разгоряченнымъ выраженіемъ, обезволиваетъ, чаруетъ, покоряетъ даже на разстояніи.

«Милый мой!»

Люба заломила руки тоскливымъ, безсознательно-страстнымъ движеніемъ и встала. Не хотѣлось возвращаться въ тѣсныя, жалкія комнаты, заставленныя кроватями, сундуками, божницами, гдѣ всегда пахло ѣдой и нафталиномъ. Не хотѣлось видѣть тупыя, равнодушно сытыя лица сестеръ и угрюмое тетки.

«Пойду въ контору... все равно... Можетъ быть Павла встрѣчу».

Пошла быстрымъ, легкимъ шагомъ черезъ садъ, кидая нѣжную, загадочную улыбку бѣгущему впереди пространству. Мысли роились, капризныя, смѣющіяся.

«Жить я хочу... Пламенемъ горѣть...»

И почти бѣжала, торопясь излить все, что трепетало и зрѣло въ груди. Опять загадочно улыбнулась небу,

саду, самой себѣ... Встрѣтила Павла на дорогѣ. Среди кустовъ сирени, жасмина, на тропинкѣ, ведущей къ пасѣкѣ, они обнялись крѣпко, порывисто. У ней брызнули слезы отъ счастія, и вся она, дерзкая, озлобленная, измученная, стала мягкой, робкой, ласковой.

— Глупая,—протянулъ онъ,—ай, какая глупая. Плачешь? Это что же?.. Такъ мнѣ радуешься?

Довѣрчиво прильнула къ нему, говоря быстрымъ полушопотомъ:

— Прости меня... Я все думаю, Павелъ... ты такой сильный, смѣлый... совсѣмъ бы тебѣ уйти отсюда... Трясина здѣсь... омутъ... а жизнь широкая, широкая... Хоть и меня брось, только уйди... сгинешь... засосетъ...

Онъ смѣялся, туго стягивая платочекъ на груди и жарко цѣлуя въ губы.

— Чудачка... Объ этомъ еще поговоримъ... успѣемъ... Такъ идешь ко мнѣ?

— Иду.

Люба вернулась поздно. Тетка всплеснула руками.

— Откуда ты?.. Отецъ тебя спрашивалъ...

Вѣра, доѣдавшая простоквашу, бросила ложку, закрылась ладонью отъ свѣчи и насмѣшливо оглядѣла сестру.

— Ну, и безстыжая же ты, какъ я на тебя посмотрю,—протянула она,—а еще старшая... Дрянь ты и больше ничего.

— Изъ-за тебя теперь житья въ усадьбѣ нѣтъ,—злилась Дуня, и лицо ея пылало,—каждый глаза заплюетъ. Паскуда!

Тетка причитывала:

— Оговорили дѣвку... одурманили... стыда лишилась... себя не помнитъ...

Люба присѣла къ окну и уронила голову на руки. Она молчала, изрѣдка вздрагивала, и тогда можно

было подумать, что она плачетъ. Во дворѣ пѣла Анюта:

Выйди, да выйди въ рожь высокую,
Я до ночи погожу...
А завижу черноокую...
Всѣ товары разложу...

Люба потянулась, встала.

— Ужинать будешь?—спросила тетка.

— Н-нѣтъ... Не хочется.

— Такъ ты бы къ отцу сходила... Требовалъ.

Люба нахмурила густыя темныя брови, нѣсколько минутъ колебалась, потомъ рѣшительно качнула головой.

— Не пойду... Хочетъ, такъ и самъ явится... Мнѣ съ нимъ не о чемъ разговаривать.

Тетка ахнула.

— Рехнулась дѣвка; ей-Богу же рехнулась... Да, ты знаешь, что отецъ тебѣ сдѣлаетъ за такія рѣчи?

— И не знаю, и знать не хочу!.. Оставьте меня въ покоѣ.

Старуха собрала посуду.

— Спать гдѣ будешь? Въ спальнѣ или на балконѣ?

Люба отвернулась къ окну.

— На балконѣ.

— Да вѣдь дождь шелъ,—сыро.

— Тѣмъ лучше... Въ комнатѣ душно.

— Ой, допрыгаешься, Люба... Пожалѣешь, да поздно...

Тетка хлопнула дверью. Зазвенѣлъ конецъ пѣсни:

Распрямись ты рожь высокая,
Тайну свято сохрани...
Знаетъ только ночь глубокая,
Какъ поладили они".

Ходили тѣни отъ свѣчки по стѣнѣ. Загроможденная комната, зѣвавшая Дуня и ворчавшая Вѣра показались ей до ужаса чужими, ненужными, непріятными. Она прогнала сестеръ и высунулась въ окно. Здѣсь, еще слѣпыми послѣ свѣта глазами, оглядѣлась и крикнула мягко:

— Маша... а, Маша!.. Поди-ка сюда!

— А ну-ка помоги мнѣ постлаться.

Голоса оборвались. Застучали доски. Прибѣжала младшая сестра, повиснула на шеѣ и заплакала.

— Ну, что ты, махонькая... что ты... Богъ съ тобою, — нетвердо выговаривала Люба и погладила шершавую, коротко-остриженную головку.

Онѣ вмѣстѣ тащили тюфякъ, подушки, одѣяло, сбивали сѣно.

— Папа шибко бранились, — шептала успокоенная, но все еще дрожавшая Маша, и слышно было, какъ по доскамъ шлепали ея босыя ножки, — говорилъ, если ты еще къ нему пойдешь, такъ онъ убьетъ тебя... Такъ и сказалъ «убью!», даже перекрестился... Тетка какъ закричитъ... и плакать начала... а сестры смѣялись... Вѣрка дразнится...

— Ахъ ты, моя махонькая... По-настоящему въ твои годы не такія вещи нужно слушать... Да только не я одна виновата...

— Сыро, Любочка... холодно... и темно сегодня... ни одной звѣзды... Ой!.. Я бы боялась...

— Чего, дѣтка?

— Да такъ...

Сѣли на ступеньки. Небо темное. Изъ сада влагой тянетъ. Шуршатъ верхушки деревьевъ. Бродитъ вѣтеръ. Около гумна застучалъ сторожъ. Собаки залаяли.

Маша крѣпко прижалась къ сестрѣ.

Вдругъ чуть слышно спросила:

— Люба, ты его больше любишь, чѣмъ меня?

— То другая любовь, воробушекъ... совсѣмъ другая.

— Ну, а все-таки... Ты подумай.

Старшая сестра въ темнотѣ улыбнулась.

— Больше всего на свѣтѣ люблю... Это правда.

Голосъ задрожалъ слезами.

— Ахъ, моя махонькая, если бы ты была взрослая... Поговорить мнѣ не съ кѣмъ. А сердце такъ и ноетъ... Если бы все разсказать тебѣ... было бы мнѣ легче...

— А почему нельзя? Вѣдь я все понимаю.

— Ты—умница, только еще маленькая... Чего дрожишь? Холодно? А то шла бы себѣ спать... Право же, воробушекъ.

— Еще минуточку.

Но Люба тревожилась:

— Ступай, махонькая... Спи спокойно... Вѣдь и вправду-то свѣжо очень.

Обняла крѣпко, долго крестила. Стиснула зубы, чтобы не заплакать.

Теперь въ душѣ не было ни страха, ни сомнѣній, а лишь твердая увѣренность, что идетъ она на новую жизнь, и всякое горе ради него, любимаго, встрѣтить радостно. И тогда смѣлая, гордая въ порывѣ восторга отъ близкой свободы, протянула руки къ нѣмому саду.

«Иду, милый, иду!»

ЖЕНА.

Кузьмичевъ бросилъ папиросу, откинулся въ креслѣ и черезъ минуту сказалъ:

— Я не вѣрю, collega, чтобы долгъ былъ чувствомъ врожденнымъ. Онъ слишкомъ узко-субъективенъ. Представленіе о долгѣ, семьѣ вырабатывается временемъ, средою и воспитаніемъ. Онъ въ концѣ концовъ не что иное, какъ привычка.

Смольскій возразилъ угрюмо:

— Можетъ быть, однако мученія нарушеннаго долга ужасны.

— Вздоръ! Фразы! Мѣщанская мораль!

Они молчали. Кузьмичевъ начиналъ терять терпѣніе. Онъ только что вернулся изъ суда и теперь собирался ѣхать на именины къ женщинѣ, за которой ухаживалъ эту зиму. Сознаніе, что онъ красивъ, любимъ, обезпеченъ, а главное—талантливый, извѣстный въ городѣ адвокатъ имѣло для него сегодня особенное значеніе и заставляло относиться къ другимъ нѣсколько покровительственно.

Жалобы Смольскаго казались ему нелѣпыми, маленькими настолько, что о нихъ по-настоящему и говорить не стоило, однако онъ улыбался и принималъ внимательную позу.

— Ну съ, и что же, Викторъ Ивановичъ?

Смольскій мямлилъ, безвкусно повторяя одно и то же.

— Лиза пріѣхала и не хочетъ уѣзжать. Я, говоритъ, устала, требую иной жизни. Усядусь и ни съ мѣста. На меня работай.

— Гм!.. Ловко! Это похоже на вымогательство,—разсердился Кузьмичевъ,—я бы живо указалъ ей дорогу.

— А если дѣваться некуда?

— Деньги въ зубы и маршъ ко всѣмъ чертямъ. Въ крайности, можно обѣщать ежемѣсячное пособіе.

— Да, какъ же... предложишь ей... держи карманъ шире,—бормоталъ Смольскій.

— Но вѣдь жила она одна раньше?

— Жила, да теперь не хочетъ. Забастовала.

— Вы давно разошлись?—зѣвнулъ Николай Павловичъ.

— Лѣтъ пять. Вѣдь это не женщина,—чортъ въ юбкѣ. Головокружительныя фантазіи... смѣна настроеній... никакихъ принциповъ... mania grandiosa....

— Она у васъ что? Актриса, кажется?..

— Маленько. Теперь на вторыхъ роляхъ. А сначала повезло. Успѣхъ имѣла внушительный. Потомъ заболѣла... припадки разные... какъ разъ въ первый годъ вашего знакомства... выздоровѣла, но — фьють! — прошлаго не воротишь... измѣнилась она.

— Тэкъ-съ... Я ее, признаться, плохо помню.

Кузьмичевъ улыбнулся и закрылъ глаза.

Онъ намѣренно лгалъ, такъ какъ въ дѣйствительности очень хорошо помнилъ гордую блондинку съ яркими, отчетливыми губами, сложную, интересную и проникнутую какой-то особенной ненавистью ко всѣмъ и къ нему въ частности.

Они встрѣчались разъ десять, пятнадцать и расходились послѣ крупныхъ недоразумѣній. Онъ не любилъ такихъ женщинъ, а Смольскій даже избѣгалъ, и те-

перь думалъ, что Викторъ Ивановичъ, пожалуй, серьезно несчастенъ и ему нужно помочь.

Николай Павловичъ чистилъ ногти, благодушно замѣчая:

— Словомъ, Викторъ Ивановичъ, отказать женѣ отъ дома вы не рѣшаетесь... боитесь долга, какъ вы давеча сказали... жить вмѣстѣ не желаете... Что же я могу посовѣтовать, collega? Non possumus!

— Разговоръ конченъ,—буркнулъ Смольскій и потянулся за портфелемъ,—во всякомъ случаѣ, наша дружба обязывала меня посвятить васъ въ курсъ дѣла.

— Очень благодаренъ, очень благодаренъ,—сухо отозвался Кузьмичевъ, поднимаясь съ мѣста,—и если бы я только могъ помочь вамъ...

— Можете,—неожиданно перебилъ Смольскій,— можете...

— Но чѣмъ же это? Какъ? — изумился Николай Павловичъ.

— А вотъ придите ко мнѣ, да поговорите съ Лизой... объясните ей, что оставаться со мною—безуміе. Мы—чужіе, озлобленные другъ противъ друга... ссорились всегда, какъ только оставались вмѣстѣ. Дѣтей нѣтъ... общихъ интересовъ нѣтъ... заработокъ у меня скудный... Чепуха одна. Пусть уѣзжаетъ... Если уже на то пошло—я скорѣе высылать соглашусь. Вамъ, какъ человѣку постороннему, она скорѣе повѣритъ. Она васъ хоть и того, недолюбливаетъ, но уважаетъ. Едва порогъ переступила, о васъ спросила.

— Гм!.. Вы думаете, это будетъ ловко?—нѣсколько растерялся Кузьмичевъ.

— А, чортъ знаетъ, ничего я не думаю... одурѣлъ!—болѣзненно поморщился Смольскій.

Теперь Кузьмичевъ улыбался, странно волнуемый мыслью, что можетъ притти къ мало знакомой, враждеб-

по-настроенной противъ него женщинѣ и говорить ей грубости, читать нотаціи, почти выселять ее изъ дому.

Онъ пристально посмотрѣлъ на Смольскаго, теребившаго pince-nez, и подумалъ, что отказаться отъ подобнаго интереснаго, щекотливаго и нѣсколько необычайнаго предложенія было бы глупо. Само собою выплыло изъ смутныхъ, давно позабытыхъ воспоминаній, блѣдное, красивое лицо Смольской, ея нѣжные, волнующіе духи, чуть-чуть картавый говоръ и та жгучая, странная ненависть, которой дышали всѣ ея слова, жесты, взгляды, обращенные къ нему, Кузьмичеву.

И, внезапно рѣшившись, заинтересованный, веселый и слегка смущенный, Николай Павловичъ отвѣтилъ:

— Хорошо, дорогой collega... я буду радъ вамъ служить. Я поѣду къ вамъ послѣ шести часовъ и переговорю съ Елизаветой...

— Елизаветой Андреевной.

— Отлично. Елизаветой Андреевной. Теперь же отправимся. Я, кажется, опоздалъ...

Смольскій не благодарилъ пріятеля, но улыбался, кивалъ головой и спряталъ pince-nez, что у него всегда служило признакомъ удовольствія.

Въ передней они шутили съ горничной, а потомъ Кузьмичевъ долго охорашивался и разсматривалъ въ зеркало свою дорогую, изящную шубу.

На улицѣ, увѣренно шагая и лаская взглядомъ проходящихъ женщинъ, Николай Павловичъ говорилъ мягко:

— Дорогой Викторъ Ивановичъ, такъ продолжать нельзя. Я бы на вашемъ мѣстѣ давно повѣсился. Вы отказались отъ самаго главнаго, что скрашиваетъ жизнь, т.-е. отъ смѣлости. Да... вы запуганы насмерть всѣмъ окружающимъ... Васъ пугаютъ и дома, и лошади, и дворники, и полицейскій околышъ и наши газеты. Вы

живете не по своей программѣ, а по совѣтамъ другихъ. Къ вамъ, напримѣръ, пріѣхала сумасбродная женщина... Pardon... мы поговоримъ по-семейному... И вы потерялись. Вы готовы забрать свои пожитки и убѣгать, спасаться куда-нибудь въ чужой дворъ... Да... вы не обижайтесь, голубчикъ... это безуміе... Мнѣ васъ отъ души жалко, хотя, по принципу, я никого не жалѣю.

— Вы правы... я боялся темныхъ комнатъ уже будучи студентомъ,—съ какимъ-то наивнымъ самодовольствомъ отозвался Смольскій,—что дѣлать... натура... безвольный, слабый человѣкъ... всякая репрессія для меня отвратительна.

Онъ продолжалъ улыбаться, поднялъ воротъ и шелъ смѣшновато подпрыгивая. Одѣтый въ тяжелое старое пальто, Викторъ Ивановичъ казался меньше ростомъ и бросались въ глаза его маленькія ноги.

— Я теряюсь передъ Лизой,—сознался онъ, когда Кузьмичевъ остановился, чтобы проститься съ нимъ.— Въ ней есть нѣчто безпомощное и вмѣстѣ озлобленное, затравленное... отъ чего мнѣ дѣлается жутко... Ну, совсѣмъ, какъ въ темной комнатѣ идешь и не знаешь,— треснешься лбомъ или плечомъ, или затылкомъ. Тяжелая женщина... Охъ, спасите!..

— Спасемъ, не сумлѣвайтесь,—пошутилъ Кузьмичевъ, и въ его самоувѣренныхъ, живыхъ, жесткихъ глазахъ мелькнула плохо скрытая мысль: «А и глупъ же ты, паренекъ!»

Мимо быстро проѣхалъ лихачъ, обдалъ ихъ грязью и разъединилъ.

— Такъ до вечера!—крикнулъ Смольскій.

— Къ семи,—сказалъ Кузьмичевъ и дотронулся до своей шапки.

Викторъ Ивановичъ не пошелъ домой, а завернулъ въ «молочную ферму» и, покуда некрасивая, не-

опрятная продавщица съ утомленнымъ лицомъ приготовляла ему что-то на столикѣ, онъ все время думалъ, какъ ловко и быстро устроилъ дѣло.

Потомъ на минуту передъ нимъ мелькнуло блѣдное женское лицо съ ненавидящими глазами, темная, пыльная гостиная и ярко-розовый abat-jour лампы. Вспомнилось, какъ вчера его жена, изящная, чужая, незнакомая, стояла около нея и, залитая теплымъ свѣтомъ, говорила брезгливо:

— Вы глупы, сударь, глупы. Я васъ презираю, но останусь здѣсь, потому что хочу. Слышите? Х-о-ч-у... И вы будете работать на меня, бояться уйти, но вечеромъ ныть и скучать, а я смотрѣть на васъ, хохотать и радоваться. Ступайте вонъ! Я васъ презираю. И я здѣсь останусь... да.... да... останусь!

«Вотъ и врешь, не останешься!» мысленно усмѣхнулся Смольскій и злорадно вспомнилъ, что Кузьмичевъ грубъ, если вспылитъ.

Послѣ обѣда онъ еще бродилъ по городу съ двумя знакомыми студентами, а къ шести вернулся домой. Какъ и утромъ, Елизавета Андреевна полулежала на диванѣ и читала какую-то книжку. Руки свои, тонкія, музыкальныя, очень бѣлыя, она запустила въ волосы, производя въ первую минуту впечатлѣніе дѣвушки.

На шаги Смольскаго подняла голову, но позы не измѣнила.

Смольскій процѣдилъ намѣренно просто:

— Скоро придетъ мой пріятель, Николай Павловичъ Кузьмичевъ. Онъ хочетъ объясниться съ вами.

— Со мной? Какой вздоръ!—поблѣднѣла Елизавета Андреевна и натянула платокъ на плечи.—Слишкомъ много чести... А если я его выгоню?

— Вы этого не сдѣлаете.

— Почему?

— Женщина должна быть мягкой,—совсѣмъ глупо замѣтилъ Смольскій и сѣлъ въ уголъ набивать папиросы.

Теперь Елизавета Андреевна смотрѣла въ окно на улицу, гдѣ было пусто, скучно и проходилъ почтальонъ. Ея лицо строгое, холодное, выражавшее какую-то затаенную, упорную мысль, потускнѣло, постарѣло и на мигъ перестало быть красивымъ.

Черезъ минуту сказала безъ малѣйшаго выраженія:

— Если твой Кузьмичевъ придетъ уговаривать меня уѣхать обратно, то изъ этого все равно ничего не выйдетъ. Послушаю я его тары-бары, благо скучно, а потомъ и за дверь выпровожу. Говорила, не уѣду, значитъ и не уѣду!

— Мы это еще увидимъ,—зло, но сдержанно возразилъ Смольскій.

То, что жена говорила ему «ты» и не мѣняла своей интимной, небрежной позы на диванѣ, казалось ему верхомъ наглости и насмѣшки. Его руки дрожали, хотѣлось ударить блѣдное, измученное лицо, и въ то же время онъ трусилъ, нетерпѣливо ждалъ Кузьмичева и презиралъ немного самого себя. Потомъ пробило семь, на парадномъ позвонили, и Викторъ Ивановичъ вмѣстѣ съ прислугой пошелъ отворять.

Пока Николай Павловичъ раздѣвался, Смольскій въ полураскрытую дверь гостиной увидѣлъ, что его жена стоитъ у стола, опершись на него руками, и волосы у нея уже не растрепаны, а поправлены и сколоты узломъ на шеѣ.

Онъ тихонько толкнулъ Кузьмичева, самъ же скользнулъ въ спальню и заперся.

Николай Павловичъ, дѣланно-щурясь, мягко приблизился къ молодой женщинѣ, поклонился и сказалъ:

— Честь имѣю, Кузьмичевъ... Изволили забыть?

— Нѣтъ, не забыла,—тихо отозвалась Смольская.

Кузьмичевъ подмѣтилъ въ ея глазахъ жадно-пытливое выраженіе, почувствовалъ холодъ тонкихъ пальцевъ и сразу посмѣлѣлъ.

Засмѣялся.

— Будемъ ссориться?

— Возможно, — уклончиво, безъ улыбки отвѣтила Елизавета Андреевна.

Сѣли въ полутемной шаблонной гостиной, стало тихо до жути.

Кузьмичевъ ощущалъ странную неловкость передъ этой очень блѣдной, очень слабой и, какъ ему сразу показалось, очень грустной женщиной. Въ чемъ заключалась ея грусть и была ли она,—Николай Павловичъ не могъ сказать опредѣленно, но онъ чуялъ ее инстинктивно, смущался и удивлялся. Онъ нашелъ также, что Смольская подурнѣла и потеряла свой прежній, пикантный, злой видъ. Во всякомъ случаѣ Кузьмичевъ пробовалъ изложить порученіе Виктора Ивановича, пристегивая сюда и личный взглядъ на положеніе вещей. Выходило гладко, просто, ясно и... неубѣдительно. И опять-таки эту неубѣдительность чувствовалъ Николай Павловичъ, а не понималъ умомъ.

Елизавета Андреевна внимательно, неуловимо настроенная, тихо поеживалась и, когда онъ кончилъ, отвѣтила:

— Видите, m-eur Кузьмичевъ, то, что вы—человѣкъ посторонній, совсѣмъ непосвященный въ мои дѣла, явились сюда и какъ бы требуете отчета, меня не удивляетъ. Это, конечно, желаніе Виктора Ивановича. Бѣдняжка недалекъ. Мнѣ же рѣшительно все равно, кто со мною... вы... другой... или кресло.

— Позвольте,—обидѣлся Николай Павловичъ, — кажется, я веду себя корректно.

— Вашъ приходъ есть уже дерзость,—равнодушно отозвалась Смольская и отвела прядь волосъ, лѣзущую въ глаза,—впрочемъ, если вы считаете себя обиженнымъ, уйдите...

— Но... помилуйте, я обѣщалъ Виктору Ивановичу,—пробормоталъ Кузьмичевъ и окончательно смутился.

А она, поправляя то платочекъ на плечахъ, то прическу, говорила прежнимъ безучастнымъ тономъ:

— Я пріѣхала изъ Нижняго. Играла... проваливалась съ трескомъ, какъ и слѣдуетъ... пока не прогнали... Увольте, дескать, матушка... хорошенькаго понемножку... Денежныя дѣла сильно пошатнулись. Да-съ... И здоровье... такъ сказать, психика... словомъ, все такое прочее... Когда это случается со мною, я начинаю философствовать, иначе говоря, мыслить безъ особенныхъ трюковъ, а просто и здраво. Я вспоминаю, что есть гдѣ-то городъ N., большой, шумный, на югѣ, и есть г. Смольскій, присяжный повѣренный съ жалкой практикой. Есть, наконецъ, женщины, которыя ходятъ сами на базаръ и тыкаютъ протухлой говядиной въ лицо кухарки. Вспоминаю, что можно не учить ролей, не браниться съ режиссеромъ, не завидовать премьершѣ и не обѣдать въ ресторанѣ. Все это издали мнѣ кажется заманчивымъ, наивнымъ и почти красивымъ. Я укладываюсь, беру отпускъ и ѣду. Черезъ нѣкоторое время, еще въ дорогѣ, я раздумываю, называю себя ребенкомъ и... возвращаюсь.

А теперь вотъ рѣшилась... пріѣхала и сѣла. Г. присяжный повѣренный Смольскій ужаснулся. Спрашиваетъ: «Зачѣмъ? Къ чему? Караулъ!» А я отвѣчаю, и отвѣчаю правду, то, что думаю: «Мнѣ, м. г., доставляетъ колоссальное удовольствіе причинять людямъ непріятности. Поэтому я и останусь и буду жить у васъ.

И чѣмъ больше вы возмущаетесь, тѣмъ больше я довольна. Вотъ... А теперь прибавилась еще одна пикантная подробность: m-eur Кузьмичевъ явился меня выпроваживать.

Она засмѣялась, и онъ видѣлъ, какъ блѣдное лицо съ отчетливыми губами приняло странное, растерянное выраженіе, словно хотѣло скрыть что-то недосказанное, таившееся за всѣмъ этимъ. И потомъ все, что говорила она о бѣдности, одиночествѣ, тоскѣ, о томъ, какъ ненужно, безцѣльно пробѣжала молодость, какъ надоѣла бродячая жизнь, казалось Николаю Павловичу правдивымъ, вѣрнымъ и главное—страшно тяжелымъ.

Ему хотѣлось встать, встряхнуться, спугнуть тишину, перебить звукъ надломленнаго, усталаго голоса, оживить блѣдное лицо, согрѣть маленькія и, вѣроятно, холодныя руки. Однако, когда Елизавета Андреевна смолкла, онъ пробормоталъ только:

— Да... да... это все ужасно... да... вы правы.

И началъ торопливо прощаться.

Смольская провожала его до передней и стояла здѣсь, покуда Кузьмичевъ одѣвался, бѣлѣя своимъ лицомъ, руками и облачкомъ кружевъ около ворота.

Потомъ, совсѣмъ неожиданно, Кузьмичевъ услыхалъ, какъ она спросила очень глубокимъ, нѣжнымъ, ему незнакомымъ голосомъ:

— А *вы*... вы лично, хотите, чтобы я уѣхала?

И, когда онъ изумился, потерялся отъ внезапно-блеснувшей догадки, Елизавета Андреевна тонко улыбнулась, отводя съ лица все ту же назойливую прядь волосъ.

— Я—человѣкъ благодарный. Вы доставили мнѣ громадное удовольствіе васъ увидѣть, я плачу тѣмъ же... Завтра уѣду и не вернусь...

МЕРТВЫЕ ЛИСТЬЯ.

Сегодня вторично Левковичъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе. Первый разъ это было весною на пикникѣ, года два тому назадъ, а теперь стояла осень и я шла въ старомъ платьѣ изъ рощи.

Я сказала:

— Благодарю васъ, но, если можно, подождите отвѣта до вечера.

Не знаю, чего собственно я ждала отъ вечера. Но я такъ сказала.

Дома у насъ сидѣлъ молодой лѣсничій Янъ Вороховицъ.

Я слышала, какъ онъ чему-то весело смѣялся, стучалъ ружьемъ и говорилъ съ отцомъ въ одинъ голосъ.

Я вышивала, думая: «Не зачѣмъ ему приходить сюда такъ часто и дразнить меня. Уже не поссорился ли онъ съ Элькой? Отецъ надоѣлъ ему и безъ того. А я?.. Ну, какое я могу имѣть значеніе для него, пана Вороховица, лѣсничаго, самаго красиваго и образованнаго человѣка въ округѣ?» И то, что, быть можетъ, онъ догадывается о моихъ чувствахъ, было мнѣ страшнѣе смерти. Я снова подумала: «Уже не поссорился ли онъ съ Элькой?»

Не знаю, почему, но я твердо рѣшила, что Вороховицъ влюбленъ въ Эльку. Правда, здѣсь ничего удивительнаго не было бы. Эля—розовая, стройная, полная дѣвушка съ бѣлокурыми косами. Она всегда одѣвается ярко, носитъ шелковыя юбки и даже разъ пришла къ намъ надушенная.

Эля двигается шумно, быстро и заразительно смѣется,—совсѣмъ весенній вихрь.

Ревновала я ее недолго. Не виновата же она, въ самомъ дѣлѣ, если красива и нравится лѣсничему?

Я чутко прислушивалась къ тому, о чемъ говорилъ Вороховицъ съ отцомъ, и не выходила, убѣждая себя, что я тамъ не нужна. У нихъ было все: закуска, медъ, шахматы, у окна два удобныхъ кресла, а окно раскрыто, и у порога даже коврикъ для вытиранія сапогъ. Онъ долженъ чувствовать себя превосходно, онъ, т.-е. Вороховицъ, конечно. Отцу же со мною всегда хорошо.

Однако потомъ я рѣшила, что долгъ хозяйки быть вѣжливой и вышла къ гостю, сказавъ:

— Добрый вечеръ!

— Добрый вечеръ, панна Роза!

Какіе у него открытые, прекрасные глаза! На него нельзя сердиться.

— Вы изъ графской усадьбы?—спросила я, хотя знала это отлично сама. Гдѣ же ему и быть, какъ не тамъ, гдѣ онъ живетъ и служитъ?

— Да, я изъ графской усадьбы, — отвѣтилъ онъ вѣжливо,—графиня вамъ кланялась и просила прійти къ ней сегодня... и панна Томашевская тамъ.

Ужасно мнѣ не понравилось, что онъ сказалъ «панна Томашевская», а не просто «панна Эля», какъ всегда, словно боялся назвать ее по имени, и такъ небрежно оперся на стулъ.

Я сухо бросила:

— Благодарите графиню, только я нездорова и прійти къ ней не могу.

Потомъ, какъ бы не замѣчая его растеряннаго лица, я повернулась къ отцу.

— Тебѣ ничего не нужно, отецъ?

— Нѣтъ, дѣвочка.

И я опять ушла въ свою комнату.

Щеки мои пылали. Мнѣ было смѣшно и стыдно. Зачѣмъ я разыграла принцессу? Подумаешь, въ самомъ дѣлѣ... дочка управляющаго не хочетъ итти въ графскую усадьбу. А если завтра графиня разсердится и прогонитъ управляющаго, то онъ и его спесивая дочь должны просить милостыню. Да. Вотъ вамъ и дворянское достоинство! И тутъ уже мало смѣшного, а, пожалуй, кое-что трагическое. Отецъ разгорячился и стучалъ ножомъ по тарелкѣ. Онъ сердился, крича о безпорядкахъ въ усадьбѣ такъ, словно она была его собственной. По мнѣнію отца, продать ее являлось первой необходимостью. Графиня разоряется. Она стара, съ причудами, безвольна. Даже крестьяне и тѣ уже не даютъ въ долгъ масла, крупъ, яицъ,—боятся, что имъ не заплатятъ. Съ этимъ нужно считаться.

Лѣсничій возражалъ. Нѣтъ, нѣтъ, не зачѣмъ продавать усадьбу, родовитую, старую, какъ сама графиня. Вотъ только немного денегъ — и все пойдетъ отлично.

Я мысленно пожала плечами. Съ какой стати онъ защищаетъ графиню? Или ему такъ импонируетъ ея титулъ? Или благодарность за то, что она хлопочетъ выдать за него Элю Томашевскую?

Потомъ я устыдилась своихъ мыслей и принялась снова за рукодѣліе.

Отецъ и Вороховицъ спорили теперь объ охотѣ.

Закатъ былъ багряный, красивый. На березы, клены, кусты легъ тотъ же теплый, розоватый тонъ. Летало

множество галокъ и около забора, и надъ садомъ, и надъ полемъ, гдѣ чернѣла грудами неубранная свекла, прикрытая своими же гніющими листьями.

Осенью у меня особенно болитъ сердце.

Мои мысли мѣшались съ воспоминаніями о томъ, что я—бѣдна, некрасива, немолода, съ думами о дровахъ, дырявой крышѣ, сломанной лѣстницѣ. Ахъ, какъ разрушался нашъ флигель, какъ на глазахъ ежедневно разрушался! Графскій управляющій! Подумаешь, дѣйствительно, важность, на самомъ же дѣлѣ... Господи!..

Мы живемъ словно дикари. По мѣсяцамъ никого не видимъ, кромѣ лѣсничаго да графини.

Къ ней я не люблю ходить, хотя отецъ требуетъ. Ужасно не люблю. Низкія, темныя комнаты, пахнетъ нафталиномъ, пылью, кошками, цѣлая свора собачонокъ, дряхлая графиня съ табакеркой и синими очками, грубая, хищная челядь. Какъ это грустно! Даже со стороны.

Отецъ не захотѣлъ оставить усадьбы изъ благодарности.

Графиня когда-то облагодѣтельствовала мою мать, т.-е. дала той средства на консерваторію. Мама пѣла въ Варшавѣ. Тамъ она и умерла, кажется, или за границей. Отецъ достовѣрно не знаетъ. Въ дѣтствѣ нянька говорила, что мама поступила дурно, и ее разсчитали за это, хотя старушка служила еще у бабушки. Потомъ мнѣнія раздѣлились. Графиня одобряла, ксендзъ увѣрялъ, что сцена — грѣхъ, а отецъ находилъ амплуа актрисы неподходящимъ занятіемъ для дворянки. Я же совсѣмъ не знаю, поступила мама хорошо или дурно. Только я понимаю, что свобода лучше нашей усадьбы и тишины. Бѣдная мама! Ея портретъ виситъ у меня надъ кроватью.

Она въ темно-зеленомъ бархатномъ очень узкомъ

платьѣ съ кружевомъ вокругъ обнаженной шеи, бѣлокурая, голубоглазая, какъ королева.

Вороховицъ восхищался ею.

У Эли Томашевской такой же типъ, только грубѣе. Поэтому, вѣроятно, старая графиня обожаетъ Элю. Однако у нея нѣтъ ласковой простоты и хорошихъ манеръ. Эля воспитывалась въ провинціальномъ пансіонѣ. А я нигдѣ не кончила, и материнскаго во мнѣ однѣ только руки.

Вороховицъ говоритъ, что онѣ—музыкальны. Я ужасно горжусь этимъ.

И мои мысли снова перешли на самое себя.

Я все думала, какъ бы измѣнить жизнь и какъ бы избавиться отъ унизительныхъ встрѣчъ съ лѣсничимъ. Почему онъ смотритъ на меня такъ внимательно? Почему онъ всегда радъ причинить мнѣ какую-нибудь непріятность? Что я ему сдѣлала дурного въ концѣ концовъ? Если онъ воображаетъ... я не дала ему повода.

— Роза должна итти къ графинѣ,—доносится умышленно-громкій голосъ отца,—должна... графиня добра къ намъ, какъ ангелъ. Мы ей всѣмъ обязаны.

Ахъ, милый, наивный отецъ!

Мнѣ было жаль волновать его, я вышла къ нему, обняла за шею, поправила галстукъ и поцѣловала въ розовую лысину.

— Я нездорова, отецъ... иди одинъ... вонъ панъ Вороховицъ проводитъ тебя...

Отецъ смягчился, а лѣсничій выразилъ мимикой нетерпѣніе... даже неудовольствіе.

Онъ какъ бы хотѣлъ сказать—«не ваше дѣло, паненка», но сдержался.

Я чувствовала, какъ краснѣю, и боялась смотрѣть въ его сторону.

Уходя, отецъ крикнулъ:

— Роза, плакать не вздумай.

У меня даже духъ захватило. Отецъ всегда такой простакъ. Онъ ничего не догадывается.

Панъ Вороховицъ курилъ и притворился, что не слышитъ. Спасибо ему!

Я долго смотрѣла имъ вслѣдъ.

Отецъ, низкій, круглый, въ желтой парѣ съ краснымъ кашнэ и Вороховицъ, высокій, стройный, въ охотничьей курткѣ съ ружьемъ. Я вспомнила бѣлокурую Эльку.

Да, они вполнѣ пара.

Мнѣ стало холодно.

Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ быть некрасивой. Когда панъ Вороховицъ глядитъ на меня, я сама чувствую всю непривлекательность своего блѣднаго, усталаго лица, худыхъ плечъ и изсиня-черныхъ волосъ. (А онъ любитъ блондинокъ, я увѣрена). И мнѣ стыдно, стыдно до слезъ. За все стыдно. И за старое платье. Да, очень тяжело знать, что противна физически.

Уфъ!.. Эля никогда не испытаетъ этого.

За окномъ попрежнему сыпались листья, и меня сразу охватила такая гнетущая тоска, что я заплакала, набросила платочекъ и пошла въ рощу. Я знаю, у меня есть выходъ... дать сегодня слово Левковичу. Тогда я не буду больше испытывать нужду и горѣть отъ стыда передъ лѣсничимъ. Нѣтъ, пусть онъ не воображаетъ о себѣ слишкомъ...

Левковичъ—образованный, состоятельный человѣкъ. Про него говорятъ только хорошее. Его первая жена умерла рано, и онъ боготворитъ маленькую дочь. И онъ самъ, и дѣвочка были мнѣ давно симпатичны, только я забрала себѣ въ голову Вороховица и никакъ не могла выкинуть его оттуда.

А теперь я урезонивала себя. Нужно же наконецъ

открыть глаза. Тридцать лѣтъ... некрасива, худа, блѣдна, безприданница... Кому ты интересна, матушка?

Въ рощѣ березы стояли совсѣмъ золотыя, ну, а клены уже осыпались... кругомъ столько листьевъ. Ихъ запахъ, крѣпкій, осенній, всегда наполняетъ сердце невыразимой грустью. Мертвые листья... Ахъ, какая печальная и вмѣстѣ красивая эмблема нашей жизни! И здѣсь также летало много галокъ. Онѣ оживленно болтали между собою и качались на вѣтвяхъ такихъ тоненькихъ, что, казалось, вотъ-вотъ тѣ подломятся.

И было очень тихо, словно роща затосковала, замкнулась въ себѣ и даже не жаловалась.

Я нѣсколько разъ оглядывалась въ сторону барской усадьбы. Тамъ теперь отецъ раскладываетъ patience съ графиней, а Вороховицъ проситъ Элю сыграть на роялѣ. Та дразнитъ его, отнѣкивается, кокетничаетъ, и глаза ея сверкаютъ. Да, я знаю, это такъ, это такъ... И чѣмъ ярче я представляю ихъ вмѣстѣ, тѣмъ больнѣе сжималось мое сердце и тѣмъ убѣдительнѣе становилась необходимость принять предложеніе Левковича.

Домъ Левковича находился сейчасъ же послѣ спуска, за рощей, а его магазинъ—въ поселкѣ, около станціи, версты три. Я рѣшила, что если встрѣчу Левковича у воротъ одного, то это будетъ доброе предзнаменованіе и я немедленно скажу—«да».

Не могла вспомнить его лица, такимъ оно казалось мнѣ обыденнымъ. Лицо, какъ лицо.

Я часто цѣплялась юбкой за сухія вѣтки, нѣсколько разъ присаживалась на пни и плакала. А листья все сыпались, сыпались, умирая безъ боли, сожалѣній, агоніи, и я завидовала имъ.

Закатъ потухъ. Стало сыро. Деревья словно задымились. Потянулъ вѣтерокъ. Галки уже не переговаривались — улетѣли.

— Ау!

Я подняла голову и ничуть не удивилась.

Шелъ Левковичъ съ дочерью.

— Добрый вечеръ,—взволнованно крикнулъ онъ еще издали,—добрый вечеръ!

Я улыбнулась.

Дѣвочка у него премиленькая, въ голубомъ платочкѣ и клѣтчатомъ платьицѣ.

«Моя будущая падчерица», подумала я, не ощущая ни радости, ни удивленія, ни огорченія.

Она жалась къ отцу, а тотъ растерянно улыбался. Онъ не могъ догадаться, что я скажу: да или нѣтъ. Его большія руки были холодны, какъ ледъ, и весь онъ словно съежился.

Я рѣшила скорѣе кончить со всѣмъ этимъ, — ужъ очень болѣло сердце.

Поэтому сказала:

— Пусть Зосинька бѣжитъ впередъ.

И дѣвочка послушалась, а я объявила Левковичу о своемъ рѣшеніи. Вышло это у меня легче, чѣмъ я предполагала.

Левковичъ шепнулъ:

— Да благословитъ васъ Богъ, панна Роза... вы сдѣлали счастливымъ несчастнаго человѣка.

И, нагнувшись, поцѣловалъ мое платье.

Тогда я испугалась, торопливо простилась и пошла домой, не оглядываясь. Я спрашивала себя: «Зачѣмъ ты это сдѣлала? Боже мой, зачѣмъ ты это сдѣлала?»

Листья, мертвые листья, шуршали подъ ногою таинственно и безучастно.

Въ окнахъ нашего дома горѣлъ огонь.

Къ своему изумленію я застала тамъ пана Вороховица.

Онъ сильно задумался и не слышалъ, какъ я вернулась. Я долго глядѣла, минутъ пять глядѣла, на его красивую, гордую голову, небрежную позу, войлочную шляпу. Внутри у меня все оборвалось, и я спросила сквозь слезы:

— Какъ, вы вернулись?.. Вы здѣсь?

Онъ вздрогнулъ, вскочилъ и началъ смѣяться. Я никогда не слышала, чтобы онъ такъ счастливо смѣялся.

— Ахъ, панна Роза!.. Панна Роза!..

И протягивалъ мнѣ руки.

Я ничего не понимала. Мнѣ казалось только, что сейчасъ произойдетъ нѣчто ужасное, и я взялась за стулъ.

Онъ же все смѣялся и повторялъ:

— Гдѣ же вы были такъ долго, голубушка? Боже мой, я жду, я жду... сколько хитростей я сплелъ, чтобы убѣжать отъ графини... Ахъ, панна Роза... панна Роза!..

И видя, что я молчу, онъ притихъ, говоря нѣжнымъ глубокимъ голосомъ:

— Развѣ вы не догадываетесь? Развѣ вы ни о чемъ не догадываетесь, моя милая, хорошая?

А я отвѣтила еле слышно:

— Я уже дала слово пану Левковичу.

Больше я ничего не помню.

ОБЫЧНОЕ.

Было еще рано. Солнечно. Вѣтрено.

На верандѣ противоположнаго отеля лакей вытиралъ столики и передвигалъ стулья. По ступенькамъ сбѣгали туристы, разсыльные. Выкрикивали газеты.

Елена смотрѣла въ окно и думала, что безсонная ночь не прошла даромъ. Голова кружилась, слегка мутило. Сегодня ровно недѣля, какъ она питается однимъ кофе. А сколько дней голодовки до того! Счетъ потеряла. Правда, осталось еще шесть франковъ, но ихъ нужно приберечь для переѣзда изъ отеля.

Почему все такъ случилось?

О, просто. Даже совсѣмъ просто. Пріѣхала компаньонкой съ одной дамой въ Montreux. Дама отказала чуть ли не черезъ мѣсяцъ. Условій не исполнила, а сама исчезла. Сулили кое-что въ Женевѣ. Отправилась. Буквально на послѣдніе гроши. Вѣроятно, заболѣла еще на желѣзной дорогѣ. Въ отелѣ еле-еле поднялась наверхъ. Ей дали крошечный номеръ и намекнули, что барышня выглядитъ нездоровой... барышня-иностранка.... все можетъ случиться... Упаси Боже, конечно... но... Словомъ, она заплатила впередъ.

Сосчитала деньги и ужаснулась. Послала письма на родину, телеграммы.

Господи, да развѣ это такъ скоро, изъ Россіи!..

Вчера случайно съ нею заговорили двѣ русскія ба-

рышни. Элегантныя, насмѣшливыя, скорѣе парижанки на видъ. Онѣ презрительно пожимали плечами. Знакомиться съ русскими? Ни за что на свѣтѣ! Онѣ три года здѣсь и кромѣ иностранокъ ни съ кѣмъ не имѣютъ дѣла.

Слабо усмѣхнулась, вспоминая ихъ гримасы.

Охъ, пора уходить искать комнату!.. И не хочется. Вчера цѣлый день металась. Крутыя, средневѣковыя лѣстницы, полнѣйшая темнота, испуганное хлопанье дверей, подозрительныя лица; часто говорили: «Мы не принимаемъ молодыхъ дамъ». Отъ странно-смѣлыхъ вопросовъ жутко сжималось сердце. Терялась. Неужели же она въ свободной Швейцаріи?

Сейчасъ вспомнила, что не можетъ заплатить впередъ, придется унижаться, просить повѣрить. Ну, ну, ничего... какъ-нибудь... все возможно... только бы стряхнуть съ себя липкое, холодное отчаяніе, только бы пріободриться.

Она съ дѣтства боялась нищеты. Позоръ, болѣзнь, смерть, лишь бы не голодъ. Послѣднее время тоска достигла чудовищныхъ размѣровъ. Она даже и не подозрѣвала, что останется живой послѣ такой муки. Во всякомъ случаѣ такъ или иначе, а исходъ найти необходимо. Какой?

Мысленно зло усмѣхнулась. Не кривляйтесь, сударыня. Подойдите лучше къ зеркалу и успокойтесь. Вы молоды и красивы. Вы нравитесь. Ваше счастье.

Вчера ей кланялся съ веранды того отеля элегантный блондинъ. Она испугалась, захлопнула окно, и остальное время просидѣла безъ движенья, вся съежившись, словно кругомъ ползали змѣи.

Неужели? Неужели же?.. Было страшно думать и еще страшнѣе оставаться въ этой клѣтушкѣ самой съ собою.

Пересилила слабость, одѣлась, вышла.

Слуга второго этажа, нахальный, красивый малый, мелъ лѣстницу, а швейцаръ читалъ ему уличный листокъ. А, m-elle уже встала? И не пила, вѣроятно, кофе? Ай-ай, какъ m-elle блѣдна!..

Madame la patronne хочетъ предложить ей другой номеръ.

Елена, сухо поблагодаривъ, спѣшила дальше.

Донеслись слова швейцара.

— Что она дѣлаетъ, эта русская?

— Zut!

Оба грубо расхохотались. Она не удивилась и не обидѣлась.

Пересѣкала площадь. Рѣшила купить перчатки, разсуждая, что франкомъ больше или меньше дѣла не поправишь, а видъ приличнѣе.

Маленькій, уютный магазинъ. Снѣжныя груды прошивокъ, кружевъ, особенный запахъ новыхъ .вещей.

Барышня за прилавкомъ живо бросила работу.

— Доброе утро!

Доброе утро, конечно... Нельзя ли пару перчатокъ?.. совсѣмъ простыхъ, будничныхъ, такъ сказать... Барышня возилась съ коробками, а Елена смотрѣла на улицу. Ахъ, эти улицы... пестрыя, шумныя, оглушающія. Тысячи различныхъ звуковъ дѣйствуютъ на нее, какъ морфій. Казалось, будто ее ждетъ работа, ждетъ кто-то, что-то, тамъ, впереди.

Взяла перчатки съ дѣловымъ видомъ. Продавщица заливалась канарейкой. M-elle—англичанка? Нѣтъ? О, не можетъ быть. Конечно, англичанка.

Сегодня день перваго причастія дѣтей. Церковь будетъ особенно красивой. Жаловалась на дурную погоду, дороговизну, внезапно разсказала о своей квартиранткѣ. Сошла съ ума отъ нищеты.

Елена выслушала, блѣднѣя. Натянуто улыбнулась.

— Это должно быть ужасно.... голодъ.

— А! — воскликнула продавщица, жизнерадостно и сыто блестя глазами. Да, уже она-то не испытала его!

Сейчасъ же Елена отправилась на почту. Это была ея ежедневная пытка.

Волновалась всякій разъ, словно влюбленная. Около «До востребованія» цѣлая вереница. Когда только они всѣ приходятъ?

Бѣлокурый чиновникъ узнаетъ ее сразу. Чуть-чуть насмѣшливо качаетъ головой. Нѣтъ, къ сожалѣнію, ничего.

Вспыхнула, извинилась. Сразу ослабѣла какъ-то. Тяжесть на сердцѣ увеличилась. Успокаивала себя мысленно:

«Завтра. Ну, завтра обязательно получу. Не деньги, такъ письмо. Обязательно».

Дзинь... промчалась цѣлая стайка велосипедистовъ... зонъ... зонъ... автомобиль...

На часахъ одиннадцать.

Шла вяло, щурясь отъ солнца. Вспомнила, что еще ничего не ѣла.

Послѣ нѣкотораго колебанія зашла въ ресторанъ. Свѣжо. Изящно. Вездѣ букеты цвѣтовъ. Легкій говоръ, смѣхъ... любопытные, веселые взгляды. Пожалѣла, что не выбрала мѣста попроще.

Преувеличенно громко заказала кофе.

— Только кофе?

— Да.

Лакей отошелъ и занялся другими. Это ее возмутило; вспыхнуло болѣзненное, нервное раздраженіе, увеличенное голодомъ.

— Скорѣе же, пожалуйста.

И у самой дрожитъ голосъ.

Оглядываясь уныло и равнодушно. Рядомъ нѣжничаетъ молодая парочка. Конечно, нѣмцы, и новобрачные. Они всегда афишируютъ свои чувства. Въ вагонахъ отъ нихъ тошно. Впрочемъ, любовь здѣсь понимается только въ такой формѣ.

Слуга ждалъ денегъ. Расплатилась неохотно. Такъ скоро? Если бы посидѣть еще минутку.

Однако нужно торопиться. Найти комнату. Во что бы то ни стало найти.

Около церкви толпа. День перваго причастія... цѣлая сотня дѣтей... у маленькихъ мужчинъ банты на рукавахъ, маленькія женщины — въ бѣломъ, съ длинными вуалями. На дѣтей смотрятъ съ балконовъ, оконъ, трамваевъ, имъ улыбаются, киваютъ, махаютъ шляпами. Щелкали бичи, замедляли ходъ экипажи. Это такъ трогательно. Въ добрый часъ, дѣти! Сегодня день, когда вы вступаете въ жизнь.

Елена остановилась. Она не была религіозной, но красота порабощала ее. Смотрѣла на дѣтей, слабо улыбаясь. Господинъ рядомъ повторялъ отрывки изъ рѣчи монсиньора. Матери окружили священника и обмѣнивались съ нимъ впечатлѣніями. Старая продавщица мороженаго плакала отъ умиленія. Она обратилась къ Еленѣ съ наивной горячностью—видала ли барышня что-нибудь болѣе прекрасное?

Толпа рѣдѣетъ. Вѣтеръ сильно развѣваетъ вуали причастницъ.

Елена пошла дальше. Боже мой, въ сущности, всѣ эти процессіи—мечта, красивая мечта. И не для бѣдныхъ, конечно. Шесть франковъ... чужой городъ... борьба честной женщины... Ахъ, это изъ нашей оперы! Это жизнь!

Она пересмотрѣла много комнатъ. Иныя слишкомъ дороги, иныя не соглашались ждать денегъ.

Пожимали плечами. Кто же впуститъ иностранку безъ денегъ? Э, трудно вѣрить, по нынѣшнимъ временамъ. И потомъ, чѣмъ вы занимаетесь, m-elle? Трудящаяся женщина? Гм... наши женщины сидятъ дома... онѣ крѣпки, здоровы, хорошо одѣты... у васъ такія маленькія, нѣжныя руки, m-elle... Почему вы не похожи на нашихъ женщинъ? Ахъ, какъ это было нудно, подло, мучительно!—ихъ вопросы.

Елена устала.

Давно прошло время завтрака. Покрапалъ дождикъ и снова выглянуло солнце.

Елена была теперь въ ремесленномъ кварталѣ. Chambres garnies... Уже на лѣстницѣ испытывала смутное, непріятное чувство. Отворили. Нужна комната? Ахъ, пожалуйста....

Шустрая дѣвочка съ хитрой улыбкой вела Елену.

Большая, просторная комната, но воздухъ удушливъ, спертъ. Безпорядокъ. Полусумракъ. На кровати подъ краснымъ одѣяломъ лежала женщина. Совсѣмъ ребенокъ. Волосы распущены. Фальшивые локоны нѣсколько другого цвѣта сбились на сторону. Лицо восковое, съ отпечаткомъ муки, странное, безумное лицо на тоненькой смуглой шеѣ.

Елена отшатнулась. Что это? Что это у васъ?

Если бы ужасъ передавался цвѣтомъ, то она сказала бы, что для нея все сразу подернулось чернымъ... бездна открылась. Ринулась къ двери. Нѣтъ, Бога ради... Бога ради... Бѣжала, сломя голову.

Внизу дѣвочка объяснила, улыбаясь: пріѣзжая дама... совсѣмъ одна въ Женевѣ, сначала платила аккуратно, теперь нѣтъ... заболѣла... нужно заявить консьержу....

— Можетъ быть она заболѣла просто отъ голода?— пробормотала Елена.

Дѣвчонка зѣвнула. Вѣроятно. Четвертый день не ѣстъ. Не встаетъ съ постели и денегъ не даетъ.

Потомъ добавила жалобно, съ острымъ взглядомъ:

— Барышня сдѣлаетъ доброе дѣло, если поможетъ.

У Елены была только одна монета, пять франковъ. Отдала не колеблясь и ушла.

Что же это? Боже милостивый, Боже великій!.. Тамъ—дѣти, причастіе, цвѣты, автомобили, здѣсь—голодъ, болѣзнь, одиночество, мука. Шла и ненавидѣла всѣхъ, кого встрѣчала, той ненавистью, которая выжигаетъ клеймо на сердцѣ. До могилы. Ни стереть ни залѣчить. Ненавидѣла ненавистью великой. Безспорно, ей предстояло то же. И не въ далекомъ будущемъ.

И все шла, шла, шла, не останавливаясь.

Мостъ миновала. Пѣнилась зелено-голубая Рона. Тонуть хорошо. Унесутъ, не воротятъ. Бѣлѣетъ Mont-Blanc. Вѣроятно, тамъ славно, въ горахъ, среди нависшихъ тучъ. Направо, налѣво море крышъ. Башни. Шпицы церквей. По набережной журчатъ автомобили, экипажи. Гдѣ-то музыка, смѣхъ, свистъ кому-то. Всѣ столики около cafè заняты.

Поднималась выше, въ гору. Улицы становились уже. Дома со ставнями-рѣшетками, колоссальные, грязно-сѣрые напоминали тюрьмы. Красные цвѣты на балконахъ. Высокія стѣны, увитыя виноградомъ, старые, забытые фонтаны, камни. Влажныя, позеленѣвшія отъ плѣсени головы львовъ, изъ которыхъ сочилась вода. Мелодично-грустное пѣніе курантовъ. Какъ все это томило ее, увеличивало тоску.

Безпомощно постояла. Подумала. Безпомощно пошла обратно.

Солнце было низко, но она уже потеряла представленіе о времени.

День казался длиннымъ, утомительно-пестрымъ.

Не замѣтила, какъ снова очутилась на большой улицѣ.

Кажется, безъ всякаго перехода родилось полное, глубокое, почти красивое спокойствіе. Гибнуть.

Значитъ, судьба!

Гибнуть.

Передъ измученными, усталыми глазами опять встала кровать, красное одѣяло, женщина, умирающая отъ голода, съ фальшивыми волосами. Усмѣхнулась. Нѣтъ, съ нею этого не будетъ. Нѣтъ!

— Mademoiselle!

Вздрогнула. Оглянулась.

Высокій блондинъ... коричневая шляпа... запахъ coeur de Jeanette.

— Не пойдетъ ли m-elle со мною?

Посмотрѣла глубоко, глубоко ненавидя и отвѣтила коротко, сурово:

— Пойду.

ВОДА.

Постучались. Лиза открыла дверь. Ахъ, Ивочка!.. Лѣниво поздоровалась и снова легла.

— Я отъ Бѣловой, — весело объявилъ студентъ. — Во-первыхъ, Вѣра Петровна вамъ кланяется, во-вторыхъ, напоминаетъ, что у нея скоро вечеринка en grand, въ-третьихъ, проситъ васъ зайти къ ней сегодня, собирается секретничать.

— Хорошо, Ивочка. Что еще новаго?

— День чудесный. Въ воздухѣ весна и броженіе. Въ умахъ и сердцахъ любовь.

— А, это старо. И еще что?

— Есть... Вчера у Вѣры Петровны вышелъ скандальчикъ. Орловъ едва не подрался съ Данчичемъ.

— Вы шутите, конечно?

Студентъ спокойно охорашивался. Нѣтъ, не шутитъ, хотя и преувеличиваетъ. Мужчины просто крупно поговорили, къ нимъ бросились, они сейчасъ же пожали другъ другу руки. Орловъ уѣхалъ, а Данчичъ остался. Былъ веселъ и спокоенъ, какъ всегда.

Лиза покусывала губы. Какая пошлость! Зачѣмъ Вѣра принимаетъ Орлова?

Ивочка хитро прищурился.

«Не говори, не отрицай», запѣлъ онъ.

Въ сумрачныхъ, большихъ, синихъ глазахъ Лизы затеплилась улыбка.

— Ребенокъ вы, Ивочка.

— Можетъ быть, — тряхнулъ головой студентъ.—А Вѣра Петровна втюрилась. Отъ Данчича ни на шагъ. Pardon... это между нами.

— Секретъ полишинеля,—усмѣхнулась Гостищева.

Глаза у нея потухли. Уголки рта опустились. Она словно постарѣла. Вдругъ тихо откликнулась:

— Ивочка, скажите, какъ это вы умудряетесь быть такимъ вседовольнымъ, всеблаженнымъ?

Онъ многозначительно поднялъ брови.

— Понялъ жизнь, Елизавета Николаевна.

— А!..

— Ей-Богу. Суть жизни въ томъ, чтобы умѣть наслаждаться процессомъ жизни. Я, напримѣръ, между прочими земными благами, обожаю ѣду. Я, знаете, страшно люблю ѣсть.

Лиза съ холоднымъ любопытствомъ поглядѣла на влажный, чувственный ротъ.

Переспросила враждебно и брезгливо:

— Ѣсть любите?

— Очень, — весело отозвался Ивочка, — пломбиръ... омары... Охъ, вкусно!.. Да-съ. Ну, я бѣгу...

И удалился. Жилъ онъ здѣсь же, въ меблированныхъ комнатахъ, этажемъ только выше.

Лиза долго лежала съ закрытыми глазами.

Думала о себѣ холодно и спокойно, какъ о третьемъ лицѣ. Конечно, ея главное несчастіе, ея горе было въ страстной, ненужной любви къ Данчичу, человѣку равнодушному; но къ этому присоединилось еще и сознаніе, что жизнь не представляетъ для нея никакой цѣнности. Она часто и не пугаясь мечтала о самоубійствѣ. Если умирать безсмысленно, то и жить не менѣе безсмысленно. Жить было скучно, гадко, нелѣпо. Жизнь ничѣмъ не была оправдана, кромѣ дѣтской фразы: «мнѣ

дали жизнь, я не просила ея». Не было въ ней ничего, что бы любила Лиза или чѣмъ бы она восторгалась. И она думала, что въ смерти таится нѣчто удивительное, заманчивое, такъ какъ смерть — паденіе въ пустоту. Вспомнила ее и сейчасъ.—Ахъ, да, умереть...

Поднялась, вяло переодѣлась и, на видъ равнодушная, замкнутая, поѣхала къ Вѣрѣ Бѣловой.

— Ангелъ мой, гдѣ ты запропастилась?..

Бѣлова поцѣловала Лизу крѣпко въ губы и усадила. Она собиралась куда-то и перечесывалась передъ зеркаломъ. Ярко-голубой шелковый капотъ былъ глубоко вырѣзанъ на груди и спинѣ.

Шумно выкрикнула:

— А наши-то... Орловъ и Данчичъ... Ты слышала отъ Ивочки? Сцѣпились вчера, какъ пѣтухи. Я думала— скандалъ выйдетъ... Умора!.. А потомъ ничего... обошлось... Ѣздила я съ Данчичемъ кататься. Вернулась на разсвѣтѣ. Мужъ ни гу-гу. Ну, просто, идіотъ какой-то.

Она вздохнула. Лиза улыбалась, а глаза оставались невеселыми.

— Тяжело все-таки обманывать,—замѣтила Бѣлова,— иногда мнѣ хочется все ему на голову вылить... я бы его въ грязь обратила.

— Да Богъ съ ней, съ этой правдой,—пробормотала Лиза.—Зачѣмъ она?.. Ложь хоть помогаетъ намъ быть счастливыми. И часто ложь бываетъ правдой.

— Не понимаю... Нѣтъ... для меня мудрено... вотъ, какъ совѣсть.

И Вѣра осторожно накладывала локоны.

Добавила смущенно:

— Ты знаешь, я вѣдь въ Бога вѣрю... по-купече-

ски... хожу ко всенощной... свѣчи ставлю... ѣмъ просфору...

Лиза болѣзненно поморщилась.

— А я нѣтъ... Впрочемъ, перестала я вѣрить недавно. Случай помогъ. Какъ-то на моихъ глазахъ въ спальнѣ кошка съѣла живьемъ мышонка.

— Ой!—гадливо вскрикнула Вѣра.

— Да, дѣйствительно, ой... вотъ скоро два года, а я этой мерзости забыть не могу. Помню, мышенокъ пищитъ благимъ матомъ, кошка урчитъ отъ наслажденія, а я тронуться не могу. И все во мнѣ тогда загорѣлось ненавистью къ жизни. Нѣтъ Бога, нѣтъ Бога, нѣтъ Бога... Свѣчи, пѣніе, темную церковь—я понимаю... C'est la beauté, voilà tout... да еще подъ соусомъ сентиментальности... все равно, что въ театръ сходила...

Бѣлова испуганно покраснѣла. Это уже кощунство... ей непріятно...

— Ну, извини. Я вѣдь сама захожу въ церковь, иконки развѣсила, даже говѣла... изъ страха все... Такъ будетъ благополучнѣе. А то, вдругъ, мѣста въ управѣ лишусь, ослѣпну, ногу сломаю...

Вѣра замяла разговоръ. Пришла въ азартъ, крича свои гимны жизни. Пресыщеніе—вотъ ея конечная цѣль, пресыщеніе—вотъ ея идеалъ. А хандра умныхъ людей просто отъ несваренія желудка. Она порывисто срывала капотъ, мяла его безъ нужды и накидывала суконное платье.

Лиза молчала. Ну, слышала все это. Дешевенькая, жиденькая философія... Скользила разсѣяннымъ взглядомъ по хрустальному съ краснымъ деревомъ туалету, зеркальнымъ шкапамъ, разставленнымъ трехугольникомъ, пышной розовой кровати. Здѣсь такъ же богато, безвкусно, безалаберно, какъ и въ прочихъ комнатахъ, какъ и сама Вѣра.

Уронила медленно, трудно:

— Вѣра, а ты серьезно любишь Данчича?

— Очень люблю.

— А если я скажу тебѣ, что также очень люблю его? — съ легкой насмѣшкой допытывалась Лиза.

Вѣра испуганно поглядѣла на нее.

— Да, да... ты говорила... Но вѣдь между вами... нѣтъ ничего такого... интимнаго?

— Но, можетъ быть.

— Ты дала мнѣ слово. Помнишь?

— Охъ, это...

У Бѣловой навернулись слезы. Лиза поднялась спокойная, равнодушная до жестокости.

— Ну, ну, не волнуйся, Вѣра. Данчичъ меня не любитъ. А если бы любилъ, я бы не спросила у тебя позволенія...

— Богъ съ тобой,—растерянно пробормотала Вѣра,— такъ ты пріѣдешь ко мнѣ на вечеръ?

— Конечно.

— Только... я пригласила Орлова... неловко было.

— Ну такъ что же?—усмѣхнулась Лиза.

— Какъ что же? У васъ теперь натянутыя отношенія... Я думала...

— Не нужно, родная, ничего думать впередъ. Съ Орловымъ я была близка до тѣхъ поръ, покуда я этого хотѣла. А теперь онъ мнѣ не нуженъ. И я его не замѣчаю... Вотъ.

— Значитъ тебѣ безразлично?

— Совершенно.

— Да и онъ самъ скоро уѣдетъ.

— А ужъ этого я не знаю. Его дѣло.

Вѣра засмѣялась. Нѣтъ, положительно, Лиза удивительная женщина. Даже тѣмъ, что ходитъ въ грязную управу.

— Я ошалѣла бы безъ работы,—вяло бросила Лиза,—меня только спусти съ узды—надѣлаю дѣлъ.

II.

Лиза пріѣхала поздно. Вся передняя была завѣшана шубами. Вертѣлись незнакомые люди. Въ желтой залѣ какой-то господинъ слащаво пѣлъ слащавую арію. Прибывали все новыя лица и уже не здоровались съ прежними. Разносили крюшонъ, фрукты, мороженое.

На Лизу наткнулась сверкающая Вѣра.

— А, наконецъ-то,—разсѣянно обрадовалась она,—охъ, какъ сегодня у меня много народа... половину ихъ я не приглашала... честное слово... Ждемъ теперь Франси... Обѣщался дирижировать танцами... Ты сегодня очаровательна.

И торопливо пошла дальше.

Лиза здоровалась, улыбалась и говорила мелочи. Никто и ничто здѣсь не нравилось ей. Навстрѣчу—Орловъ. Смущенный, жалкій. Поцѣловалъ руку.

— Когда вы пріѣхали, Елизавета Николаевна?

— Зачѣмъ вы являетесь сюда?—сурово, вмѣсто отвѣта, сказала Лиза.—Вы становитесь смѣшнымъ... всѣ знаютъ, что мы разошлись... Зачѣмъ вы сюда пріѣзжаете?.. Скандалы устраивать?..

— А тебѣ уже передали о моей стычкѣ съ Данчичемъ?—притворно удивился онъ.—Тѣмъ лучше. Подобныхъ господъ учатъ.

Лиза презрительно фыркнула. Подумала съ тоскливой ироніей:

«Нарѣдкость шаблонное лицо... усы... глаза... носъ... примѣтъ особыхъ не имѣется... Почему я выбрала именно его? Господи, бываютъ же такія помраченія!»

На нихъ смотрѣли. Измѣнила выраженіе лица. Взяла у проходящаго лакея крюшонъ.

— Сядемъ, поговоримъ, Павелъ Ивановичъ... Я къ вамъ не вернусь. Это рѣшено. Будьте же благоразумнымъ.

— Лиза,—проговорилъ онъ съ отчаяніемъ,—да почему же такъ? Почему? Вспомните. Вы были моей женой...

— Извините, никогда я не была вашей женой, а только любовницей... Называйте вещи своими именами.

— А теперь?

— А теперь мы—чужіе.

— Да почему же?—злобно вспыхнулъ онъ.

— Да ни почему... такъ... Я не люблю васъ.

Онъ бросилъ грубо: развѣ она любитъ всѣхъ, съ кѣмъ живетъ?

Подняла усталые глаза.

— Нѣтъ, конечно, не всѣхъ. Вы хорошо меня одернули. Я напрасно треплю слово «люблю». Во всякомъ случаѣ вы были мнѣ не противны. Я остановилась на васъ еще по множеству причинъ. Ахъ, скучно говорить... Какой толкъ?

Мимо нихъ проходили взадъ и впередъ. Лиза кланялась, спрашивала, отвѣчала и снова обращалась къ Орлову. Лицо у нея начинало болѣть отъ насильственной улыбки.

— Какъ ты цинична!—ужаснулся, недоумѣвая, Орловъ.—Откуда это? Какъ ты цинична! Ты вѣдь была всегда такая мягкая, женственная.

— Не знаю,—грустно отозвалась она.

Орловъ поднялся. Значитъ, это ея послѣднее слово, она никогда не вернется къ нему? Да, да, никогда не вернусь.

Онъ сейчасъ же уѣхалъ, а Лиза подумала:

«Ахъ, если бы умереть... вотъ такъ... красиво причесанной, красиво одѣтой, съ цвѣтами! Да, пожалуй, это и было бы настоящимъ счастьемъ».

Въ залѣ начались танцы. Черезъ гостиную шли туда. Теперь Лиза увидала Данчича. Онъ разговаривалъ съ какой-то дамой. Она долго смотрѣла на него. Поблѣднѣла, замѣтила, что Данчичъ направляется къ ней.

— Какая вы милая сегодня.

— О!..

— Я не подходилъ раньше... Вы были заняты Орловымъ.

У нея сильно забилось сердце.

— Я думаю только о васъ, Андрей... При чемъ тутъ Орловъ?.. Съ нимъ кончено.

— Это хорошо,—спокойно отвѣтилъ Данчичъ.—Вы мнѣ нравитесь больше Вѣры. Вы не такъ примитивны.

Навернулись слезы отчаянія, боли. Униженная пробормотала:

— Вы знаете, какъ я люблю васъ... вы знаете.

— Да, Лиза.

— Вы не сердитесь?—по-дѣтски сорвалось у Гостищевой.

— Что же мнѣ?—мягко удивился онъ.—Что же мнѣ?

— А мое прошлое?—мучительно покраснѣла она.

— Ну, это...

Ему было безразлично. Она почувствовала, какъ ему глубоко дѣйствительно все равно. Она думала о немъ. Дни и ночи она жила имъ, но для него она была лишь красивой женщиной. Она могла стать воровкой, убійцей, заболѣть или умереть,—онъ бы слегка удивился, но даже не опечалился.

Данчичъ говорилъ разсѣянно, закуривая:

— На ваше несчастье, Лиза, вы не годитесь для легкаго романа. Вы черезчуръ меня любите,—я понимаю, и мнѣ... мнѣ не по себѣ. Мнѣ тяжело, когда меня любятъ по-настоящему. Это связываетъ, налагаетъ что-то. А я былъ, есть и буду одинъ. Поэтому я васъ избѣгаю. Меньше будетъ любви съ вашей стороны—ближе я подойду. Впрочемъ, мы могли бы пережить... да, пережить любовь безъ трагедіи... моменты... Я отъ нихъ никогда не откажусь.

Онъ весело разсмѣялся. Потомъ выраженіе стало жесткимъ.

— Ну?

Глубокая покорность передъ этимъ человѣкомъ охватила ее.

— Хорошо,—сказала она, прямо смотря на него,—хорошо.

— Мы уѣдемъ съ вечера вмѣстѣ?

— Вмѣстѣ.

Она начала нервно смѣяться. Какъ сонъ... какъ сонъ...

Данчича отозвали. Влетѣлъ Ивочка съ распорядительскимъ бантомъ.

— Дайте мороженаго... скорѣе!—приказалъ онъ лакею. И метнулся куда-то. Пришли, обмахиваясь, дамы. Лиза улыбнулась кому-то изъ знакомыхъ. Танцовать... танцовать... И смѣялась. Такъ много смѣялась. Всѣ зеркала поочереди отразили тонкую фигурку въ бѣломъ платьѣ, золотистую головку и скорбные синіе глаза. Она способна была выкинуть что-нибудь невозможное. Она была готова на все. Она послала Вѣрѣ воздушный поцѣлуй черезъ всю залу. Она сходила съ ума.

— Какъ мнѣ весело,—твердила она,—какъ мнѣ весело!..

III.

Ивочка и Лиза ждали трамвая.

Небо, тамъ, высоко, уже поблѣднѣло. Закатныя краски поблекли, стерлись. Апрѣльскія сумерки медленно переливались въ вечеръ. Просыхающая влажность земли, задымившіяся почками деревья, гулъ оживленной улицы.

Ивочка передавалъ подробности новаго скандала. Данчичъ уѣхалъ на защиту въ Кіевъ. Къ нему помчалась Вѣра Бѣлова. Всѣ знали это. Всѣхъ интересовалъ конецъ. Самъ же Бѣловъ былъ увѣренъ, что жена у родныхъ. Ивочка сердился. Вѣра пересолила. Съ обществомъ нужно считаться, разъ въ немъ живешь. Пусть женщина любитъ кого угодно, но зачѣмъ это афишировать?

Тѣнь отъ шляпы скрывала смертельную блѣдность Лизы. Она молчала, ежилась и оглядывалась.

— Да... везетъ Данчичу,—бормоталъ, морщась, Ивочка.—Вѣра Петровна—красавица... дда!.. Нѣтъ, ему везетъ, какъ «утопленнику». Елизавета Николаевна, почему говорятъ,—какъ утопленнику?

— Не знаю, Ивочка,—вздрагивала Лиза.

— Какъ вы блѣдны... Блѣдны, но интересны.

— Это кажется... отъ чернаго костюма... Ивочка, садитесь на трамвай одинъ, я пойду дальше.

— А если я съ вами?

— Нѣтъ, нѣтъ...

Ивочка раскланялся. Онъ кланялся также съ трамвая. Лиза не видѣла.

«Все кончено, — думала она, — все кончено».

Крупныя слезы текли у нея подъ вуалью. Походка стала невѣрной. Съ безсильной ненавистью глядѣла на женщинъ.

Одна изъ нихъ... одна изъ нихъ... нѣтъ, всѣ вмѣстѣ отняли у нея счастье. Радость весенняго вечера удвоила ея тоску. Она нѣжно и трогательно любила весну. Теперь та умерла для нея, какъ умерла любовь. Съ ужасомъ думала о своихъ губахъ, которыя могла протянуть теперь всякому мужчинѣ, только не ему, Данчичу; о своихъ слабыхъ рукахъ, что никогда больше не лягутъ на его плечи; о своемъ молодомъ, разбуженномъ тѣлѣ, что такъ глубоко, безпощадно унизили. Могла ли она жаловаться? Нѣтъ, конечно. Онъ предупреждалъ ее. Могла ли она утѣшиться? Нѣтъ, конечно. Ея грудь разрывалась отъ сухихъ рыданій, глаза расширились скорбью.

Она ощущала свое тяжелое, израненное, стонавшее сердце, идя медленно, какъ слѣпая. Она почти бредила наяву. Самыя жгучія, сладострастныя картины вплетались въ ея мозгъ. Чудилось, будто ласковыя, осторожныя руки перебираютъ ея волосы, властныя губы раскрываютъ покорныя горячія губы и все тѣло стонетъ отъ сладкой боли, блаженства и наслажденія... Вѣтеръ, ласкавшій лицо, вызывалъ въ ней острую дрожь воспоминаній.

На мосту Лиза остановилась. Оперлась грудью о перила и долго смотрѣла внизъ. Вмѣстѣ съ апрѣлемъ вода царствовала надъ городомъ. Голубая, широкая, дерзкая, она струилась между просыхающими берегами, навѣвая странныя мысли. Она казалась живой и понимающей. Она сулила что-то, приказывала что-то, подавала примѣръ кому-то. Она манила, звала, пугала и радовала. Новое, нежданное ощущеніе родилось въ Лизѣ. Ощущеніе равнодушной покорности. Что значитъ горе, если каждому доступна смерть?.. Все проходитъ. О, вода, не отталкивай меня въ эти минуты. Пошла дальше, не замѣчая любопытныхъ взглядовъ, па-

дающихъ синихъ сумерекъ, блѣдныхъ, загоравшихся звѣздъ.

Въ меблированныхъ комнатахъ столкнулась съ Ивочкой. А, онъ уже здѣсь?

— Всенепремѣнно... Пожалуйте ко мнѣ чай пить. И курсистокъ зовите.

— Какъ шумно здѣсь,—сказала Лиза,—какъ шумно.

Поднялась на третій этажъ къ курсисткамъ. Тамъ комнатка чистая, бѣленькая, словно снѣжинка. Въ раскрытое окно видны крыши и башенка каланчи. Таня—черноволосая, худенькая, Кися—бѣлокурая, рыхлая.

— Елизавета Николаевна, — сказали онѣ разомъ,—дайте полтинникъ, мы сидимъ безъ керосина и сахара.

Гостищева слабо улыбнулась. Конечно, даетъ.

Во дворѣ запѣла шарманка, и всѣмъ стало грустно. То же грустное, неуловимо тягостное вошло вмѣстѣ съ Лизой. Дѣвушки смотрѣли добрыми, наивными глазами и недоумѣвали, отчего эта красивая, нарядная и, какъ имъ казалось, счастливая женщина такъ печальна.

Совсѣмъ поздно къ Лизѣ пришла Ковальская. Просила денегъ и работы. Юбку, блузку попроще... Это она умѣетъ, это она сошьетъ мигомъ.

— Хорошо,—сказала Гостищева,—хорошо. Вы живете все тамъ же?

— Да, Надрѣчная, № 11, во флигелѣ.

Передъ глазами Лизы снова встала радостная, загадочная глубина весенней воды и коснулось лица влажное дыханіе.

— Вода разлилась,—машинально пробормотала она.

— Нѣтъ, уже спадаетъ,—удивилась Ковальская.

IV.

Въ управу Лиза пришла рано. Агрономическій отдѣлъ былъ еще пустъ. Она открывала шкапъ, доставала

разноцвѣтныя папки съ дѣлами, книги, счета. Доносилось, какъ звенѣлъ стаканами дежурный сторожъ, а другой медленно вслухъ читалъ газету. Безпрестанно хлопала дверь. Часто звенѣлъ телефонъ. Заглянулъ къ Лизѣ членъ управы изъ крестьянъ и, по-мужичьи, неловко сунулъ ей шершавую руку.

— Агронома еще нѣтъ?

— Нѣтъ, Егоръ Ивановичъ.

Лиза прогуливалась взадъ и впередъ, тихо шурша юбкой и удивляясь, какъ замерло горе. Явился наконецъ агрономъ, инструкторъ по садоводству. Набились мужики. Стало шумно, душно. Заслѣдили весь полъ. Вскочилъ ветеринарный врачъ и разсказывалъ пошлости.

«Въ сущности, если я собралась умирать, — иронизировала мысленно Лиза, — то зачѣмъ я пришла въ управу? Зачѣмъ я говорю съ этими грубыми людьми, улыбаюсь агроному? Зачѣмъ все вообще: сегодняшнее платье, прическа, утренній кофе?»

Около трехъ часовъ понесла бумаги для подписи предсѣдателю. И когда этотъ элегантный, чопорный господинъ поздоровался съ нею, на Лизу пахнуло тонкой «Violette de Parme», — любимыми духами Данчича. Лиза страшно поблѣднѣла. Можно было подумать, что она упадетъ. Но предсѣдатель читалъ бумагу, а Лиза стояла съ мыслью: «Пора кончить съ этимъ... пора...»

— Возьмите, благодарю васъ, — сказалъ предсѣдатель, возвращая подписанный листокъ.

— Благодарю, — пробормотала она, уходя.

На лѣстницѣ земскій врачъ остановилъ ее.

— Вы знали Чернову?

— Учительницу?

— Да, да... она отравилась... мнѣ сообщили сейчасъ по телефону...

Лиза неожиданно и облегченно вздохнула. Ахъ, какъ видно, это ужъ не такъ страшно... Маленькая, робкая, золотушная Чернова... рѣшилась. Кто бы подумалъ?..

— Изъ-за чего же?

— А чортъ ее знаетъ,—разозлился докторъ,—весною бабы бѣсятся... не знаютъ цѣны жизни.

И поднимался наверхъ, брезгливый, сытый, самодовольный.

Да, этотъ зналъ цѣну жизни...

Лиза, улыбаясь, вернулась на свое мѣсто.

— Чернова отравилась,—сказала она бодро.

V.

Лиза захватила съ собою деньги и кое-что малышамъ Ковальской. Ѣхала очень долго по трамваю, потомъ шла темными, подозрительными закоулками и наконецъ очутилась на Надрѣчной. Длинная немощеная улица. Домики одноэтажные, хмурые, съ грязными окнами. Здѣсь паровая мельница, плотина. Дальше пустошь, гдѣ гніютъ нечистоты, и запахъ оттуда тянется отвратительный, тошнотворный. На другомъ берегу молодыя деревья.

Лиза осматривалась, соображая.

«Вотъ гдѣ удобно топиться», подумала полушутя, полусерьезно.

Подошла къ периламъ, заглянула. Высота съ плотины порядочная. Рѣка тутъ иная, чѣмъ около городского моста: темная, некрасивая, мрачная. Теченіе какъ будто быстрѣе.

«Вотъ здѣсь топиться», снова подумала Гостищева.

«Отчего же нѣтъ?» холодно, четко сказалъ кто-то въ душѣ Лизы.

«Да, отчего же нѣтъ?» продолжала шутить она сама съ собою.

«Ну, конечно, здѣсь и утопишься», строго отвѣтилъ безтѣлесный.

«Хорошо», слабо, безконечно-грустно покорилась Лиза.

Городовой подходилъ къ ней крупными, тревожными шагами.

— Барышня, вамъ что здѣсь надобно?—сурово и подозрительно спросилъ онъ.

Оглянулась. Широкое, доброе, заросшее лицо. Голосъ глухой, словно тоже заросшій.

— Я иду въ № 11,—улыбнулась Лиза,—а сейчасъ на воду смотрю.

— № 11... дальше... ворота высокія...—сразу успокоился городовой.—Я вижу, вы стоите на плотинѣ... не годится... поэтому и спрашиваю...

Лиза засмѣялась. Да развѣ запрещено?

— Такъ точно, запрещено, — добродушно заявилъ онъ,—много народу топится, мы въ отвѣтѣ... велѣно не допускать.

— Ну, тутъ не утонешь,—опять умышленно засмѣялась Лиза,—упадешь, только выпачкаешься.

— У берега оно, конешно, не глубоко, а дальше, шаговъ десять, живо затянетъ.

— Вода мутная,—устало, какъ бы про себя замѣтила она.

— Это точно, вода грязная...

«Буду топиться, ты крикъ подымешь», смѣшливо она.

Ей стало забавно, что вотъ она стоитъ передъ нимъ живая, а скоро будетъ мертвая, и онъ предостерегаетъ ее отъ того, что она сдѣлаетъ непремѣнно. Все быстро само собою устраивалось.

Отойдя нѣсколько шаговъ, Лиза неожиданно, тихо, безпомощно заплакала. Заплакала о своихъ густыхъ бѣлокурыхъ волосахъ, о большихъ глазахъ, о красивомъ молодомъ тѣлѣ, о тѣхъ радостяхъ любви, которыя пережила она съ Данчичемъ, и о самомъ Данчичѣ. Заплакала еще потому, что была ранняя весна, прозрачное небо, а ея жизнь сломана и несчастна, и одинока. Въ ту минуту любила Данчича, такъ остро-недужно, такъ безнадежно тоскливо, что самое чувство не было любовью,—а только мукой.

— Какая я глупая, — бормотала Лиза, тяжело всхлипывая,—великій Боже, какая я глупая!

Ковальской не было дома. Лиза роздала подарки дѣтямъ, а пять рублей оставила хозяйкѣ.

VI.

Между тѣми днями, когда Лиза любила Данчича и была счастлива съ нимъ, и между сегодняшнимъ вечеромъ, когда она жгла его письма, обдумывая, какъ бы поскорѣе умереть, легла страшная пропасть. Точно прошли цѣлые годы. И все прежнее: Орловъ, Вѣра, Данчичъ,—отошло далеко, далеко, затерялось. Теперь Лизѣ казалось, что она умретъ не только изъ-за Данчича, а вообще потому, что ненавидитъ жизнь, и это успокаивало ее нѣсколько.

Гдѣ-то въ глубинѣ души она еще не вполнѣ довѣряла себѣ.

Молодая, красивая, страстная Лиза 1-я, робко спрашивала усталую, измученную Лизу 2-ю:

«Такъ ты дѣйствительно умрешь?»

«Оставь меня въ покоѣ... сама увидишь».

«А когда это будетъ?»

«Не знаю».

Совсѣмъ поздно постучался Ивочка.

— Елизавета Николаевна, пожертвуйте мнѣ изящный конвертъ и бумагу... предполагаю написать *прекрасной дамѣ*... и ни того, ни другого не имѣется...

Обыкновенно Ивочка раздражалъ Гостищеву, но сегодня она ласково улыбнулась. Достала бумагу, а студентъ, глядя на ея волосы, плечи, грудь, думалъ:

«Недурна бабёнка, только колется... скучно съ такими... но, вообще, непонятно, почему ее бросилъ Данчичъ?»

А Лиза вспомнила, что скоро умретъ, т.-е. перестанетъ быть Лизой, обратится въ прошлое; Ивочка же останется жить и долго будетъ всѣмъ разсказывать, какъ онъ «это предчувствовалъ». Подняла голову. Ивочка улыбался дѣтскимъ, чувственнымъ ртомъ, выхоленный, хорошенькій.

Неожиданно въ ней вспыхнуло болѣзненное, нестерпимое желаніе физической близости, дурмана. Забыться. Все равно, какъ и что, лишь бы забыться, вынуть мозгъ, душу, лежать пластомъ, ничего не испытывать. Забыться... Сказала:

— Ивочка, поцѣлуйте меня!

Студентъ отшатнулся. Потомъ схватилъ Гостищеву за руки.

— Что? Что? — не понималъ, шутитъ ли она или нѣтъ. Боялся показаться смѣшнымъ.

Повторила, умоляя и быстро блѣднѣя:

— Поцѣлуйте меня...

Ивочка растерянно и безвкусно коснулся ея губъ. Что-то екнуло въ ней, метнулось, застонало, и то, что все это, кажется мелочь, лишь ведетъ къ концу, къ смерти, стало яснымъ.

— Елизавета Николаевна, что же это такое?—чуть не заплакалъ студентъ.

Она молчала.

Обнялъ смѣлѣе, смѣлѣе цѣловалъ, дотронулся до груди и снова поцѣловалъ.

«Все равно,—мелькнуло у Лизы,—все равно»...

Но Ивочка уже испугался. Выпустилъ, виновато улыбаясь, пробормоталъ что-то невнятное и ушелъ. По нервнымъ шагамъ казалось, что онъ бѣжитъ. А ее начала бить лихорадка, и она вся переполнилась гадливостью къ себѣ самой.

VII.

На другой день было воскресенье. Лиза вяло выпила кофе, прочитала газету и не знала, куда дѣть себя. Смотрѣла, какъ въ калитку уходили жильцы. Потянуло на воздухъ. Насмѣшливо подумала:

«Что же наше самоубійство? На точкѣ замерзанія».

И сейчасъ же встряхнулась. Кончать, такъ кончать. Въ ту или другую сторону, только кончить.

«Почему я буду топиться завтра, послѣзавтра, а не сегодня? Что меня удерживаетъ? Есть долги... Ну, что же долги... ждать денегъ, такъ это еще годъ ждать. Написать письмо? Кому? Зачѣмъ? Что писать? Въ смерти никого не виню. Господи, пакость какая!.. А бѣлье на мнѣ чистое? Да... Ну, и?..»

Задрожали ноги, сѣла, продолжая упорно, черезъ силу думать.

«Я мало себя знаю... сейчасъ я спокойна, даже черезчуръ спокойна. А потомъ? Вдругъ это лишь затишье передъ грозой? Нужно использовать подобное настроеніе. Нужно спѣшить. Гдѣ мой паспортъ?... Взять съ собой? Э, вздоръ!..»

Уходя, она не захотѣла оглянуться. Дѣловито щелкнула замкомъ.

— Обѣдать, барышня, дома будете?

— Нѣтъ, я по дѣлу задержусь...—запнулась Лиза.

— Ну, часъ добрый.

Засмѣялась, поглядѣла загадочно.

— Да, Феня, пожелайте удачи...

— Желаю, барышня, отъ всего даже сердца желаю...

На улицѣ по воскресному оживленно. Часто попадались гимназистки. Вѣтеръ рвалъ ихъ бѣлые передники. словно маленькіе флаги. Сновали трамваи, качались деревья, голубѣло небо, шли, ѣхали, стояли люди.

«Отчего же, отчего мнѣ никого не жаль? — тоскливо недоумѣвала Лиза,—неужели же я дѣйствительно такъ глубоко, непритворно-старчески устала? Вѣдь я топится иду... умирать... переходить въ новое неизвѣстное состояніе... да... да... умирать иду... и ни любопытства, ни страха—ничего. Пустота».

Подумала, что, возможно, умирающіе меньше страдаютъ, чѣмъ живые. Можетъ быть даже тотъ несчастный мышонокъ не такъ мучился, какъ воображала себѣ она, Лиза? Можетъ быть все въ этомъ мірѣ проще, грубѣе, иначе на самомъ дѣлѣ?

Уже далеко отъ дома кто-то обогналъ, толкнулъ, крикнулъ подъ ухомъ:

— Елизавета Николаевна!..

Вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

Это было такъ нелѣпо... толстое, розовое лицо подъ цилиндромъ, свѣтлое платье, игривое выраженіе глазъ, и главное, главное — этотъ оглушительный смѣхъ... ужасно нелѣпо для ошеломленной Лизы.

— Куда? Куда? А? Что?—сыпалъ онъ, хохоча.—Я бѣгу, а она отъ меня... Я за ней... Она впередъ... А? Что?

Смотрѣла недоумѣвая, теряясь между увѣренностью,—что знаетъ этого человѣка и мыслью,—не принимаютъ ли ее за другую?

— На свиданіе? Да? Онъ ждетъ? А? Что? Весна? Дыханіе любви?

Теперь вспомнила. Докторъ Ц. Встрѣчала у Бѣловой? Отозвалась сухо, дѣлая шагъ впередъ.

Да, да, она идетъ на свиданіе.

— Го-го!.. Весна... дыханіе любви...

«Болванъ,—истерично, чувствуя слезы въ горлѣ, подумала Лиза,—взять бы и крикнуть: топиться иду, не задерживай. Ахъ, какой болванъ!»

И что-то возмутилось въ ней противъ собственной жестокости. Иди, иди, не мучь себя напрасно... пожалѣй... Кивнула доктору.

Убѣжала.—Охъ, хотя бы никто больше не встрѣтился...

Изъ-за этого не сѣла въ трамвай.

— Эй, — кричали ей извозчики, — эй, берегись!..

— Хорошенькая,—говорили вслѣдъ.

Какъ дошла Лиза до Надрѣчной улицы,—не помнила. Этотъ промежутокъ времени вынули изъ памяти. Она все время держала шляпу: такъ сильно бушевалъ вѣтеръ. Отрезвилась лишь на Надрѣчной. Качающіяся деревья противоположнаго берега, быстрая, рябоватая, зеленоватая рѣка, тишина.

Недалеко отъ плотины возились дѣти. На балкахъ, возлѣ одного дома, сидѣли рабочіе съ мельницы.

Двѣ красныя, полупьяныя, зло-возбужденныя женщины шли навстрѣчу Лизѣ.

— Ишь, накрасилась, сволочь! — сказала одна.

Вторая выругалась цинично и длиннѣе. Захохотали.

Нервная веселость ударила въ голову Лизѣ. И, желая

быть развязной передъ самой собою, желая быть смѣлой въ нѣсколькихъ шагахъ отъ рѣки и смерти, она обернулась. Крикнула:

— А вотъ и не намазана!

Женщины шарахнулись. Пробормотали что-то испуганно.

«Я начинаю ломаться», брезгливо поморщилась Лиза.

Рабочіе смотрѣли сюда. Вдругъ кто-то изъ нихъ засвисталъ, залюлюкалъ и бросился къ женщинамъ, а за нимъ побѣжали и остальные. Бабы весело взвизгнули... Лиза дала дорогу. Всѣ скрылись за угломъ.

Лиза поняла, что это ея минута. Городовой далеко, дѣтей не видно. Никого. Рѣка шумитъ въ трехъ-пяти шагахъ.

И въ первый разъ настоящій, громадный, сильный ужасъ залилъ Лизу, ударилъ въ ноги, скрылъ изъ глазъ небо, деревья, воду, землю. Чувствовала, какъ медленно, медленно, съ трудомъ пошла впередъ и разстегивала накидку. Мучительное нетерпѣніе трясло Лизу. Скорѣе, ахъ, скорѣе бы!.. Пришлось нагнуться подъ перилами. Накидка скользнула съ плечъ, обдало вѣтеркомъ. Секунду глядѣла въ темную бѣгущую воду, секунду полно вдохнула ея холодъ и секунду ощутила себя поднятой высоко, высоко...

И ни о чемъ не жалѣя, ни въ чемъ не раскаиваясь, безъ крика, безъ колебанія бросилась внизъ. Ударъ разсѣченной волны, темнота. Окунулась вся съ головою, забилась, вынырнула. Жадно, широко, насильно-широко раскрыла ротъ, глотала, выплевывала, поперхнулась и снова глотала воду. Тѣло безпомощно кривлялось, сгибалось, разгибалось.

«Господи, Іисусе Христе... кажется это дольше, чѣмъ я думала. Больно... охъ какъ больно!.. Кто говорилъ

мнѣ, будто бы топиться не больно? Сознанія я не теряю... Платье вздувается... волосы... ахъ волосы!..»

На нѣсколько минутъ забытье... Тѣло спокойно. Ротъ медленно сосредоточенно глотаетъ воду... пузыри... вода затормошилась, выкинула наверхъ.

«Почему я не тону? Господи, смерти... я выплываю... вода не холодная... у меня бывали судороги... Почему нѣтъ судорогъ?»

Нечеловѣческое усиліе слабыхъ рукъ и ногъ... нырнула глубоко... стала тяжелѣе, ниже опустилась, скрылась подъ водою. Платье прилипло къ тѣлу, и это ощущеніе было противно. Зацѣпила мохнатыя водоросли. Судорога гадливости въ рукахъ. Ясность мыслей. Полусонъ. На сердцѣ тишина.

«Тону... теперь уже тону, конечно... можетъ быть смерть? Какая странная боль!»

Вода властно вышибла лицомъ къ небу. Лучъ солнца. Уха коснулся острый, пронзительный, изступленный крикъ тамъ, на плотинѣ.

И на него нежданно отвѣтила тѣмъ же страннымъ нечеловѣческимъ крикомъ, заражаясь тревогой, что упала сюда, въ темную воду, въ темные, запѣненные круги, въ глухую мягкость скользкой, мохнатой тины.

«Почему я кричу?.. Вѣдь мнѣ не страшно?»

Крики доносились явственно. Была на поверхности.

«Я не тону», просто, уже не ощущая ни страха, ни ужаса, ни радости, подумала Лиза. И тупо покорилась тѣмъ рукамъ, что схватили ее.

Рабочаго и Лизу поднимали на плотину медленно на веревкѣ.

Она открыла глаза и оглядѣлась.

Страшно высоко голубое сверкающее небо. Застыли бѣлыя плотныя, точно ватныя, облака. Зеленоватыя,

растрепанныя вѣтромъ деревья. Встревоженная, вся въ кругахъ вода, уже не странная, не загадочная, а лишь мутная, противная. Множество головъ, махающихъ рукъ. Рѣзко выдѣлялась студенческая тужурка. Край ея черной накидки свѣсился надъ водою и колыхался.

Была на землѣ. Толпа хлынула къ Лизѣ.

«Я бы хотѣла сказать имъ всѣмъ, что я спокойна,— думала Лиза съ закрытыми глазами,—я не напугана и ничего особеннаго не случилось. Но этого нельзя. Они способны растерзать меня, потому что примутъ мое спокойствіе за личное оскорбленіе. Они всѣ точно съ цѣпи сорвались... не нужно открывать глазъ... не нужно подыматься... иначе я покажусь имъ прямо чудовищемъ... хотя, по-настоящему, я могла бы встать безъ чужой помощи и пойти домой».

Ее положили на чье-то пальто и съ нея срывали платье. Лиза узнала голосъ Ковальской.

— Знаю я ее, знаю,—вопила та тоненькимъ голосомъ,—вы ее ко мнѣ несите... знаю я ее...

«Бѣдная, это благодарность за мои пять рублей,— мелькнуло у Лизы,—и чего они меня тормошатъ такъ? Везли бы ужъ въ больницу».

— Господа, господа, тише!..

— Дайте пройти...

— Живой человѣкъ, не скотина.

— Знаю я ее... она ребенка лѣтомъ хоронила... и ужъ топилась разъ...

«Ахъ, лгутъ,—возмутилась сквозь забытье Лиза,— открыть глаза и заявить, что лжетъ».

— Дьяволы... легче... тише... голову... голову не проломите... скоты проклятые!..—чуть не плакалъ студентъ.

— Платье не срывайте... въ больницѣ снимутъ...

— Господа, разступитесь, разойдитесь!..

— Ну, чего рты-то разинули... хамы?..

— Самъ ты хамъ... орешь...

— А чего пихаешься-то? Я какъ дамъ тебѣ!..

— А ну, подойди!..

— Разойдитесь!.. Городовой, да гоните ихъ въ шею...

— Откачивать не будемъ?

— А ребенокъ гдѣ?

— Городовой, такъ нельзя... они разорвутъ ее... Вы отвѣчаете...

— Не ваше дѣло, господинъ... Проходите!..

— Кто сказалъ о ребенкѣ?

— Вотъ накидка... Городовой, получите накидку...

— Господи, несчастье-то какое!..

И еще, и еще, и еще...

— Ко мнѣ несите,—плакала Ковальская.

— Въ больницу... я не позволю... въ больницу...— сердился студентъ.

Лиза вдругъ начала дрожать. Поднялась на локтѣ, оглядывалась истерично, какъ затравленная.

Безтолковые крики, брань, возбужденіе толпы заразили ее. И до сихъ поръ искренняя, до сихъ поръ не солгавшая ни однимъ жестомъ, она, въ угоду этимъ пошлымъ, испуганнымъ людямъ, начала биться, кричать въ искусственно-вызванномъ припадкѣ. И это было легче, чѣмъ лежать молча, съ правдивымъ равнодушіемъ.

«Мерзость, мерзость!» съ ужасомъ думала Лиза.

VIII.

Несли на носилкахъ по коридору. Какъ было здѣсь тихо послѣ улицы. Встрѣчныя сидѣлки спрашивали:

— Утопленница,—отвѣчали сторожа.

— Жива?

— Дышитъ.

— А сейчасъ привезли другую... отравилась...

— Чтой-то онѣ? Прости Господи!..

Положили на столъ. Мужчины и женщины въ бѣлыхъ халатахъ обступили Лизу. И эти люди ничѣмъ не отличались отъ тѣхъ на берегу, и такъ же заглядывали въ лицо и выражали мнѣнія вслухъ:

— Слабость отъ истерики... горячія банки... выкачки не требуется...

— Вотъ что весна дѣлаетъ...

— А не было ли здѣсь симуляціи,—хихикнулъ кто-то,—какъ вы думаете, докторъ?

— Нѣтъ... нѣтъ...—раздраженно отмахнулся тотъ.—Господа, постороннихъ прошу выйти...

— Шляпа въ рѣкѣ осталась...

— По словамъ городового, она не теряла сознанія.

— Молодая... не больше двадцати трехъ...

— Постороннихъ прошу выйти! — уже сердился докторъ.

Теперь стало тихо. Лиза лежала съ распухшимъ лицомъ, постарѣвшая, подурнѣвшая, въ чужомъ грубомъ лицѣ. Она вдругъ зарыдала.

— Ну, будетъ, — нагнулся докторъ, — ну, успокойтесь... ну, не надо... теперь все хорошо.

И при звукѣ мягкаго, участливаго голоса Лиза сдержалась. Посмотрѣла умоляюще. Цѣломудреннымъ жестомъ докторъ поправилъ ей сорочку, нѣжно гладилъ волосы.

— Тяжело... стыдно... гадко,—съ гримасой шепнула Лиза.—Охъ, какъ тяжело, докторъ!.. Зачѣмъ меня вытащили?.. Это жестокость!..

Онъ попрежнему молча гладилъ ей волосы.

— Гадко, стыдно мнѣ,—заметалась Лиза,—какъ жить теперь?.. Какъ жить?...

— Не волнуйтесь... лучше не говорить...

— Зачѣмъ меня вытащили?—рыдала она.—Я вымучилась, выстрадала... мнѣ боли своей жалко, докторъ. Зачѣмъ меня вытащили? Это жестокость!

— Да,—задумчиво проговорилъ докторъ,—да... Это жестокость.

IX.

Поочередно приходили жильцы. Вопросы, сожалѣніе, удивленіе. И это было уже не ново Лизѣ и не пугало ее.

Около семи часовъ явился Ивочка. Онъ много суетился.

— Пришелъ околоточный,—сказалъ онъ возбужденно,—допросъ сдѣлать... я пошлю его ко всѣмъ чертямъ.

— Почему?—удивилась Гостищева.—Посылайте лучше ко мнѣ.

— Да какіе тутъ допросы? Только изъ больницы, еле дышите.

— Милый Ивочка, не ерундите... во-первыхъ, я дышу чудесно, одѣта и читаю Аннунціо, во-вторыхъ, чѣмъ это скорѣе кончится, тѣмъ лучше.

Ивочка былъ разочарованъ. Ему почему-то хотѣлось, чтобы Лиза была съ распущенными волосами, скорбная. виноватая, заплаканная, и чтобы можно было утѣшать ее и увѣрять, что она ни передъ кѣмъ не виновата.

— Какъ хотите,—сказалъ онъ недовольно и ушелъ.

Околоточнаго впустили. Молодой, крѣпкій и, кажется, очень застѣнчивый.

— Здравствуйте... садитесь... Что угодно?—рѣзко об-

ратилась Лиза. Ее уже охватило нервное раздраженіе.

Околоточный дѣлалъ видъ, что не замѣтилъ ея тона. Сѣлъ, вынулъ бумаги, придвинулъ чернила:

— Вы сегодня утромъ покушались на самоубійство,— не громко заявилъ онъ,—можетъ быть, объясните причину... разскажете?

— Какой вздоръ!—вспыхнула Лиза.—Развѣ вы сами не понимаете, что это вздоръ? Ничего рѣшительно я не скажу, ничего.

Посмотрѣлъ на нее. Такъ уныло, устало посмотрѣлъ.

Лиза сконфузилась. «Съ чего это я на человѣка бросаюсь?» урезонила себя. Хмуро бросила, нѣсколько фразъ:

— Топилась потому, что жизнь надоѣла. Всѣ люди дрянь и она—дрянь.

— Жалѣете, что васъ вытащили?—какъ-то странно спросилъ онъ.

— Жалѣю, Богомъ клянусь, жалѣю!—искренно крикнула Лиза.

А околоточный возразилъ мягко, искренно, медленно подыскивая слова:

— Знаете, барышня, мнѣ пришлось много видѣть самоубійцъ за послѣдніе годы... вѣшаются, стрѣляются, травятся... да... и все такое,—словомъ, жизнь въ копейку не цѣнятъ. Раньше я не вѣрилъ, ужасно злился... даже грубіянилъ нѣкоторымъ... думалъ—ломаются... А потомъ... многіе... вотъ и вы... видно не ломаетесь, нѣтъ... просто жить не хотите... да... и теперь я самъ сталъ къ себѣ присматриваться... Часто думаю, а для какой надобности я живу? И будто бы уже смерть страшна? У меня жена... молодая... любитъ... двое мальчиковъ... достатокъ... А отъ тоски мѣста не найду... Къ смерти тянетъ... Не сегодня, такъ завтра пущу себѣ пулю въ лобъ. Ей-Богу!.. Такъ, вотъ, вѣдь какая

комедія... Допрашиваю я васъ, и мнѣ смѣшно... Вѣдь я самъ умирать своею смертью не намѣренъ...

И въ отвѣтъ на его измученную улыбку пробормотала слабо:

— Ничего... Все проходитъ.

ВѢТЕРЪ.

Девятнадцатое...

Если бы меня спросили, что я до сихъ поръ дѣлалъ, я бы отвѣтилъ: писалъ и ѣздилъ. Да, писалъ и ѣздилъ. Съ мѣста на мѣсто. Люблю главнымъ образомъ провинцію. Много есть неизвѣстныхъ уютныхъ городковъ, съ прозрачной рѣкою, ропчущимъ лѣсомъ, веселыми домиками, густыми садами, гдѣ цвѣтутъ мальвы и мечтаютъ женщины. И тамъ интересно останавливаться, только не надолго. Вѣтромъ прилетѣть и снова дальше, дальше

Тогда воспоминанія остаются чистыми, трогательными, и пріятно мысленно переживать ихъ. Сколько я видѣлъ такихъ городовъ! Въ одномъ встрѣтилъ дѣвушку съ голубыми глазами. Она любила голубой цвѣтъ. Платья, ленты, пояса,—голубые. Въ лѣсу искала только незабудокъ и колокольчиковъ. Приходила ко мнѣ, пѣла у меня на колѣняхъ и говорила:

— Я люблю тебя, потому что ты вѣтеръ. Сегодня съ нами, завтра далеко.

Сама была гордая, смѣлая. Никому не вѣрилъ, а ей полностью. Ласковая, голубая дѣвушка! Не боялся открывать ей душу. Если не всегда умомъ, то сердцемъ она понимала меня. А больше, что больше и нужно? Гдѣ она теперь? Можетъ быть уже разлюбила голубой

цвѣтъ? Или она замужемъ и у нея дѣти? Да... да... безъ сомнѣнія.

Порою, однако, я вспоминаю ее, тоскую и желаю встрѣчи.

Съ тѣхъ поръ какъ я живу сознательно—вокругъ меня женщины. Всюду ихъ умоляющіе глаза, протянутыя руки, покорно склоненныя головы, слезы, поцѣлуи, клятвы, слѣпая вѣра—не такой, какъ другіе. Почему я причиняю имъ столько зла? Почему я грубъ, жестокъ, лживъ и равнодушенъ съ ними? Не знаю. Развѣ я виноватъ, если онѣ во мнѣ видятъ не меня? Развѣ я виноватъ, если свобода заманчивѣе женщины? Къ слову сказать, не женщины дѣлали меня счастливымъ, я — самъ. Не хочу и не ищу ничего опредѣленнаго, законченнаго, продолжительнаго, не имѣю цѣлей, убѣжденій, религіи, не признаю ни прошлаго, ни будущаго, только настоящее. Да и то минуты. Въ итогѣ я доволенъ самъ собою.

Здѣсь, въ П-вѣ, я проѣздомъ.

По одну сторону городка—безконечный лѣсъ, по другую—глухая станція, а на главной улицѣ вѣковыя липы и очень темный, очень старый костелъ Сердца Іисуса. Утромъ и вечеромъ туда проскальзываетъ Мечка. Я знаю, она плачетъ и молится.

Маленькая, покорная женщина съ затаенной трагедіей и нѣжной мольбою во взглядѣ. Иногда я обнимаю ее, она дрожитъ, какъ листокъ, и я не помню, чтобы она улыбалась.

— Грѣхъ... возмездіе... рай... адъ... ксендзъ...

Ахъ, глупенькая, если бы она знала, что высшее наслажденіе ни во что не вѣрить, никого не любить, ничего не желать, ни на что не надѣяться и ничего не просить!

Я грубъ съ нею послѣднее время. Наша разлука—дѣло четырехъ—пяти дней.

Двадцать третье...

Я стоялъ у окна, когда пришла Мечка. Слышалъ ея тихіе шаги, шуршаніе юбки и понималъ, что она боится окликнуть меня. Пусть. И я не оглянулся. Слѣдилъ, какъ гнулись деревья, летѣли сухіе листья, расхаживали голуби.

Раньше меня трогала наивная, немного педантичная аккуратность Мечки, ея дѣтскій страхъ передъ пылью, брошенными книгами,—теперь же захотѣлось пожать плечами. Къ чему все это? И ея заботы казались приторными.

Мечка наконецъ подошла, припала къ плечу.

— Франекъ сердится?

— Нѣтъ, скучаетъ.

Лѣнь говорить. Однако взялъ маленькія холодныя ручки.

— Дома все благополучно?

— Все.

Мужъ у нея бухгалтеръ. Съ ними живетъ свекровь, дряхлая старуха. Комнаты—темныя. Тихо до жути. Патріархально. Былъ у нихъ два раза—едва не задохся отъ скуки. На меня косились.

— Если бы они знали,—шепчетъ Мечка порою,—если бы они знали...

И вся блѣднѣетъ отъ одной мысли.

Сейчасъ она теребитъ мои брелоки, трогаетъ манжеты, рукава, руки съ влюбленной нѣжностью. И лицо у нея радостное сквозь дымку печали.

Я сказалъ:

— Мечка, ты бы шла къ себѣ... семь часовъ... замѣтятъ.

— Еще минуточку.

— Поздно, Мечка.

Тогда она бормочетъ сентиментальную ерунду... потомъ начинаетъ рыдать. Проситъ того, чего просятъ, обыкновенно, всѣ женщины. Передѣлать ее по-своему, повести куда-то, указать на что-то, слить съ жизнью.

Слушай, Мечка, нѣтъ ни новыхъ путей, ни счастья, ни справедливости, ни вѣчности. Понимаешь?

...А она все плачетъ. Ахъ, эта женская погоня за мечтою, безсильный порывъ уйти отъ скучной земли, безплодная вѣра въ несуществующее царство свѣта!.. Сколько муки во имя призрачнаго! Сколько слезъ во имя пустоты!..

Я бы хотѣлъ, чтобы женщина была реальнѣе. Она бы много выиграла.

Повторяю настойчиво:

— Тебѣ пора... ступай, Мечка!..

Чувствуетъ ли она, что это свиданіе послѣднее?

Уходитъ медленно, растерянно.

Раскрываю окно. Холодный осенній вѣтеръ наполняетъ всю комнату.

Въ дверь стучатъ. Моя квартирная хозяйка Клара.

Обыкновенно она меня дичится и не отходитъ отъ рояля. Играетъ хорошо и руки чудесныя. Сегодня ея ея лицо блѣдно и угрюмо. Кладетъ ноты, которыя я принесъ ей.

— Можете искать себѣ новую комнату. Я этого не потерплю.

Улыбаюсь. Чего она не потерпитъ?.

— Дамскихъ визитовъ.

— А!..

Смотрю на нее внимательно. Ея глаза сначала темнѣютъ отъ муки, потомъ заволакиваются слезами. Киваю головой, удовлетворенный. Хорошо! Съѣду завтра. Дѣлаю видъ, что ничего не понимаю.

Она теряется. Лепечетъ невнятно:

— Почему вы такъ жестоки ко мнѣ? Почему?

Во мнѣ просыпается инстинктъ разрушенія. Вспыхиваетъ желаніе бить, рвать, мять, причинить боль, унизить, смѣяться надъ плачемъ.

Черезъ минуту Клара возлѣ меня. Утѣшаю. Говорю тѣ же слова, что и Мечкѣ. Кажется, дразню, волнуемый ея отчаяніемъ.

— А грѣхъ?

Она возмущенно вспыхиваетъ. Вздоръ!.. Вздоръ!.. Нѣтъ грѣха, есть только поступки и такіе, какіе намъ диктуютъ обстоятельства. Ахъ, да она не Мечка... на исповѣдь не побѣжитъ.

Я смѣюсь, а Клара кончаетъ тревожно:

— Только вы не подумайте... я не люблю васъ, я ненавижу.

А я цѣлую ея скорбныя, жаждущія губы.

Ночью я уложилъ свои вещи.

Тихій, бѣленькій городокъ, плачущая Мечка, озлобленная Клара, прощайте!

Я не вернусь.

Четвертое...

Я въ громадномъ городѣ, гдѣ потонулъ, какъ песчинка. У окна отеля. Если смотришь внизъ, то, кажется, что смотришь въ колодезь и люди—совсѣмъ маленькіе. Направо, налѣво, предо мною—крыши. Сѣетъ плотный холодный дождь, а во дворѣ поетъ шарманка. Не знаю ничего грустнѣе бродячихъ музыкантовъ. Ахъ, эти жалобныя простыя пѣсенки старой шарманки! Онѣ мѣшаютъ мнѣ быть равнодушнымъ, навязываютъ свое скорбное, покорное настроеніе.

Бѣдныя, жалкія шарманки, всегда поющія одну и ту же пѣсенку:

— Мы—несчастны, мы—голодны... мы не виноваты въ томъ, что мы несчастны и голодны.

Думаю о своемъ необъятно-глубокомъ одиночествѣ и радуюсь.

Потому что только одинокій—силенъ, только одинокій—свободенъ, только одинокій—счастливъ.

Девятое...

Домъ, гдѣ я остановился, громаденъ и когда спускаютъ жалюзи, похожъ на тюрьму. Люблю старые дома, въ которыхъ тысяча жизней уже разсказала свои сказки. Стѣны ихъ слышали. Дайте имъ рѣчь—онѣ вамъ разскажутъ цѣлые томы. Я преисполненъ уваженія къ ихъ опытности и нѣкоторымъ страхомъ. Быть можетъ онѣ видѣли лишь драмы? Я суевѣренъ. Комната приноситъ счастье или несчастье, смотря по тому, кто жилъ въ ней. Счастливая комната или несчастная? О, это важнѣе цѣны!

Сегодня сосѣдняя дверь была открыта настежь. Что-то толкнуло меня. Конфузясь себя самого, вошелъ. Темно-красныя обои, старинныя гравюры изъ временъ французской революціи. На спинкѣ кресла бѣлое платье. Въ зеркалѣ отражались живыя хризантемы. Пахло духами.

Стоялъ довольный. Ахъ, значитъ, у меня сосѣдка... женщина всегда со мною...

Былъ удивленъ, замѣтивъ томикъ Ады Негри въ польскомъ переводѣ.

Краснымъ карандашомъ размашисто и густо подчеркнуты строфы:

— Nie wracaj daremnie,	(Не возвращайся напрасно, ибо
Bo nienawidzieć chcę ciebie!	хочу тебя ненавидѣть!
Chcę nienawidzieć tak, jakem kochała,	Хочу ненавидѣть такъ, какъ любила,

Za moją młodość strawioną w tęsknocie.	За мою молодость, отравленную тоскою,
Za biedną młodość, co się prożno rwała	За бѣдную молодость, что напрасно рвалась
Ku tobie, ku twej pieszczocie...	Къ тебѣ, къ твоей ласкѣ...)

Ага... Я былъ радъ, что моя сосѣдка—полька.

Перечиталъ эти строфы.

И мнѣ стало жаль чего-то, кого-то. Мечки? Клары? Дѣвушки въ голубомъ?.. Всѣхъ вмѣстѣ.

— Nie wracaj daremnie,	(Не возвращайся напрасно, ибо
Bo nienawidzieć chcę ciebie!	хочу тебя ненавидѣть!)

Ночью, въ городѣ, около озера былъ праздникъ. Стрѣляли. Жгли ракеты. На небѣ кровавое гигантское зарево. Изъ окна видѣлъ, какъ голубыя, красныя, зеленыя звѣзды взлетали высоко-высоко и золотымъ порошкомъ сыпались во влажную тьму.

Сосѣдка не вернулась.

Одиннадцатое...

Бродилъ по саду. Деревья, трава, скамьи темны отъ дождя. Пахнетъ перегноемъ листьевъ. Вездѣ они желтые, бурые, красноватые; падаютъ безучастно на землю. А оставшіеся—зеленые, кажутся уже мертвыми, хотя и зелены. Блѣдное солнце. Весна нравится намъ только въ юности. Осень же остается вѣрной, ибо осень — грусть... грусть же всегда съ нами, до самой могилы.

Изъ правой аллеи шла элегантная дама. Сѣрый шелковый костюмъ. Шляпа à la Рембрандтъ. Вотъ ближе... ближе... тонкое, очень знакомое лицо... Ахъ, какое знакомое!..

Подымаюсь. Кланяюсь.

У нея голосъ и смѣхъ дрожатъ, когда бросаетъ мнѣ: «Здравствуйте!»

Теперь я готовъ упасть въ обморокъ.

Моя *голубая* дѣвушка!

Мелькаетъ Польша... веселый городокъ у рѣки... лѣсъ... незабудки... голубое платье...

«Ты вѣтеръ. Сегодня съ нами, завтра—далеко.... поэтому я люблю тебя!..»

Съ изумленіемъ, ужасомъ, тоскою держу ее за руки. Она здѣсь? Въ Женевѣ? Какъ? Почему?

Отвѣчаетъ шутливо, блѣдная, какъ бумага:

— Вѣтеръ занесъ... Вотъ мы и снова встрѣтились.

Она измѣнилась. Подъ сѣткой вуали подведенное лицо кажется еще худѣе. У нея, однако, все тѣ же глаза. Громадные, синіе, сіяющіе. Теперь только они напоминаютъ эмаль, а не незабудки.

— Гдѣ ты остановилась, Бэля?

Говоритъ адресъ:

— О!—

Это моя квартира. Наши комнаты рядомъ. Рядомъ послѣ столькихъ лѣтъ разлуки. Какъ фантастична жизнь!

Сорвался ненужный вопросъ:

— Что ты дѣлаешь здѣсь, Бэля?

Лѣниво усмѣхается.

— Развѣ не видишь?

Я ждалъ исторіи. Она ничего не сказала. Я былъ благодаренъ.

Въ сущности, кто же не слышалъ шаблонной повѣсти о брошенной дѣвушкѣ?

Восемнадцатое...

Показываю на раскрытый томикъ Ады Негри:

Nié wracaj daremnie,	(Не возвращайся напрасно, ибо
Bo nienawidzieć chcę cibie!	хочу тебя ненавидѣть).

— Бэля, ты думала обо мнѣ?

Уныло качаетъ головой. Да, она думала. Ахъ, если бы она могла ненавидѣть!

Намъ не сидится на мѣстѣ. Цѣлые дни мы на улицѣ. То около Роны, то въ Англійскомъ саду, то катаемся по озеру или въ Лозанну, или дальше... дальше...

Возвращаемся измученные. Бэля никогда не жалуется. Ея горе выше ея пониманія.

Порою жадно разспрашиваетъ о другихъ женщинахъ, безпокойно, болѣзненно ревнуетъ. Забываетъ о своемъ громадномъ преимуществѣ передъ тѣми:

Она несчастнѣе ихъ всѣхъ. Она сгублена навѣки. Сгублена мною.

Всѣхъ ихъ я бы принесъ ей въ жертву, даже тихую Мечку.

Моя голубая дѣвушка!

Всю эту недѣлю Mont-Blanc въ облакахъ.

Двадцать четвертое...

— Бэля, хочешь остаться со мною?

— Нѣтъ.

— Почему?

— Я люблю тебя слишкомъ. И слишкомъ буду страдать.

Она права. Что ей сказать на прощанье?

Молча цѣлую громадные синіе глаза.

Вечеромъ я на пароходѣ.

Вѣтеръ, голубыя волны, одиночество.

«Ты—вѣтеръ. Сегодня—съ нами, завтра—далеко, поэтому я люблю тебя».

Такъ говорила Бэля въ лѣсу,—давно.

Это умерло. Это не воскреснетъ.

Вѣтеръ, голубыя волны, одиночество.

ЛЮЛЯ БЭКЪ.

Она вся вспыхиваетъ отъ негодованія.

— Послушайте, да что же это такое, въ самомъ дѣлѣ? Неужели женщина не можетъ присѣсть на скамью безъ того, чтобы къ ней не лѣзли со всѣхъ сторонъ?

Ну, сидитъ она и плачетъ.

Плачетъ, какъ дурочка. Сидитъ и плачетъ. И никто не смѣетъ запретить. А онъ при чемъ тутъ? Фи! Такой молодой, совсѣмъ юноша. Это отвратительно. Что? Онъ оправдывается? Надѣется ее утѣшить? Господи, Боже мой, въ своемъ ли онъ умѣ?

— Милостивый государь, послѣдній разъ повторяю, уходите отсюда.

— Но...

— Никакихъ но... Уходите! Сейчасъ же уходите!

Юноша покорно подымается. У него очень удрученный видъ. Онъ не похожъ на донъ-Жуана, во всякомъ случаѣ.

— Сударыня, если я ничѣмъ не могу помочь вамъ.

— О, ничѣмъ. Рѣшительно ничѣмъ.

Ея движенія попрежнему нервны. Большой мѣховой муфтой смахиваетъ снѣгъ со скамьи. Она очень увлекается этимъ. Кругомъ роемъ летятъ мохнатыя снѣжинки. Въ городскомъ саду сказочно-красиво. Деревья, кусты, земля серебряные. Заборъ и тропинка занесены.

Глухо и тихо. Тяжелыя вороны качаются на вѣтвяхъ или важно разгуливаютъ тутъ же, въ трехъ шагахъ.

Хорошенькая женщина медленно вскидываетъ разсерженные, заплаканные глаза.

— Какъ? Вы еще не ушли?

Она собирается съ духомъ, чтобы крикнуть. Потомъ внезапно смягчается. Ей немного жаль его.

Бросаетъ надменно:

— Вы, конечно, знаете, кто я?..

Нѣтъ, онъ не знаетъ. И краснѣетъ до ушей.

Она выражаетъ явное изумленіе. На ней очень дорогой костюмъ и вызывающая шляпа. Онъ не наивенъ, но боится строить догадки.

Она говоритъ съ достоинствомъ:

— Я—Люля Бэкъ. Пою въ театрѣ Venus. Вы ничего не слыхали о Люлѣ Бэкъ? Ну, значитъ, вы живете на лунѣ.

Онъ совсѣмъ сконфуженъ. Да, онъ никогда не былъ въ театрѣ Venus.

— А!

Люля пожимаетъ плечами.

— Одѣньте вашу фуражку и садитесь. Вы спрашивали, почему я плачу? Ахъ, мнѣ все надоѣло! Понимаете, *все:* театръ, люди, деньги, ужины, платья, все... Я хочу умереть, сударь... Не можете ли вы достать мнѣ яду?

Хотя у нея ползутъ по щекамъ крупныя слезы, но яркій дѣтскій ротъ уже улыбается.

— Вы очень сильно испугались, когда я разсердилась?

И, не ожидая отвѣта, продолжаетъ:

— Вчера былъ мой бенефисъ. Я давно не имѣла такого успѣха. Сегодня я не могу повернуться въ ком-

натѣ отъ цвѣтовъ и подарковъ. Вотъ я и убѣжала сюда. Сижу и плачу. Это глупо, конечно.

Неожиданно сердится. Чортъ возьми, она не проситъ жалости. И весела она, и счастлива. Просто немного ломается сегодня. Пусть онъ лучше разскажетъ о себѣ. Что онъ дѣлаетъ? Пишетъ стихи? О!..

Люля Бэкъ смотритъ на него во всѣ глаза.

— Значитъ, вы поэтъ, сударь?

— Немного.

Теперь онъ рекомендуется. Его зовутъ Витольдомъ N. Живетъ съ отцомъ и теткой. Недавно вернулся изъ-за границы. Онъ работаетъ еще въ конторѣ, но это скучно. Жизнь не кажется ему радостной, хотя онъ не умѣетъ объяснить, почему. Ему такъ же, какъ и ей, минутами хочется заплакать надъ собою, надъ другими, надъ всѣмъ.

Потомъ Витольдъ N. декламируетъ свою послѣднюю вещицу. Въ ней говорится о розахъ и балконѣ. Это очень мило. По крайней мѣрѣ Люля Бэкъ снова готова заплакать.

— Я ухожу. Прощайте. Я не хочу, чтобы вы меня провожали.

Однако они болтаютъ еще съ полчасика.

Прежде, чѣмъ сѣсть въ сани, Люля протягиваетъ ему маленькую руку и, прикрываясь большой муфтой, лукаво спрашиваетъ:

— А у васъ есть невѣста?

Молодой человѣкъ отвѣчаетъ серьезно:

— Да. Я помолвленъ.

Что-то тухнетъ въ глазахъ пѣвицы. Небрежно киваетъ.

Онъ продолжаетъ стоять все еще безъ шляпы.

Тогда Люля Бэкъ кричитъ ему:

— Приходите завтра въ театръ Venus.

Она ѣдетъ злая, какъ фурія. Пушистый снѣгъ и тишина улицъ наводятъ на нее ужасъ.

Любимица публики, заразительно-веселая Люля Бэкъ тихонько плачетъ.

Боже мой. Боже мой, зачѣмъ она встрѣтила этого глупаго мальчишку!

II.

Люля Бэкъ кладетъ на туалетъ крошечное письмо, пахнущее фіалкой. Пристально смотритъ въ глаза юноши.

— Витольдъ, почему вы ничего не отвѣчаете своей невѣстѣ?

— Потому что я люблю только васъ одну, Люля!

Она блѣднѣетъ.

— Вздоръ... ребячество... если вы повторите это еще разъ, мы больше не увидимся... Ваша невѣста милая, чистая дѣвушка. Она боготворитъ васъ. Неужели вы способны сдѣлать ее несчастной?

Люля Бэкъ задумывается. Представляетъ себѣ блѣдную, грустную дѣвушку, ждущую у окна Витольда. Она знаетъ, что у Марыли гордое сердце. Разбивается, но не отдается во второй разъ. И Люля Бэкъ встряхиваетъ тоску.

Говоритъ быстро, быстро. Пусть Витольдъ оставитъ ее въ покоѣ. Ему незачѣмъ бѣгать за пѣвицей изъ театра Venus. Та... та... безъ возраженій! Она все равно никогда, никогда...

Смѣется. Шуршитъ шелками. Занялась разборкой духовъ въ шкатулкѣ.

— Ахъ, никогда вы мнѣ не нравились, Витекъ...

— Итакъ, вы не любите меня, Люля?

— Ничуть.

— Это ваше послѣднее слово?

— Послѣднее.

Онъ говоритъ съ тихимъ отчаяніемъ.

— Почему?

— Потому что между нами пропасть. Вы—идеалистъ, мечтатель. Вы хотите спасать меня отъ чего-то и вести куда-то. Бредни! Сказки! Вздоръ!.. Люля Бэкъ умѣетъ только пѣть и смѣяться. Уходите.

Когда дверь захлопывается, Люля Бэкъ переходитъ на кушетку. Здѣсь она остается безъ движенія, съ открытыми глазами, всю ночь напролетъ.

Она думаетъ о робкой, чистой дѣвушкѣ, которая пишетъ Витольду наивныя письма, пахнущія фіалкой.

III.

Она вышла пѣть на bis въ девятый разъ, когда Витольдъ N. застрѣлился.

Кругомъ суетились. Кричали, бѣжали, а Люля Бэкъ стояла и улыбалась.

Нѣтъ, она умѣетъ владѣть собою. Что? Кто-то говоритъ, будто она влюблена въ умершаго?

Тогда Люля поетъ.

Девятый разъ.

Теперь ей бурно апплодируютъ. Въ залѣ ей вѣрятъ. Конечно, она не при чемъ тутъ... мало ли кто не пускалъ себѣ пули въ лобъ. Это смѣшно, наконецъ.

Въ уборной ее ждутъ чайныя розы. Отъ покойнаго.

Она страстно цѣлуетъ холодными, поблѣднѣвшими губами влажные лепестки.

— Мой любимый... мой любимый...

Слезы душатъ ее, но въ дверь стучатъ. И Люля Бэкъ выпрямляется.

— Войдите... войдите же, говорятъ вамъ.

Нѣтъ, она не умѣетъ плакать.

IV.

Дня черезъ три Люлѣ приносятъ письмо. Ба, она часто получаетъ письма, однако сегодня блѣднѣетъ и нѣсколько колеблется распечатать. Узкій конвертъ отъ котораго пахнетъ фіалкой.

Читаетъ.

Разъ. Два. Три. И еще. И еще.

Снова читаетъ.

«Умоляю васъ, позвольте мнѣ прійти къ вамъ. Всего на полчаса. Ради покойнаго Витольда N. Мнѣ необходимо переговорить съ вами. Марія.»

Острая ненависть бросается въ голову Люлѣ Бэкъ. «Какъ, эта дѣвчонка думаетъ учинить ей допросъ? Пусть такъ. Хорошо. Пусть явится. Увидимъ.»

На пунцовой бумажкѣ она царапаетъ отвѣтъ. Вся къ услугамъ m-elle. Ждетъ до восьми часовъ. Очень рада служить.

Потомъ мечется въ своемъ кружевномъ пеньюарѣ.

— Салюся, шкатулку съ письмами! Рузя, альбомы! Живо... духомъ...

Горничная ворчитъ. Барыня опрокинула всю мебель.

— Ахъ, ты ничего не понимаешь!.. Ничего не понимаешь!

Люля Бэкъ предвкушаетъ сладость мщенія.

V.

Люля сидѣла у туалета и подводила брови, когда пришла Марыля.

— Здравствуйте. Здравствуйте, — вызывающе засмѣялась Люля, — такъ это вы—невѣста Витольда N. и это вы мнѣ писали?

— Да, я, сударыня.

Люля разочарована. Дѣвушка выглядитъ такой жалкой, простой. Совсѣмъ простой. На ней поношенное платье и ужасная шляпка. О, ужасная!.. Люля умерла бы со стыда, если бы ей пришлось одѣть такую шляпку.

— Садитесь ближе, m-elle. Не бойтесь смять мои тряпки.

Марыля отвѣчаетъ, еле дыша отъ волненія.

— Я бы хотѣла поговорить съ вами наединѣ.

Чортъ возьми, Люля Бэкъ, никого не боится. Притомъ же она любопытна.

— Хорошо. Очень хорошо.

Пѣвица выпроваживаетъ горничную и портниху. Тѣ въ негодованіи. Нѣтъ, уже, пожалуйста, уймите свои нервы. Дайте каплю покоя. Ей нужно торопиться въ театръ? Къ дьяволу... она не крѣпостная... она сейчасъ не поѣдетъ, хотя бы ее оштрафовали на тысячу рублей.

Молчаніе! Довольно!.. Она здѣсь хозяйка...

Теперь въ комнатѣ тихо.

Люля смотритъ пылающими глазами въ усталые, измученные, той, другой. Нечеловѣческимъ усиліемъ воли тушитъ волненіе.

Грудной голосъ Марыли объясняетъ:

— Я пришла къ вамъ, потому что мнѣ сказали... простите мою смѣлость... вы были знакомы съ моимъ женихомъ?

Люля рѣзко перебиваетъ:

— Да, это правда. Была знакома. И что же дальше?

Дѣвушка начинаетъ рыдать.

Люля не выноситъ слезъ. Торопится подать стаканъ воды, и руки въ колючихъ, сверкающихъ кольцахъ дрожатъ, какъ у школьницы.

Внезапно Марыля обнимаетъ ея колѣни.

— Скажите мнѣ... вамъ я повѣрю... скажите, они

вѣдь лгутъ... Витольдъ не любилъ васъ... онъ былъ моимъ женихомъ.... онъ не могъ обманывать меня...

Повторяетъ изступленно:

— Онъ не любилъ васъ?.. Скажите, я вамъ повѣрю... онъ не любилъ васъ? Они лгали... правда, лгали?

Люля Бэкъ колеблется.

Въ ней борются самолюбіе, тоска, ревность, сожалѣніе. Ей стоитъ протянуть руку къ шкатулкамъ... тамъ сотня пламенныхъ писемъ покойнаго, его карточки, бездѣлушки...

Та, вторая, продолжаетъ умолять, прижимаясь къ колѣнямъ.

Люля Бэкъ, эта отчаянная сумасбродка, пѣвичка изъ театра Venus, шепчетъ:

— Успокойтесь... конечно, они лгали... онъ никогда не любилъ меня.

Черезъ полчаса Люля одѣвается. Она опоздала? Ну, и отлично... Чортъ возьми, она не крѣпостная.

Салюся, перчатки!.. Рузя, калоши!..

И уѣзжаетъ пѣть, обливаясь слезами.

ПРІѢЗДЪ РИТЫ.

Пріѣхала Рита къ пяти часамъ вечера.

Встрѣтили ее разно, каждый по-своему.

Мать натянуто улыбалась, пытливо всматривалась и зорко, непріязненно разглядывала старшую дочь. Вся новая, вся чужая. Съ головы до ногъ. Красивая вольная, но чужая. Ушла изъ гнѣзда. Навѣки потеряна. Проснулась старая обида.

Мать сейчасъ же отвернулась, занялась чемоданами.

Сестра Женя разрыдалась, повисла на шеѣ, душила поцѣлуями, измяла все платье. Такая же плакса, какъ и раньше. Такая же моложавая, капризная, пестро одѣтая.

А деверь Николай, блѣдный, смотрѣлъ и молчалъ.

И это молчаніе Рита оцѣнила больше, чѣмъ восклицанія матери и слезы сестры.

Прочла въ глазахъ неизлѣчимую, затаенную муку, восхищеніе, смятеніе и отвѣтила быстрымъ, глубокимъ, полнымъ взглядомъ: «Привѣтъ! Наконецъ-то!»

— Я къ вамъ на цѣлую недѣльку. Наговоримся вдоволь.

— Наговоримся, дочурка,—отвѣтила мать.

Въ голосѣ сухая, угрожающая нота. Непріятно Ритѣ. Ахъ, мама... всегда-то онѣ не ладили, не понимали другъ друга!

Снявъ шляпу, Рита казалась чуточку ниже, еще гибче, еще изящнѣе. Лицо тонкое, невеселое, глаза большіе, внимательные.

Кругомъ суетились, прислуга, мать, сестра, а она сѣла поудобнѣе въ кресло и говоритъ:

— Ѣду теперь на Волгу. Развинтилась я. Въ этомъ сезонѣ пѣть пришлось чуть ли не ежедневно. Устаешь не отъ однѣхъ неудачъ, устаешь часто и отъ успѣха.

— Риточка, я всѣ рецензіи о тебѣ вырѣзала,—кричитъ сестра.

— А я, когда узнала, что ты въ опереткѣ, чуть не рехнулась, — умышленно громко и грубо вставила мать. — Слыханное ли дѣло? Такіе фокусы... срамъ одинъ... замучила ты меня.

Рита подсмѣивалась.

— Да вѣдь я, мама, купеческая дочь... не дворянка...

— То-то и оно-то... купеческая дочь... Тебѣ меня стыдиться нечего, а вотъ я про тебя-то и ротъ открыть боюсь... не пожалѣла сѣдинъ. Зять—писатель, ты—въ опереткѣ. Богъ наказалъ.

Женя испугалась. Подбѣжала, ластится къ сестрѣ.

— Не слушай маму, рыбка, прости... Она вѣдь у насъ особенная... прежняго закала... Не слушай, не перечь...

Рита даже расхохоталась. Ну, вотъ... Конечно, она не обращаетъ вниманія... слава Богу, не дѣвочка. Николай сидѣлъ хмурый, молчаливый. Какъ онъ измѣнился все-таки! Постарѣлъ, опустился. Нѣтъ былого изящества, размаха. И одежда словно помята, и походка не та. Руки прозрачныя, подъ глазами синева.

Тихо оглядѣлась кругомъ.

Комнаты показались меньше, темнѣе, а обстановка мѣщанской до ужаса. Раньше не такъ замѣчала. Те-

перь отвыкла. Неловко. Дико. Вотъ и шкапъ, завѣтный шкапъ, куда еще съ дѣтства прятали лакомства.

Послѣ обѣда мать выдавала сласти лично и всегда норовила дать Ритѣ меньше. Не любила она старшую. Въ покойника отца была дѣвчонка. По деревьямъ лазила, яблоки воровала, играла съ мальчишками. Однажды разозлилась и нарочно облила себѣ руки кипяткомъ. Не то, что Женюся. Та все за юбку матери держалась. Кудлатенькая, чистенькая, пестренькая, въ бантикахъ.

— Купеческая, — съ гордостью хвалила мать, — разсыпчатая будетъ.

Вздохнула Рита. Тяжелое дѣтство, сумбурное. Богъ съ нимъ!..

Сейчасъ вышла на веранду. Жадно дышала полной грудью. Только что прошелъ дождь. Небо сіяетъ. Разбѣгаются тучи. Вездѣ лужи, капли, еле слышный шорохъ. Садъ еще больше запустили. А сколько сирени! Боже мой, цѣлое море сирени!.. Осматриваюсь любовно, долго, и плакать хотѣлось. Ахъ, ничего не возвращается, ничего. Впрочемъ, есть утѣшеніе... все проходитъ, но ничего не забывается.

Вспомнила, какъ томилась въ поѣздѣ и, глядя на бѣгущія влажныя поля, лѣса, мельницы, вздрагивала холодѣющими плечами и шептала: «Скоро... скоро...»

Всему тогда въ домѣ находила оправданіе. Навертывались слезы, хотѣлось броситься на колѣни, умолять простить ихъ общую вину. Все забывалось, — сцена, заграница, тучи поклонниковъ, — отъ себя уйти, опроститься. Хотѣлось именно этой наивной, провинціальной обстановки, пахучей листвы, бѣлаго дѣвичьяго платья, тихихъ шутокъ, церковнаго пѣнія, звѣзднаго неба. Хотѣлось вставать рано, накинуть платочекъ и домовито приготовить завтракъ. Хотѣлось самой отдер-

нуть занавѣси у окна, а Николаю принести простенькихъ цвѣтовъ и выслушать его послѣдній фельетонъ. Ахъ, въ поѣздѣ все казалось такимъ милымъ, такимъ возможнымъ!..

— Маргарита Павловна!

Оглянулась. Въ дверяхъ Николай. Не входитъ.

— Мамаша васъ проситъ.

Милый, какъ ему тяжело!.. Была благодарна, что не подошелъ. Послѣ... послѣ...

Обошла всѣ комнаты со страннымъ лицомъ, не то недоумѣвая, не то радуясь. Даже въ кухню заглянула.

— Здравствуйте, Липа... какимъ вы молодцомъ стали!.. Совсѣмъ невѣста.

Качала головой. Четыре года... только четыре. А какъ все измѣнилось.

Мать ждала въ столовой недовольная, насторожившаяся. Торопила.

— Нѣтъ, ты уже садись, Рита. Ѣшь... Потомъ наговоришься... А гдѣ же Николенька? Коля!.. Николай Петровичъ!

Притворно изумилась, увидя зятя съ фуражкой.

— Какъ, уходишь?

— Я сейчасъ вернусь, мамаша. Загляну въ редакцію.

— Да Христосъ съ тобою! Какая тамъ редакція? Успѣешь.

— Нужно.

Женя разсердилась.

— Ну, и не задерживайте, мамаша. Пусть идетъ. Онъ вѣдь все наперекоръ.

На губахъ Риты снова легкая грустная улыбка. Это хорошо, что онъ уходитъ. Оправится дорогою, соберется съ мыслями. Она нагрянула, какъ снѣгъ на голову. Изумила. Любитъ неожиданности.

Мать и сестра засыпали вопросами: Сколько стоитъ жизнь за границей? Не перейдетъ ли она совсѣмъ въ оперу?

Мать хмурится.

— Можетъ быть бросишь сцену? Ну ее къ шуту? Охота балаганить?

— Не брошу, мама. Лучше жить не буду. Къ огнямъ привыкла.

Смѣется. Пьетъ вино крупными, жадными глотками прямо изъ стакана.

— Уфъ!.. Жажда!.. Что такъ смотришь, Женюся?

Мать всколыхнулась. Зардѣлась. Старая ненависть хмелемъ ударила въ голову.

— Не привыкла твоя сестра, чтобы женщина пила, ровно шансонетка... вотъ и смотритъ... Это все сцена... Будь она проклята! Заплачешь еще, Маргарита... Попомни мое слово...

— Полно, мама, за что вы, въ самомъ дѣлѣ, ѣдите Риту? Только пріѣхала. Дайте вздохнуть человѣку.

Старуха примолкла.

— А когда замужъ выйдешь?—послѣ паузы.

— Не собираюсь пока.

Мать криво усмѣхнулась.

— Что такъ? Неужто страшно?

Рита бросила салфетку. Задумалась.

— Свобода дороже. Сами знаете.

— Нѣтъ. Мы дѣвушками такъ не разсуждали.

— Ахъ, мама!

Вспыхнула ссора. Мать говорила обидныя, несправедливыя слова. Рита не сдерживалась. Еле-еле затихли. Сестра завистливо поглядывала на кольца, платки, ботинки. Сидѣла непокойно, барабанила пальцами. Вотъ бы показать Порфирьевой или Лопатенко.

Лопнули бы отъ злости.

Замѣтила, вздыхая:

— Счастливая ты, Риточка... безпечальное житье...

— Ну, это еще бабушка надвое сказала,—бормотала мать,—ремесло неприглядное.

Нарочно подчеркнула слово «ремесло».

Отъ ничтожныхъ, но колючихъ придирокъ Рита примолкла, нахмурилась. Хотѣлось въ свою очередь раскричаться, затопать ногами... такъ... по-старому... покупеческому...

Съ трудомъ подавила гнѣвъ. Только порозовѣла вся.

Смотрѣла, какъ качается сирень за окномъ. Ждала Николая. Осторожно разспрашивала о немъ. И мать и сестра были имъ недовольны. Плохъ онъ, болѣетъ. Литературная работа идетъ вяло. Вотъ и вѣрь людямъ. Талантъ, талантъ кричали. А какой это талантъ, если онъ еле-еле сто рублей при газетѣ выколачиваетъ. Да и то еще счастье—одна газета въ городѣ, вѣроятно, поэтому и приняли.

Мать хлопочетъ теперь пристроить его въ управу. Надежнѣе.

Рита похолодѣла. Ахъ, милый, несчастный, талантливый Николай! Кажется, взялась бы за голову и билась объ полъ. Что онѣ съ нимъ сдѣлали!.. Что онѣ съ нимъ дѣлаютъ, мѣщанскія, узкія души!

Отъ Николая разговоръ перешелъ къ деньгамъ, родственникамъ, сосѣдямъ. Дрязги, сплетни. Муть одна. Незамѣтно мать начинаетъ горячиться. Кричитъ, что видитъ Риту «насквозь», грозитъ чѣмъ-то. Ссора затягивается. Наконецъ старуха, взволнованная, дрожащая, уходитъ рыться въ ея чемоданъ. Хочетъ посмотрѣть заграничныя да питерскія вещи. Здѣсь такихъ не увидишь.

— Тебѣ скучно у насъ?—заискивающе улыбнулась Женя.

— Душно, мурочка.

Рита подозвала сестру, притянула къ себѣ, въ глаза ласково заглянула. Вѣдь для нея же, для нея, этой сытой, толстенькой блондинки, она когда-то своимъ чувствомъ поступилась.

— А ты довольна, Женюся?

— Э, какое тамъ!..

Сдѣлала капризное, дѣтское лицо.

— Несносный характеръ у Николая... Мечтаетъ все. Думаетъ. Скучный. Не того я ждала, Рита. Мнѣ бы вотъ какъ теперь повеселиться, а я взаперти. Тетки да мама. Ребенка покуда свекровь взяла. Вотъ ты—умница, золото. Ты счастливая...

— О, Господи!

— Ну, еще бы; сцена, платья. Ишь, какіе у тебя ботинки. И по буднямъ ихъ носишь. А мнѣ мамаша не позволяетъ. Николай плохо зарабатываетъ. Тсс! Мамаша зоветъ. Посиди, голубка...

Убѣжала.

Рита прошла въ кабинетъ Николая. Сѣла, задумалась.

Встрѣтила Николая впервые на литературномъ вечерѣ. Читалъ свои стихотворенія. Тонкій, увѣренный, строгій. Имѣлъ шумный успѣхъ. Они какъ-то сразу поняли другъ друга, разгадали въ толпѣ. Познакомились. Полюбили. Молчали. Каждый мучился въ одиночку. Потомъ влюбилась и младшая сестра, плакала, падала въ обморокъ, открылась Ритѣ и матери. Послѣдняя зорко охраняла ея счастье—«съ боя его возьму, да возьму».

И Рита уступила. Безъ словъ уступила. — «Я — сильная, вынесу. Женюся — другое дѣло».

Мать спросила вскользь, хмуро:

— Это твое амурничанье—вздоръ? Пустяшное?

Согласилась апатично:

— Пустяшное.

Страшное было время. Таилась, чутко слѣдила за каждымъ своимъ шагомъ, боялась выдать то глубокое, нѣжное, большое, что зрѣло гдѣ-то тамъ, въ тайникахъ души и приливало теплымъ, яркимъ свѣтомъ къ глазамъ. Можетъ быть оттого, что чувство всегда было закупорено, сжато, стиснуто, оно бродило, какъ молодое вино и вотъ-вотъ, казалось, разорветъ сердце на части.

Отъ младшей сестры скрыли. Николай ходилъ растерянный, понялъ такъ, что Рита не любила и не любитъ. Но лишь бы поближе, лишь бы слышать, знать. Женился. Ну, разстались они. Увидѣлись не скоро. Яблони тогда цвѣли, сирень... въ этомъ же самомъ саду гуляли.... совсѣмъ вечеромъ. Признались. Держались долго за руки. Какъ она плакала! Эхъ, не вернуть, не исправить!

На сценѣ ей везетъ. Примадонной будетъ. Только сама она равнодушна. Жизнь, положимъ, не тяготитъ, а такъ... безъ боли и безъ радости живетъ.

Хлопнула дверь.

Шаги.

Николай вернулся.

Слегка запыхался. Бросилъ разсѣянно:

— А у насъ въ домѣ гроза. Мамаша заперлась съ Женей. Не люблю я, когда онѣ шепчутся. Заговоры устраиваютъ.

Не удивилась. Еле отъ думъ оторвалась.

— Да? Ну, что же... пусть. А мы потолкуемъ. Давно вѣдь не видѣлись.

— Давно.

Сидѣли. Думали. Со стороны чужіе, равнодушные, внутри—родные, близкіе, несчастные.

Рита не выдержала. Подошла первая. Закинула осторожно, нѣжно голову. Гладила волосы, цѣловала усталые, милые, безумно-дорогіе глаза.

— Ахъ, Коля... Коля!

И не могла кончить. Упрекнуть не смѣла, пожалѣть—боялась. Изъ его словъ поняла, что пишетъ онъ черезъ силу, съ отвращеніемъ, жену не уважаетъ. Нравственно разлагается.

И выхода нѣтъ.

Слушала молча, ломала тонкіе пальцы, и въ безвкусной угрюмой комнатѣ казалась еще красивѣе, еще наряднѣе. На плечахъ отливалъ серебристо-сиреневый шелкъ, ломался и шуршалъ въ подолѣ.

Николай слѣдилъ за нею тревожно, тоскливо.

— Рита!

— Что, милый?

— Уѣзжай ты отъ насъ.

— Какъ? Что?

— Уѣзжай, Рита.

— Ну, хорошо... хорошо... Когда же?

— Поскорѣе....

Обнялъ поблѣднѣвшую, замкнувшуюся.

— Ты видишь, какъ настроена мама. Она слѣпо любитъ Женю. Ей чудится Богъ знаетъ что... Будутъ тебѣ однѣ непріятности...

— Да я не боюсь.

— Знаю. А все-таки...

Обѣщала. Уѣдетъ завтра же...

— Скажи только... жаль прошлаго?

— Жаль.

— И не нужно было жертвы?

— Не нужно.

Сейчасъ же ушелъ. Цѣловалъ, какъ передъ смертью.

Рита виноватой походкой скользнула по комнатамъ.

Тихо. Мать попрежнему все съ Женей,—заперлась.

На верандѣ хорошо. Гдѣ-то играетъ музыка. Нѣжный, волнующій, заманчивый вальсъ. Можетъ быть оттого такъ и красивъ, что льется вмѣстѣ съ сиренью? Горятъ еще губы отъ поцѣлуевъ и голова кружится, кружится, кружится... Пьяна горемъ, пьяна лаской, томленіемъ... Чутко слушала. Ходила по мокрымъ дорожкамъ и подола не поднимала. О матери и сестрѣ забыла. Въ комнатахъ огня не зажигали. Долго ли такъ было? Не знала.

— Рита! Рита!

Это Женя зоветъ. Стоитъ на верандѣ. Волосы растрепаны... пуховый платокъ на плечахъ... Видно даже въ сумеркахъ, какъ густо напудрено лицо.

Сразу бухнула:

— Мама мнѣ все разсказала. Понимаешь? Все.

Ждала эффекта. Ничего не получилось.

— Ну, такъ что же?—равнодушно отозвалась Рита.

Смотрѣла не на сестру, а на подолъ... Ай, какая грязь!..

— Все я знаю, — дѣланно-трагически продолжала младшая, возвращаясь въ столовую,—мамаша меня предупредила. Ты, оказывается, хочешь здѣсь интригу завести. По-ни-ма-ю... по-ни-ма-ю... Что теперь будетъ?

— То, что ты ужиномъ меня угостишь. А мамашѣ на старости лѣтъ сны снятся.

— Не смѣй такъ говорить про мамашу. Я тебя ненавижу.

— Ахъ, Женя!

Младшая не слушала. Почти бранилась.

Рита зѣвала, играла столовымъ ножомъ, слѣдила, какъ вились мошки около лампы.

— Скатерть у васъ не свѣжая. Ну, Женя, довольно. Не глупи. Скучно. И Коля скоро придетъ.

— Онъ тебѣ не Коля, а Николай Петровичъ.

— Отлично. Пусть Николай Петровичъ. Такъ вотъ ты его пожалѣй. Слабый онъ.

— А онъ меня жалѣетъ?

— Да, Женечка. И еще какъ. Только ты съ ужиномъ распорядись. Я завтра рано выѣду.

Сестра не удивилась. Поглядѣла сбоку.

— Уѣзжаешь? Ну, какъ хочешь. Мама на тебя сердится.

— Мнѣ безразлично.

— Неужели?

Женя не утерпѣла. Бросила колко:

— Напрасно, во всякомъ случаѣ, ты великодушничала. Дѣвчонка я была. Иванъ, Сергѣй, Николай... для меня всѣ равными казались....

— Да вѣдь прошлое, — усмѣхнулась Рита, — о чемъ толковать? Не вернешь?..

И больше не разговаривали.

Старшая поужинала, молча вышла. Даже не оглянулась. Дверь за собою притворила плотно и тихо. Долго собирала вещи. Ночь напролетъ. Сначала, при свѣчѣ, терялась въ хаосѣ тряпокъ, потомъ, на разсвѣтѣ, уже спокойная, дѣловая.

Утромъ была нарядна, любезно-холодна. Словно стѣной огорожена.

Мать выглядѣла виноватой, пряталась за самоваръ. Николай домой еще не возвращался.

У Жени—розовое, свѣжее, хотя и надутое личико.

Рита замѣтила ласково, апатично:

— Какая ты моложавая, Женя. Ничего на тебѣ не отражается. Просто дѣвочка лѣтъ семнадцати и только...

— Ну, положимъ,—пробомотала та.

А сестра уже забыла о томъ, что сказала. Думала о дорогѣ... о будущемъ... Снова была сильна и равнодушна.

ЛЮБОВЬ.

Янина духомъ вбѣжала по лѣстницѣ. Рѣзко звонила. Ей открыла немолодая раздраженная прислуга. Іезусъ-Марія, гдѣ барыня пропадала столько времени... Она не знаетъ, что готовить на третье.

— Какой чудесный день, Франка... Какой воздухъ сегодня.

Она охотно вѣритъ, только у плиты не очень-то думаешь о воздухѣ. Изъ порядочныхъ людей никого не было, а барышня съ перваго этажа прилетѣла. Безъ дѣла, какъ всегда, однако сидитъ.

Янина смѣялась. Золотистыя прядки спускались на щеки.

Здравствуй, Тони!.. Это такъ мило, что она здѣсь...

Тони гибко потянулась. Красное платьице зашуршало. Она нѣсколько разъ, безъ всякой причины, тряхнула черной головкой. Изъ-за уха выпалъ бумажный желтый бульденежъ.

— Я снова воевала съ Франкой, — спокойно заявила она, водворяя цвѣтокъ на абажуръ лампы.

Всякій разъ, какъ Тони приходила сюда, она снимала бульденежи, малиновый и желтый. Она втыкала ихъ за уши и, распѣвая глупыя пѣсенки, гримасничала передъ зеркаломъ. У нея была еще одна привычка: бросаться плашмя на диванъ и болтать ногами, показывая

чулки едва не до колѣна. Тони была единственной дочерью красивой дамы, занимавшей весь первый этажъ и жившей очень свободно. Тамъ не переводились гости и не смолкала музыка.

— Я была сейчасъ у тетки, — сказала Янина, — весь садъ въ бѣлой сирени... Нѣтъ, право же, можно съ ума сойти отъ восторга.

Тони снова потянулась. Ахъ, теперь влюбиться, ахъ!..

Янина сконфузилась.

По обыкновенію, платье Тони неприлично завернулось и ноги болтались. Она пристально разглядывала Янину.

— Ты сейчасъ красива, какъ солнышко...

Неужели?... Янина ушла въ комнату Свентецкаго. Убирали здѣсь утромъ, нигдѣ ни пылинки.

Однако она еще разъ перетрогала каждую бездѣлушку. Смотрѣла долго и нѣжно на портретъ Леона Свентецкаго. Онъ не очень удачно вышелъ, но все-таки это былъ онъ. Слезы любви и восторга выступили у нея на глазахъ. И она не трогалась съ мѣста. Около чернильницы лежалъ длинный изящный конвертъ. Янина уже знала почеркъ. Отъ дамы, которую Леонъ называетъ: «Моя бывшая жена». Сердце Янины сжалось. На мигъ представила себѣ эту комнату разоренную, опустѣвшую... Свентецкій скоро уѣдетъ.

И, тоскуя, она пожалѣла о тѣхъ минутахъ, когда сидѣла въ саду, очарованная запахомъ сирени, травы, деревьевъ, и глядѣла въ голубое небо.

«Барынѣ нечего торчать въ комнатѣ квартиранта, — думала Франка, поджимая губы, — если она и теперь не скажетъ, что готовить на третье, я не напомню ей, сохрани Боже».

Тони скучала за книгой. Поглядывала то въ зеркало, то на бульденежи. Этотъ желтый такъ шелъ ей... не заняться ли имъ снова? Потомъ задумалась о Яни-

нѣ, которую обожала. Ясно, та влюблена въ Свентецкаго. Почему она не выберетъ Тони посредницей? Зачѣмъ она притворяется? Вѣдь если всѣ окружающіе слѣпы, то она, Тони, зрячая.

— Янина, — крикнула она наконецъ, — мама просила въ среду... на чай... съ условіемъ, что ты не станешь отбивать у нея поклонниковъ.

— У-у, безстыдница!—возмутилась у плиты Франка.

Тони хохотала, какъ безумная. Милая, чудная, золотая мамочка, но она—кокетка, ей-Богу, кокетка! Янина не имѣла духа разсердиться.

— Ну, до свиданья, — вскочила наконецъ Тони.

Франка съ сердцемъ закрыла за нею дверь. Впрочемъ, сейчасъ же пришлось отворять... звонили...

Оказалось, старая Пшелковская. Въ отсутствіе сына почтенная дама ежедневно навѣщала невѣстку. Она находила, что здѣсь все черезчуръ уже дурно.

Сейчасъ она заглянула въ кухню, не снимая шляпы и не выпуская зонтика.

— У васъ готовится слишкомъ мало перваго и слишкомъ много второго,—твердо сказала она.

— Да, мама, — согласилась Янина.

И зачѣмъ это Франка носитъ бѣлые фартуки у плиты, когда есть цвѣтные? Франка зашипѣла, какъ масло на сковородѣ. Она служитъ не первый годъ и никогда другихъ передниковъ, кромѣ бѣлыхъ, не надѣвала. Онѣ жарко спорили.

— Ахъ, мама!—безпомощно восклицала Янина.—Да уймись же, Франка!

Пшелковская согласилась выпить чашечку кофе. На обѣдъ она не останется, но кофе... съ удовольствіемъ.

Что-то безконечно - скучное, назойливое, какъ запахъ нафталина, распространялось отъ ея фигуры, лица, го-

лоса, платья. Она заговорила о сынѣ. Тотъ имѣлъ обыкновеніе писать матери, а не женѣ.

Таинственно сообщала о немъ различный вздоръ. Ему, по ея словамъ, приходилось много страдать.

Почему и отчего, старуха умалчивала. Янина представила кругленькую, самовлюбленную особу адвоката Пшелковскаго, своего мужа, и улыбнулась. Онъ уѣхалъ въ Н—скъ на защиту.

Потомъ она снова думала о веснѣ, сирени, своихъ двадцати трехъ годахъ и темныхъ глазахъ Леона Свентецкаго. Это хорошо, что другіе не могутъ читать нашихъ мыслей.

— Была ли ты на мессѣ? — въ десятый разъ спрашивала свекровь.

Франка открыла дверь Леону Свентецкому.

Пшелковская кисло отвѣтила на его вѣжливый поклонъ. Онъ не внушалъ ей довѣрія, ce garçon-là... (такъ она мысленно выразилась).

Онъ стоялъ красивый, стройный и весело глядѣлъ на женщинъ.

— Вы еще долго пробудете въ нашемъ городѣ?— спросила старая дама.

— Нѣтъ, мои дѣла приходятъ къ концу...—улыбнулся Свентецкій.

— О... я спрашиваю это потому... на вашу комнату уже есть жилецъ....

Пшелковская нашла, что очень больно уколола квартиранта.

Потомъ она величественно удалилась.

— Я опоздалъ? — мягко спросилъ Свентецкій.

Нѣтъ, онъ не опоздалъ... нѣтъ...

Янина старалась подавить дрожь голоса. Ея глаза сіяли.

Эвелина Мирская, мать Тони, устраивала у себя еженедѣльныя вечеринки. Къ ней являлись разряженныя дамы, подавалось чудесное угощеніе, кто-нибудь аккомпанировалъ на роялѣ, а Мирская пѣла. Она любила итальянскія трудныя аріи и при этомъ становилась въ очень изящную позу. Она была такая веселая, общительная, прелестная, пани Эвелина. Ею всѣ восторгались. Кто зналъ ея прошлое? Никто. Да и кому какое дѣло въ сущности?

Мирская обожала дочь и обращалась съ нею какъ съ подругой. Тони позволяла себѣ порою невозможныя выходки.

Такъ было и сегодня. Она вдругъ заявила громко:

— Мамуся, не кокетничай съ m-eur Леономъ.

Дамы пришли въ ужасъ, но мать хохотала отъ души. Смѣхъ у нея былъ звонкій и чистый.

— Почему, Тони?

— Я не хочу, мамуся.

Вся молодежь дразнила Тони. Устроили танцы. Мирская отъ удовольствія захлопала въ ладоши. Она радовалась, какъ ребенокъ. Тони ураганомъ помчалась отодвигать мебель. Зигмунтъ N... нацѣпилъ красный бантъ и распоряжался. Охъ, что это была за сумятица!..

Свентецкій разыскалъ Янину. Она сидѣла въ глубокой задумчивости. Онъ заговорилъ о своемъ близкомъ отъѣздѣ, разстроенный телеграммой изъ дому.

— Ваша жена тоскуетъ? — съ усиліемъ спросила Янина.

Свентецкій разсказывалъ о женѣ нѣсколько принужденно. Что дѣлать, онъ не виноватъ, если не любитъ... дѣтей нѣтъ... интересы разные... они — чужіе другъ другу...

— Мнѣ будетъ тяжело безъ васъ, — замѣтила Янина. Она была очень блѣдна.

Ей хотѣлось сказать ему... сказать ему.. она ужаснулась той бури, которая поднялась въ ней.

Свентецкій восхищался Мирской. Рѣшительно онъ не встрѣчалъ еще такой изумительной, обаятельной женщины. Да, она умѣла жить... не то, что наши робкія мѣщаночки...

Янина растерянно оглянулась на свое прошлое. Ее воспитывала тетка. Уединеніе. Строгая набожность. Потомъ она вышла замужъ. Два раза они ѣздили въ Варшаву. Теперь мужъ былъ поглощенъ дѣлами, полдня проводилъ въ судѣ, а полдня съ матерью. Янину онъ считалъ ребенкомъ. Вотъ и все. Да, все. Больше она ничего не испытала. Когда же въ ихъ городъ пріѣхалъ Свентецкій, ей показалось, міръ перевернулся.

Она боялась думать дальше.

— Танцуютъ вальсъ, — пробормотала она и встала.

Свентецкій слѣдилъ за Мирской. Пани Эвелина смѣялась съ молодымъ офицеромъ, стоя у двери и обмахиваясь страусовымъ вѣеромъ. Розовый шелкъ подымался на ея груди.

Франка собралась въ гости. Она заслуживала отдыха, безъ сомнѣнія. Она съ сердцемъ одѣвалась. Это потому, что ее все-таки мучила совѣсть передъ барыней. Уходя, она извинилась, если опоздаетъ. Янина была одна въ цѣлой квартирѣ. Она долго машинально бродила по комнатамъ.

Потомъ остановилась и смотрѣла на улицу. Съ утра моросилъ дождь. Пусто, грязно и скучно! Она взялась за книгу и читала, не понимая ни строчки. Потомъ заплакала. И плакала долго, тихо, не всхлипывая, покуда совсѣмъ не стемнѣло.

Вдругъ, щелкнулъ замокъ, хлопнула дверь. Вернулся Свентецкій. Онъ скоро прошелъ къ Янинѣ и стоялъ совсѣмъ близко.

— Вы, плакали, Янина?

Она кусала себѣ губы, отворачивалась и не могла найти платка. Слезы лились у нея градомъ. Его лицо было смертельно-устало.

— Боже мой, какъ все это грустно, — наконецъ сказалъ онъ.—Я любилъ многихъ женщинъ, Янина, люблю и теперь... Мирскую... вы угадали.. и вмѣстѣ съ нею мнѣ страшно нравится Тони... Вы понимаете что-нибудь?.. Нѣтъ?.. Я тоже очень мало... Къ вамъ же, Янина, у меня совсѣмъ особенное чувство... Оно только для васъ... Но вамъ нужно забыть меня, потому что я не могу дать счастья даже на день...

Янина протянула къ нему руки, какъ бы защищаясь. Она вся задыхалась отъ муки... Эта ласковая жестокость мужчины!.. Эта ласковая жестокость!..

Свентецкій прошепталъ съ отчаяніемъ:

— Если бы вы знали, какъ я утомилъ самъ себя.

Старая Пшелковская волновалась. Она была недовольна невѣсткой. Милостиво разговорилась съ Франкой на эту тему. Служанка многозначительно качала головой. Да, чего уже тутъ хорошаго, если баринъ въ отлучкѣ, а квартирантъ—молодой. Впрочемъ, она не хочетъ сказать ничего дурного... Пшелковская важно подарила рубль Франкѣ и, не прощаясь съ невѣсткой, ушла.

Янина осталась у чайнаго стола. Ей не приходило въ голову убрать посуду. Своими прозрачными, тонкими руками она сжимала голову.

Потомъ вымыла стаканы, составила ихъ въ буфетъ и прилегла на кушетку. Издали ея лицо казалось восковымъ,—такъ исказило его страданіе.

Франка подсматривала въ щелочку. Сердце Іисуса, смилуйся надъ нами!.. Барыня не кончитъ добромъ, если будетъ такъ убиваться. Хорошъ и баринъ! Уѣхалъ по дѣламъ и забылъ жену. Хороша и свекровь!.. Небось, рубль дала не безъ мысли. Хорошъ и квартирантъ! Чего еще ему нужно? Она, Франка, кажется не врагъ имъ обоимъ.

Она заварила себѣ кофе.

Леонъ вернулся домой съ Тони. Они принесли въ складкахъ платья свѣжесть весенней ночи, на лицахъ же особенное, безпричинное, радостное возбужденіе.

Янина перекидывалась незначительными фразами съ Леономъ. Тони мечтательно задумалась. Нѣтъ, ей не повезло этой весною, она ни въ кого не влюбилась, и это, чортъ знаетъ, какъ скучно...

Въ гостиной стихло.

Франку жгло любопытство.

Наконецъ должна же она слѣдить за барыней, разъ ей дали рубль. Это было бы не честно. И она прильнула къ двери. Глазамъ ея представилось слѣдующее: Барыни въ гостиной не было. Тони, эта порочная дѣвчонка, стояла передъ Свентецкимъ въ самой кокетливой позѣ. За ухомъ у нея уже торчалъ бумажный желтый бульденежъ. И она говорила нараспѣвъ:

— M-eur Леонъ, вы влюблены въ мою мамочку... и это дурно, увѣряю васъ.

Святой Іосифъ!.. Какой глупый видъ имѣлъ Свентецкій... Потомъ онъ опомнился, насмѣшливо поклонился и отвѣтилъ тѣмъ же тономъ:

— M-elle Тони, вы большая фантазерка... И это стыдно, увѣряю васъ....

А она продолжала качаться на носкахъ,—Тони.

— M-eur Леонъ, я все понимаю...

— M-elle Тони, я ничего не понимаю...

— M-eur Леонъ, я васъ ненавижу.

— M-elle Тони, я васъ люблю.

Франка остолбенѣла. Не барыня, а барышня разводила здѣсь мерзость...

Франка отошла отъ двери съ большимъ достоинствомъ. Ея губы рѣшительно сжались. Завтра она отдастъ крестницѣ рубль, подаренный старой Пшелковской.

Выносили чемоданы Свентецкаго. Янина прислонилась къ стѣнкѣ. Огромная усталость гирями висѣла на рукахъ и ногахъ. Тони чему-то нервно смѣялась.

Свентецкій церемонно поцѣловалъ руку Янины. Совѣтовалъ беречь себя, желалъ счастья и просилъ передать поклонъ мужу. Тони дергала его за пальто, и ему пришлось обернуться.

— А я вамъ желаю... я вамъ желаю...—плела она ерунду, заслоняя Янину.

Франка громко пробурчала, что можно было бы обойтись безъ фокусовъ. Она и Тони провожали Свентецкаго.

Янина прошла въ столовую. Она тяжело, прерывисто дышала, словно поднималась на гору. Это оттого, что здѣсь въ груди... здѣсь въ груди. И она сѣла.

Франка и Тони вернулись.

— Проводили? — улыбнулась Янина.

Тони всю передернуло отъ ея улыбки. Франка уносила самоваръ. Пусть бы барыня написала табличку о сдачѣ комнаты... времени терять нечего.

На другой день долженъ былъ пріѣхать Пшелковскій изъ Н—ска. Франка яростно чистила всю квар-

тиру. Совсѣмъ поздно старая Пшелковская принесла тортъ dèlice и усѣлась ожидать сына. Въ гостиной было совсѣмъ тихо. Янина медленно ходила взадъ и впередъ. Длинный подолъ ея чернаго платья цѣплялся за мебель.

«Это несносно... точно маятникъ», мысленно негодовала старая дама.

Франка сняла послѣднюю пылинку въ кухнѣ и усѣлась на стулъ. Она дремала, полуоткрывъ ротъ.

Около одиннадцати часовъ вечера пріѣхалъ Пшелковскій. Всѣ три женщины отворяли ему дверь.

— Матушка, какъ я счастливъ! — сказалъ онъ патетически.

Мать повела его переодѣваться, а Янина осталась здѣсь. Она чувствовала невообразимую пустоту. Франка вносила закуски. Ахъ, какое счастье когда баринъ дома! Теперь все благополучно. Пшелковскій ѣлъ много, но еще больше говорилъ. Его бритое, полное, самовлюбленное лицо горѣло.

Потомъ, вдругъ круто обрывая разговоръ, онъ положилъ ножъ на тарелку и заявилъ торжественнымъ тономъ:

— Я прошу васъ не пугаться... мнѣ очень тяжело васъ разстраивать, но... я очень радъ, что это я, а не кто другой сообщаетъ вамъ печальную новость... Я очень радъ, что я пріѣхалъ... нашъ квартирантъ Леонъ Свентецкій бросился подъ поѣздъ.

ДВѢ.

Я женился рано. Я женился не потому что любилъ слабую, покорную, наивную дѣвушку, а желая угодить моему отцу. Онъ требовалъ этого. Я отъ него зависѣлъ. Я боялся его. Я былъ ко всѣмъ безразличенъ, самъ по себѣ скученъ, холоденъ, примитивенъ. И я женился. Я думалъ, конечно, только о себѣ, не о ней.

Ее звали красиво, не по-русски—Ада. Я смотрѣлъ на нее съ недовѣріемъ, какъ на новую прислугу. Мы зажили безбѣдно, но замкнуто. Я напрасно выразился «мы». У насъ не было ничего общаго.

Я служилъ, игралъ въ карты, посѣщалъ театры и женщинъ, а дома молчалъ. Жена занималась хозяйствомъ, рукодѣльничала и читала. Чаще всего современныхъ поэтовъ. Помню, она обожала хрупкаго, нѣжнаго Гофмана. Она произносила стихи вслухъ. Я считалъ это манерностью и высмѣивалъ ее. Попрежнему, я не могъ рѣшить люблю ли я жену или наоборотъ. Я зналъ, что у нея тонкое, блѣдное лицо, пепельные волосы, очень синіе, странно-внимательные глаза, зналъ всѣ ея интимныя привычки, фасонъ ея юбокъ и бѣлья, но я не зналъ ни одной ея мысли, ни одного желанія, ни ея грусти, ни радостей. Я не понималъ ея. Затруднялся бы сказать, хорошая она или дурная. Мы рѣдко говорили.

Когда я притягивалъ ее къ себѣ, обнималъ, ласкалъ, пытался зажечь гибкое, молчаливо-протестующее тѣло, я читалъ въ лицѣ жены страхъ. Животный, нѣмой, смертельный страхъ. Это оскорбляло меня, какъ мужчину, возмущало, злило, внушало грубыя, скверныя мысли. Я осыпалъ ее упреками, мучилъ унизительными вопросами и радовался, если она страдала. Иногда она доводила меня до изступленія своимъ терпѣніемъ, и я билъ ее.

Она никогда не кричала, не плакала, не защищалась. Она только падала такъ, чтобы закрыть лицо, и масса, цѣлая густая масса пепельныхъ волосъ отрезвляла меня. Я начиналъ дрожать и просить прощенія. Я трогалъ мягкія, пушистыя пряди и говорилъ почти нѣжно:

— Какіе у тебя красивые волосы, Ада... Боже мой, какіе у тебя чудесные волосы!

И опять таки я ничего не могъ прочитать въ ея глазахъ. Ея душа закрылась для меня навѣки.

Въ тѣ годы острыхъ, затяжныхъ ссоръ я далъ ей паспортъ въ тайной надеждѣ, что она уйдетъ отъ меня. Но она не уходила. Была такая слабая, неприспособленная къ жизни. Она производила впечатлѣніе больной тяжкимъ внутреннимъ недугомъ. Не даромъ у нея были такіе спокойные, внимательные, покорные глаза Она словно примирилась съ худшимъ, а лучшаго не ждала.

Отецъ мой умеръ. Мы получили кое-какое наслѣдство, оставили уѣздный городокъ и переѣхали въ большой, шумный, южный.

Ничто не измѣнилось, кромѣ внѣшнихъ условій. Я тосковалъ. Я находилъ нашу жизнь безобразной, ненормальной. И я ничего не дѣлалъ, чтобы измѣнить ее. Я привязался къ улицѣ, ресторану, и опять таки— женщинѣ. Я любилъ не только движеніе, шумъ, блескъ

витринъ и café, но также скверы, кабачки, ночныя встрѣчи. Я бродилъ мрачный и озлобленный, искренно считая себя несчастнымъ. Я интересовался тѣмъ, что меня не касалось, а близкое, родное существо трогало меня столько же, сколько парикмахерская кукла.

Мое отношеніе къ женщинѣ было не совсѣмъ обычно. По темпераменту я холоденъ и брезгливъ. Женщина рождала во мнѣ дурное чувство: смѣсь застѣнчивости, гадливости и вмѣстѣ неудержимое любопытство. Я не желалъ ихъ, но мучилъ, унижалъ и заглядывалъ въ ихъ души. Странно, онѣ не понимали меня. Онѣ подходили ко мнѣ съ полнымъ довѣріемъ.

Впрочемъ, потомъ женщина отомстила мнѣ. Она заставила думать о себѣ иначе.

Это случилось осенью. Такъ неожиданно случилось.

Я стоялъ у окна и смотрѣлъ на улицу. Непогодилось. Небо темное, бурное. Голыя верхушки деревьевъ кланялись угрюмымъ домамъ часто и низко. Опавшіе листья крутилъ и гналъ вѣтеръ. Зябли стѣны, панели, фонари. Одинокими и безпріютными казались люди.

Я думалъ, что къ вечеру польетъ дождь и что я задохнусь отъ скуки въ этотъ праздничный вечеръ. Нѣтъ, лучше пойти и побродить

У насъ было тихо. Прислугу отпустили. Ада забилась на диванчикъ. Оттуда она прямо смотрѣла на меня. И отъ внимательнаго, глубокаго взгляда мнѣ становилось неловко.

Читала слабо, вполголоса изъ Гофмана:

...Мракъ и ненастье. И безучастье.
Въ грудь безнадежность впилась.
Хочется счастья. Какъ же безъ счастья?
Надо же счастья хоть разъ...

Послѣднее звучало такъ наивно! Я слушалъ и испытывалъ непріятное ощущеніе. Словно у меня болѣли

зубы. Почему эта женщина стала моей женой? Что ей нужно? О чемъ она думаетъ? Чего она хочетъ? И зачѣмъ она выбрала и говоритъ такія глупыя, жалкія слова глупаго, жалкаго стихотворенія?

Хочется счастья. Какъ же безъ счастья?
Надо же счастья хоть разъ...

Подумаешь, въ самомъ дѣлѣ.

И насмѣшливо я спросилъ ее:

— А ты счастлива, Ада?

— Не знаю.

— Но все-таки думаешь о счастьѣ?—допытывался я.

Отвѣтила не скоро, колеблясь:

— Да, конечно.

Я съ интересомъ поглядѣлъ на нее. Можетъ быть она мечтаетъ даже?.. О, да, оказалось и мечты. О чемъ же, позвольте спросить?

Ада молчала.

Потомъ рѣшительно и живо вскочила. Заговорила, жестикулируя, съ нотами той же недоумѣвающей наивности.

— Ахъ, понимаешь, я бы хотѣла быть богатой, красивой, блестящей. Я бы хотѣла имѣть кучу платьевъ... Ахъ, тридцать... сорокъ... пятьдесятъ платьевъ... бѣлыхъ, голубыхъ, розовыхъ... всѣ дорогія, всѣ съ трэнами, кружевами... мнѣ такъ идутъ воздушныя матеріи! Потомъ я бы хотѣла имѣть длинный каракулевый жакетъ... Знаешь? И круглую шапочку съ султаномъ... и большую, большую муфту...

Это дитя задыхалось отъ восторга. Она подошла ко мнѣ ближе. Ея глаза просто сіяли. Она нѣжно и довѣрчиво коснулась моихъ плечъ. Я никогда не видѣлъ ее такою. Любопытство боролось во мнѣ съ раздра-

женіемъ. Старое, недужное раздраженіе: осадокъ собственной несправедливости.

Я былъ виноватъ передъ этой женщиной, и я ненавидѣлъ ее за это же.

Ада продолжала:

— Ты не можешь себѣ представить, какъ много значитъ туалетъ для женщины... *все*. Слышишь? Все. О, тогда я бы нравилась. А потомъ улица. Я бы гуляла цѣлый день, цѣлый день каталась бы. Я бы и обѣдала въ ресторанѣ, и приходила бы по вечерамъ туда... Электричество, лакеи, дамы... О!.. О!..

Неожиданно она воскликнула съ болью, съ тоскою, съ раздирающей безнадежностью въ голосѣ:

— И тогда меня полюбилъ бы кто-нибудь! О, непремѣнно, непремѣнно полюбилъ! Я была бы нужна кому-нибудь, меня бы ждали, ревновали, хотѣли... обо мнѣ бы думали... Боже мой, Боже мой, какое счастье! Какой восторгъ!

Я глядѣлъ на нее съ негодованіемъ и даже отодвинулся:

— Ты врожденная кокотка!—холодно сказалъ я.

— А!

Испуганная, она съежилась, потухла и полѣзла снова на диванъ.

Что-то оборвалось между нами окончательно... рухнуло... обломки, пыль, зіяющая бездна...

Позднѣе я вспомнилъ это ощущеніе.

Лицо Ады было блѣдно. Мнѣ захотѣлось извиниться, но я сдержался.

Я уронилъ, умышленно зѣвая:

— Пойду побродить. Вернусь не скоро.

— Хорошо,—отвѣтила она.

Тихо, совсѣмъ тихо.

И я ушелъ.

На улицѣ было холоднѣе, чѣмъ казалось изъ окна. Я шелъ безъ цѣли. Неясная тревога мучила меня. Когда стройная, тонкая женщина поравнялась со мною, а потомъ обогнала, я обрадовался. Я пустился за нею крупнымъ шагомъ и кашлялъ. Я зналъ ее. Я часто встрѣчалъ ее въ городскомъ саду на музыкѣ.

Однажды она появилась тамъ въ модномъ, спутанномъ платьѣ и при электричествѣ казалась обнаженной. Прозрачная матерія на трико. Тогда же мнѣ сообщили ея профессію и имя.

Фанни Б.

Сейчасъ она остановилась у витрины. Вѣтеръ рвалъ ея юбку. Ей приходилось крѣпко держать свою громодную элегантную шляпу. Я нерѣшительно поклонился. Отвѣтила быстро, привѣтливо, сверкнувъ темными, подведенными глазами.

Мы обмѣнялись ракопожатіями.

Узкая, тонкая рука въ плѣну холодной перчатки, виноватая улыбка неестественно-алыхъ губъ, матовая блѣдность напудреннаго лица.

Она не была красивой, но очень стильной.

И когда смотрѣла, то чудилось, будто она пьетъ душу.

Вѣтеръ свирѣпствовалъ. Фанни бормотала, возясь со шляпой:

— Брр... проклятая осень!.. Въ такой точно вечеръ я бросила мужа... былъ такой же вѣтеръ и такія же пустыя улицы... Да... И я такъ же сильно бѣжала. Охъ!

Я переспросилъ, озадаченный неожиданнымъ признаніемъ:

— Мужа?.. Развѣ ты была замужемъ?

— Ну, конечно. Наизаконнѣйшимъ образомъ.

Хохотала.

Я замѣтилъ, что здѣсь нѣтъ ничего смѣшного.

Согласилась.

— Да, но много грустнаго, котикъ. Онъ былъ угрюмъ и золъ... или молчалъ, или сердился, или уходилъ къ другимъ женщинамъ... А я его любила. Право. И ревновала, какъ идіотка.

— Это и видно,—недружелюбно, иронически поглядѣлъ я,—не даромъ отъ любви пошла на улицу...

Фанни передернула плечомъ.

— Ахъ, перегорѣло!.. Развѣ я святая? А я была тогда глупая, совсѣмъ глупая. Я мечтала о платьяхъ, ресторанахъ, лихачахъ... хотѣла нравиться... хотѣла, чтобы меня любили тоже... Что ты скажешь, милый?

— О!

Меня пронизала ледяная дрожь. Это совпаденіе ея словъ со словами моей жены испугало меня.

Странная тревога росла во мнѣ.

Мнѣ хотѣлось вернуться домой. Я боязливо смотрѣлъ на женщину, которая устало уменьшала шаги, и она казалась мнѣ таинственной, загадочной, посланной какъ возмездіе.

Ея голосъ жалобно пѣлъ сквозь порывы вѣтра. И я чутко слушалъ его.

— Мы, женщины, такъ одиноки... Вы напрасно думаете, будто мы можемъ жить безъ любви. Ахъ, нѣтъ!.. Если бы меня любилъ кто-нибудь, развѣ я стала бы такою... Ну, вотъ... онъ... мужъ... онъ не замѣчалъ меня... Я болталась въ его домѣ какъ вещь... я никогда не интересовала его... А мнѣ такъ хотѣлось любви! Каплю любви. Когда мы уже пали и лежимъ въ грязи, вы приходите спасать насъ, но когда мы только клонимся, вы никогда насъ не поддержите... потомъ поздно... Да что тамъ!..

Она не угомонилась и дома.

Принялась грѣть чай, а сама все бормочетъ траурныя, безнадежныя слова, и ея губы дрожали.

— Если бы онъ былъ немного человѣчнѣе... если бы не эта брань, не это грязное подозрѣніе... Я чувствовала себя всегда безконечно униженной... онъ приписывалъ мнѣ мысли, какія я не имѣла... Понимаете? Онъ говорилъ мнѣ: «Ты—проститутка, ты—дрянь... ты кончишь подъ заборомъ... ты будешь торговать мочеными яблоками...» Вы подумайте только... морозъ, вѣтеръ, ведро съ мочеными яблоками и я... Сердце во мнѣ замирало, когда онъ говорилъ это... И такъ вбивалъ въ голову, вбивалъ... словно молоткомъ. Я уже никогда не могла забыть... И я примирилась съ тѣмъ, что я дрянь... я стала дрянью... Да... Ты мнѣ вѣришь?

Фанни смѣялась. Ея рѣсницы вздрагивали отъ слезъ.

Я испытывалъ нудное, тоскливое чувство. Безъ сомнѣнія, между *этой* и моей женой существовала какая-то тонкая общность. Та же надломленная улыбка, слабость плечъ и рукъ, спокойная внимательность глазъ. Я испугался. Липкій страхъ, ужасъ, предчувствіе горя душили меня. Дѣйствительность превратилась въ кошмаръ. Мнѣ казалось—нѣтъ Фанни, а моя жена послѣ долгой разлуки говоритъ со мною.

— Вотъ въ такіе вечера жутко,—созналась Фанни,— я еще не совсѣмъ привыкла, хотя вотъ третій годъ... Да... я все жду чего-то... Смѣшно... Мнѣ кажется, это временно... придутъ, возьмутъ, уведутъ... я уйду далеко-далеко и уже не вернусь. Ахъ, какъ я ненавижу жизнь! Какъ я ненавижу эту необходимость двигаться, говорить, ѣсть, пить!

Я поднялся. Я въ корректныхъ выраженіяхъ благодарилъ ее и не менѣе корректно расплатился.

Она стояла предо мною съ неопредѣленной улыбкой.

— Прости... я измучила тебя.

Провожала до лѣстницы.

Шелъ дождь. Тротуары, верхи экипажей блестѣли. У пѣшеходовъ были напряженныя, иззябшія лица. Мнѣ казалось, я схожу съ ума. Безпричинная тревога гнала меня домой. Я не зналъ, почему, не зналъ. Я не искалъ отвѣта. Я хотѣлъ одного... быть дома и увидѣть жену.

Я долго звонилъ, забывъ, что прислуга отпущена и ключъ у меня въ карманѣ.

Ко мнѣ никто не вышелъ.

Наконецъ я вспомнилъ о ключѣ.

Я входилъ уже увѣренный въ несчастіи.

Окно въ гостиной почему-то раскрыли. Вѣтеръ гулялъ по комнатѣ. Было тихо, холодно и темно. Почему *она* раскрыла окно? Уже не хотѣла ли она передъ тѣмъ броситься внизъ?

Ады не было.

Она бѣжала.

Я зналъ, на что и куда.

И я дрожалъ, какъ въ ознобѣ, и не догадывался закрыть окно или зажечь электричество.

Я оставался въ темнотѣ.

CARTES POSTALES.

ГОРЕ.

Такъ странно было: вчера все темное, мокрое, зябнущее, а сегодня бѣлое, нѣжное, трогательное въ своей недолговѣчности. Вѣдь снѣгъ снова растетъ... Это первый снѣгъ...

Ада смотрѣла на улицу, забывая рукодѣліе. Ныло сердце. Послѣ безсонной ночи въ головѣ пустота, неясность. Безпокойно ждала мать. Ее позвали къ нижнимъ квартирантамъ. Еще на разсвѣтѣ тамъ суетились, передвигали мебель, хлопали дверьми. Неужели получена телеграмма?

Однако не вздрогнула, не закрыла лицо руками, какъ дѣлала это позавчера, третьяго дня. Будь, что будетъ. Даже нѣтъ, просто не было мыслей. Ледъ, холодъ въ душѣ.

Мысленно перенеслась въ нижній этажъ. Тамъ три комнаты. Нарядныя, уютныя, съ цвѣтами и роялемъ. Двѣ женщины, сестры. Красивыя, глупыя, лѣнивыя. Встаютъ поздно, ѣдятъ цѣлый день, сплетничаютъ. Сплетничаютъ съ восторгомъ, захлебываясь, разгораясь, сплетничаютъ виртуозно. Носятъ пышныя, безвкусныя платья, любятъ романы, оперетку, и когда проходитъ мимо оконъ мужчина, провожаютъ его любопытнымъ взглядомъ. Высказываютъ предположенія, смѣются. Зубы ровные, хищные, ротъ такой спокойный, чувствен-

ный, безъ единой складки горечи. Вечеромъ сестры уѣзжаютъ куда-нибудь, чаще въ гости, а вернувшись, засыпаютъ спокойно и не видятъ сновъ. А если и увидятъ, то больше насчетъ съѣдобнаго. «Я сегодня малину ѣла»,—«А мнѣ тортъ Ивановъ поднесъ». Такъ живутъ въ нижнемъ этажѣ двѣ женщины; но есть еще третій человѣкъ, къ нимъ причастный, имъ близкій, хотя теперь онъ далеко. Человѣкъ этотъ—мужъ старшей сестры, адвокатъ Плещеевъ, и работаетъ онъ бѣшено, не по силамъ, чтобы два милыхъ созданія спали крѣпко, безъ сновъ. Теперь заболѣлъ. Тяжко. Можетъ быть, не встанетъ. Заболѣлъ въ столицѣ, тамъ и слегъ, но къ нему не ѣдутъ ни жена, ни свояченица, такъ какъ есть телеграфъ и русское словечко:—«обойдется».

И объ этомъ человѣкѣ, одинокомъ, больномъ, несчастномъ думала Ада. И думы были тревожны, пугливы, мучительны.

Вспоминала...

Короткія, рѣдкія встрѣчи. Съ его стороны сухія, вѣжливыя фразы, усталый взглядъ... скользнули раза два участливыя ноты, но такъ... еле замѣтно. Возможно, ихъ совсѣмъ не было. Просто почудилось. Съ ея стороны — молчаливое, тайное обожаніе. Въ груди трепетало, рвалось и несмѣло молило что-то необъятно большое, яркое, выстраданное, и гасло безъ отвѣта. Ему ничего не сказала. Да и что сказать? Любитъ?.. Ну, да, да, любитъ безумно, отчаянно, любитъ до боли, но вѣдь чужого, несвободнаго. Другой отданъ, и та, другая, дороже для него всего на свѣтѣ.

Жалости попросить? Быть можетъ и попросила бы, если бы вѣрила, что откликнется. Утѣшалась: «Живу въ одномъ городѣ, дышу однимъ воздухомъ, вижу, слышу... это ли не счастье?» Сама не была избалова-

на. Жизнь устроилась нудно, скучно. Въ дѣтствѣ суровый отчимъ, гнетъ матери, потомъ гувернантство, наконецъ замужество. Мать теперь, попрежнему, всѣмъ распоряжается, мужъ поглощенъ службой. И когда пришла любовь, несчастливая, но яркая, покорилась ей съ восторгомъ. А въ томъ, что была тайна, молчаніе, мука и безнадежность, находила свою жуткую радость.

Потомъ онъ уѣхалъ въ столицу. Начала ждать. Вотъ такъ садилась къ окну, вышивала или вязала и ждала: «Черезъ три мѣсяца вернется». И чувствовала себя дѣвушкой. Когда же онъ заболѣлъ—не повѣрила. Не могла повѣрить. Придумывала тысячу предлоговъ приходить къ его женѣ, даже по нѣскольку разъ въ день. Узнавала каждую мелочь, блѣднѣла до губъ при видѣ почтальона, не ѣла, не пила, не замѣчала ничего окружающаго. И только не плакала. Молчала. Но въ конецъ, смерть, не вѣрила. И дни тянулись годами.

Хлопнула дверь на парадномъ. Мать вернулась. Слышно, какъ взволнованно распоряжается.

— Глаша... завтракъ готовьте скорѣе... сейчасъ квартирантки придутъ.

Ада замерла. И знаетъ—горе, и не знаетъ. Къ сердцу прилило что-то жуткое, темное, страшное. Засосало. Боль такая, что крикнуть хочется.

И знаетъ—горе, и не знаетъ.

— Несчастье, Адочка... Плещеевъ скончался.

Дочь взглянула на старческое озабоченное лицо прямо, не дрогнувъ.

— Умеръ?

— Да, ночью... Сейчасъ Лидія Петровна на вокзалъ ѣдетъ... Телеграмму на разсвѣтѣ получили... шумъ-то подняли... Это онѣ укладывались...

— Телеграмму получили?

— Ахъ, Боже мой, ну, да... какая ты безтолковая, Ада... Онѣ у насъ сейчасъ кофе напьются... имъ вѣдь бѣдняжкамъ не до того... Вотъ горе-то!..

Суетилась.

Ада молчала. Къ рукодѣлью склонилась. Лица не видно.

Чистую скатерть постлали, новый сервизъ. Побѣжала Глаша за масломъ и сухарями.

Мать кидала сѣрыя, приторныя слова. Всѣ люди смертны... ничего не подѣлаешь... смиряться нужно... вонъ Адочка иногда капризничаетъ, а стрясись бѣда...

— Ты отчего зеленая сидишь? Мигрень?

— Да, мама....

— Ты будь съ Лидіей Петровной поласковѣе... вдова теперь... У нея доброе сердце....

Въ ушахъ Ады шумъ... всю качаетъ. Сонъ или явь? Гдѣ же она, въ самомъ дѣлѣ? Ахъ, да, въ столовой, за рукодѣльемъ... Только бы не зарыдать... только бы не крикнуть...

Онъ умеръ... умеръ... Т.-е. какъ умеръ? Да нѣтъ его, нѣтъ въ цѣломъ мірѣ.. нигдѣ не отыщешь... никогда...

— Ада, я думаю, для завтрака достаточно... кофе, сыръ, масло... Или закуски раскупорить?

— Не знаю.

Мать разсердилась.

— Да тебя, положимъ, не спрашивай.. ничего не знаешь... Чужая.

Правда. Вотъ это правда. Здѣсь она чужая.

Звонокъ. Глаша метнулась. За нею старая барыня. Она очень растрогана.

Ада поднялась. Упаду?.. Нельзя падать. Нѣтъ, не упаду.

Вдова пришла.

Его вдова.

Она одна имѣетъ право кричать, биться, рыдать—ее никто не осудитъ. Только одна она.

Лидія Петровна заплакана, напудрена. Свѣжее платье, свѣжая прическа. Не забыла подушиться. Сестра грустна. Еще въ свѣтломъ. Темнаго нѣтъ.

— Ада Николаевна!

Обнялись. У вдовы мелкія слезинки. Кого жаль? Себя, покойнаго?

— Боже мой, такое несчастіе... ужасно! — стонетъ сестра.

Ада бормочетъ что-то невнятное. Ея мать вытираетъ глаза. Вдова плачетъ нѣсколько минутъ. Сморкается, кашляетъ. Боится, что ей будетъ нехорошо въ поѣздѣ.

Сѣли къ столу. Глаша вошла—ушла. Лицо почтительно-скорбное. Дамы, кромѣ Ады, говорятъ вполголоса. Словно покойникъ здѣсь, въ домѣ. Разсказываютъ подробности его смерти. Воспаленіе легкихъ. Если бы не переутомленіе, истощеніе, возможно, поднялся бы.

Телеграмму вторично прочли.

— Я совсѣмъ голову потеряла,—шепчетъ Лидія Петровна,—я на ногахъ не стою.

По ея словамъ, имъ придется жить въ Петербургѣ.

Послали разсыльнаго взять билеты и отправить багажъ.

Ада смотритъ на нихъ. Онъ умеръ въ полночь. Что было съ ней въ полночь?

Ничего особеннаго. Вернулась изъ оперы. Мужъ шутилъ... просилъ волосы заплести въ косу...

— Ты на Маргариту похожа.—Потомъ ласкалъ... Охъ, пошлость, гнусность, бездна!..

И не болѣло сердце?.. Не болѣло.

— Адочка, очнись, — говоритъ мать, — Лидія Петровна спрашиваетъ.

Что спрашиваетъ? Отвѣтила наудачу.

Наконецъ сестры поднялись. Снова вдова слегка плакала, снова мать Ады утѣшала.

— Никто, какъ Богъ... все въ рукахъ Божьихъ...

Въ передней Лидія Петровна добавила:

— Тетя Маша хочетъ вѣнокъ прислать, а я совѣтую къ веснѣ... тогда и памятникъ уже будетъ.

Мать провожаетъ на лѣстницу. Ада возвращается.

Кругомъ все такъ просто, обычно... Недопитый кофе, бѣлая скатерть, крошки...

Тикаютъ часы.

А за окномъ снѣгъ.

ОЙ, БѢДА!..

И вчера, и сегодня идетъ густой, обильный снѣгъ. Окна квартирки станціонной сторожихи оттаяли и видно, какъ медленно ползетъ широкая киргизская кошевка.

Потаповна ворчитъ, вынимая третью порцію горячихъ шанекъ. Въ сущности, она сердится не на жарко дышащую печь, кастрюли и тѣсто, которыя приняли уже для нея значеніе одушевленныхъ предметовъ, а на то, что вчера выпила лишнее у Аксиньи-сосѣдки.

«Никакъ самъ нечистый попуталъ,—размышляетъ Потаповна, отодвигая мутное варево,—только она-то, Аксинья, въѣдливая... инда табѣ въ душу лѣзетъ... выпей да выпей... не помрешь... Знамо, не умру-то, да голова шибко трескается... И что подѣлалось вчерась? Съ какихъ такихъ радостевъ пила-то? Не спроста вѣдь... Ну, пусть позоветъ нонѣ, али когда... Нѣтъ, шалишь... Митькой звали... Не пойду».

Въ двери стучатся. Нетерпѣливо, задорно. Черезъ минуту врывается бѣлое облачко пара.

Прибѣгаетъ жена другого сторожа, молодая, русая, полная. Звенятъ бусы, качаются серьги.

Запыхалась, перепугана.

— Пошто, Федотовна, ни свѣтъ, ни заря къ людямъ лѣзешь,—сердится хозяйка,—хворая я нонѣ... Шибко неможется.

— Ой, бѣда, баушка, ой, бѣда!

— Ступай, мила... У меня-то двери цальный день говорятъ... Мало васъ, холода напустила... страсть.

— Да ты, баушка, поди, не слыхала ничаво...

— Чего слыхать-то? Люди безъ меня, я безъ нихъ...

Федотовна руками всплескиваетъ.

— Батюшки-свѣты!.. Родименькіе! Да докторъ Аксиньѣ десять цалковыхъ подарилъ... Вотъ-те Христосъ правда... ой, бѣда!

— О!.. О?..

Потаповна растерялась. На шаньки не глядитъ... пусть горятъ, анаѳемскія...

— Десять рублевъ подарилъ?.. Святители небесные... угодники Божьи... Когда было-то, мила?

— Вчерася по утру. Семенъ сказывалъ. Пришла Аксинья въ пріемный-то покой... акушерка чтой-то кликала. И докторъ тама. Глянулъ на Ксеню, смѣется: «Ты, красавица, что бѣлье не несешь?»—«Да, гритъ, баринъ, не готово... ужо вечеромъ прибѣгу». Шустрая она-то, каналья, зна, какъ его зацѣпить... Баринъ молодой, пыльной-то... вразъ его ударило... которая бы глаза не подняла, а она хохочетъ... И докторъ за нею... «На, гритъ, умница на орѣхи... пощелкаешь». И далъ... десять рублевъ... Понимай, какъ хошь... Люди зидѣли... вотъ, баушка... Вчерася Аксинья пироги пекла... водки купила... озорница, пра... Не знашъ рази?

— Ой, знамъ, хороша моя, знамъ... Съ нею выпиватъ Лукьяновна... мнѣ и поглянулось... охъ, пойду, котору одну-двѣ выпью. Онѣ больше для фарта, а я для здоровья, мила... спину-то не разогнуть. Да не ладно вышло...

Федотовна принимаетъ таинственный видъ. Шепчетъ и на дверь смотритъ.

— Она къ тебѣ думать итти-ть.. обѣдать хотитъ, Потаповна... сказывала сама, какъ воду носила... То-

пить печь, гритъ, не буду... мужъ уѣхалъ, меня баушка накормитъ... Безстыжая! Отъ роду родовъ мы такихъ не видывали. У насъ въ Сибири нѣтъ такихъ, поди... Рассейская она...

— Не пушшу ее обѣдать... вотъ те Христосъ, не пушшу...—крестится, негодуя, Потаповна,—мужняя жена, вѣдь... стряпать у себя должна... съ умомъ ли баба?.. Въ чужой дворъ ѣсъ ходить.. вотъ грѣхъ-то.

Молодая сторожиха жалуется распѣвно:

— Просила я у ей тѣста подъ субботу... хотится колобокъ хозяину спечь... Не дала. Я стыдить почала: «Пошто скупишься-то, Аксюта... словно дѣвку выдаешь. А она сыпетъ: «Убирайся, гритъ, у меня севодни стериха...» Ишь-то... рассейская болѣсть, значитъ... Докторъ призналъ, родимая... будто порченная она, али што... какъ закатится, значитъ, инда мы всѣ страху наберемся... И плачетъ, и хохочетъ... потомъ биться зачнетъ... Боязно. Неврòвая.

— Ахъ, язви его! Хомутàя,—изумляется Потаповна.

Сосѣдка вздыхаетъ, облизывая губы.

— Горе, пра, горе, баушка. Откедова она сама? Аксинья-то?.. Изъ Рассеи, сказывала, давно... третій годочекъ...

— Почему знамъ-то?—качаетъ головой старуха.—Толи у дядьки жила, то ли у снохи, повседова съ мужемъ ссорилась... Бѣдненькая да голубенькая... не въ ладахъ они были, мила. Таперя ёнъ сюды ее приволокъ... выписалъ... она и пляшетъ... Признавалась, быдто ее братовья выгнали еще дитёмъ... Не глянится она намъ-то, Аксинья, шибко не глянится. Гордится, во-какъ... мяса́ нагуляла... Досада инда подкотитъ... Тутъ одно знамъ, шушаешься, шушаешься, цальный день на ногахъ... охнуть времичка нѣтъ... А она ѣсъ и пьетъ. Сказывали мы: «Пошто, Аксюта, дурно съ мужемъ жи-

вешь?» Рукою машетъ: «Ну, ево... Развѣ ёнъ, лѣшій, хозяинъ? Робкій, лѣнивый... не люблю такихъ... Мнѣ сила нужна, коли своей нѣтъ».—«Ой», баимъ, «мотри, Аксинья; выгонитъ ёнъ-то тебя, озорницу... Табѣ къ тридцати подходитъ... бабій вѣкъ... куды пойдешь-то?» Смѣется, непутёвая... «Степь широка, милыя, мѣста много... кличатъ меня киргизы... на лошадяхъ буду ѣздить...» Да какъ затянетъ пѣснь:

Ой, снѣгъ да пороша,
Моя милая хороша!..

Вотъ-те Христосъ, Пречистая Матерь!.. Тутъ мы ее бранить, срамить начали. Дѣвоньки кричатъ, мужики бить хотѣли... Кабы не ямщикъ изъ Покровки—плохо было бы... Испужалась я до смерти. Убёгла Аксинья. Три дня не ночевала здѣся... серчала... Озорная да бѣшенная... страсть...

— Ой, бѣда!

Задумались сосѣдки, пригорюнились.

На улицѣ метель. Избъ не видно. Бѣло, пусто, уныло. Киргизъ гонитъ крохотныхъ мохнатыхъ лошадокъ и кричитъ протяжное «ю!»

Федотовна соображаетъ, играя бусами:

— Баушка, а, баушка!.. Таперя, што хошъ дѣлашъ, деньгу-то не воротить доктору.

— Не воротить, мила, не воротить... А Ксеня какъ?

— Да ничего... ровно и не получала...

Пауза. Вздохъ.

— Ой, бѣда... Итти-ть къ сосѣду... Сказыватъ...

— Иди, мила... Ужо запихамъ борщъ и прибягу, поди.

Въ избѣ теперь тихо. Шаньки пригорѣли, а Потаповна шепчетъ, перевязывая платокъ на головѣ:

— Ой, бѣда, родимые... вотъ бѣда-то, православные!

ОДИНЪ ДЕНЬ.

Вѣтеръ рвалъ голубыя афиши у входа въ театръ. Я постояла здѣсь и прочла, что идетъ у насъ—«Веселая смерть» Евреинова съ участіемъ Гузиковой. Значитъ, она выздоровѣла?.. Сердце мое забилось. Я ненавижу эту женщину больше, чѣмъ люблю ея мужа. Вѣтеръ буквально сносилъ меня съ ногъ. Солнце рѣзало глаза. Слишкомъ длинная и старая моя юбка промокла снизу. А входить въ театръ мнѣ все не хотѣлось.

Меня окликнули. Федоровъ. Бездарный актеръ, но самый симпатичный въ труппѣ.

— Отчего вы не пріѣхали вчера въ «Московскую?»— спросилъ онъ, здороваясь.

Носъ у него покраснѣлъ и волосы вылѣзли изъ-подъ шляпы.

— А что тамъ было? — полюбопытствовала я, зная отвѣтъ

— Да ничего. Эрдманъ угощалъ ужиномъ. Долго засидѣлись. Гузикова пѣла шансонетки. Потомъ не хотѣли платить по счету. Поскандальничали. Вотъ и все.

— Ага! Ну, значитъ, все обстоитъ благополучно?

— Какъ видите

Онъ открылъ дверь и пришлось войти. Сначала я поздоровалась съ кассиршей.

— Ну, что билеты?.. Идутъ? — спросила я, хотя мнѣ было безразлично.

— Ничего, идутъ, — процѣдила она.

Дальше комикъ разговаривалъ съ Гузиковой. Она была пестро, нарядно одѣта и курила. Сѣрые красивые глаза враждебно встрѣтились съ моими. Мы еле-еле поклонились.

Я отдала старый жакетъ служителю. Буфетчикъ и завѣдующій вѣшалкой шептались о чемъ-то.

Въ дамской комнатѣ голоса женской прислуги. Сверху слышится рояль.—Тамъ репетируютъ. Комикъ доказывалъ, что кабарэ не можетъ существовать въ глуши.

— Мѣстная публика любитъ драму, оперу, лекціи,— горячился онъ, — а мы — кабарэ... «Веселая смерть»... «Страница романа»... Да не нужно имъ этого... не нужно!..

— Слышали, Петя... брось... — крикнули ему, — раздражаетъ...

Я пошла за кулисы, боясь спросить гдѣ Гузиковъ. Режиссеръ Эрдманъ ругался съ механикомъ. Воротъ его тужурки былъ поднятъ, рыжеватые длинные волосы растрепаны. Онъ крѣпко поцѣловалъ мою руку.

— Охъ, солнечная Регина!

Отпустилъ механика, сѣлъ на табуретку и раскачивался. Его громадные водянистые, невеселые и нахальные глаза загорѣлись.

— Ну, что же, рыбка, когда мы поѣдемъ ужинать? А?

Я отрѣзала умышленно грубо:

— Послѣ дождика въ четвергъ... дожидайтесь... вотъ такъ взяла и поѣхала.

Онъ расхохотался, потомъ зѣвнулъ и потянулся.

— Д-да... такія-то дѣла... Со временемъ вы меня поймете и оцѣните... Дьявольская вы женщина, неумолимая женщина, глупая женщина... Вѣдь все ваше достояніе хорошенькая мордочка... и только... да... какъ

актриса же вы ничего не стоите... Нужно всегда говорить правду...

Я молчала и думала о Гузиковѣ. Эрдманъ угадалъ мои мысли.

— Михаилъ Сергѣевичъ васъ спрашивалъ, — хмуро пробормоталъ онъ,—кажется, хочетъ учинить вамъ допросъ, гдѣ была вчера его жена... она сболтнула что-то... не знаю... была съ нами въ «Московской»... Чудакъ... Если жена распутничаетъ, съ нею нужно поступать двоякимъ образомъ: или убить, или выгнать... середины нѣтъ.

У меня кружилась голова. Еще немного, и я бы заплакала.

— Вы дадите мнѣ два рубля?—попросила я нерѣшительно.

— Хорошо. Возьмите. Это только вамъ. Дѣла наши отвратительны. Впрочемъ, кто пойдетъ въ этотъ сарай, чортъ возьми!

Дѣйствительно, театрикъ имѣлъ жалкій видъ. Мы всѣ ненавидѣли его отъ души. Ненавидѣли также и другъ друга, а еще больше ту грубую, жестокую публику, которая поднимала шумъ во время представленія, зѣвала, кашляла, критиковала и ругалась въ фойэ.

Эрдманъ неожиданно спросилъ меня, когда я поступила на сцену. Я отвѣтила, что второй годъ. Разсказала о внезапной смерти мамы въ Ростовѣ. Теперь я совсѣмъ одна-одинешенька. Это не произвело на него ни малѣйшаго впечатлѣнія.

— У васъ непріятная фамилія... неудобная... Александровичъ... Нина Александровичъ... Нѣтъ, это безвкусно, голубушка, — проговорилъ онъ наконецъ и ушелъ.

Я потолкалась еще съ полчаса. Потомъ кассирша

дала мнѣ два рубля. Я слышала, какъ Эрдманъ, жалуясь на матеріальные убытки, сказалъ:

— Господа, многіе изъ нашихъ товарищей питаются чаемъ.

Всѣ пожимали плечами. Не новость!.. Хочешь, самъ раскошеливайся!

Когда я пришла къ себѣ въ меблированныя комнаты—было половина четвертаго. Номеръ я занимала узкій, темный. По ночамъ здѣсь бѣгали мыши. Я до ужаса боялась мышей. Я разогрѣвала вчерашній супъ на керосинкѣ и безсмысленно смотрѣла въ окно. Падали тяжелыя сизыя капли. Журчала вода по трубамъ. Снѣгъ стаялъ мѣстами съ угля, сваленнаго около флигеля. Напоминало шахматную доску. Blanc et noir.

Послѣ супа я ѣла моченыя яблоки съ хлѣбомъ и скупо, медленно плакала, глядя на свои прозрачныя, блѣдныя руки. Я размышляла о томъ, что мое положеніе становится критическимъ. Износилось бѣлье, разорвались ботинки, не было ничего изъ весенняго платья. Нищета разбивала меня. Я слабѣла, опускалась и приходила въ тупое отчаяніе.

При мамѣ жилось нѣсколько лучше. Правда, мама имѣла деньги не за работу, но... Господь съ нею, такъ было предопредѣлено. Да, я знаю, я чувствую, я вѣрю—предопредѣлено. Благодаря же мамѣ я толкнулась на сцену, гдѣ—чужая. Господь съ нею, повторяю. Это тоже суждено, конечно.

Желая отогнать мрачныя мысли, я легла и пыталась задремать, но пришла горничная.

— Барышня, васъ просятъ въ номеръ девятнадцатый.

— Хорошо. Сейчасъ, скажите.

Я начала перечесываться. Номеръ девятнадцатый занималъ журналистъ Рудовъ. Считался богатымъ жильцомъ, получалъ множество писемъ и къ нему часто приходили дамы. Былъ онъ круглый, бѣлокурый, лысый, очень чисто выбритъ и очень элегантно одѣтъ.

Я знала, чего онъ хочетъ отъ меня и заранѣе привыкала къ этой мысли. А то, что *это* въ концѣ концовъ случится, я тоже знала. Я не боролась. Я давно перестала жалѣть себя. Что-то умерло, сломалось во мнѣ, и никакая казуистика въ мірѣ не могла вернуть мнѣ самоуваженія.

Сегодня Рудовъ встрѣтилъ особенно шумно. Какъ всегда воскликнулъ:

— Почему вы меня избѣгаете? Почему вы не приходите?

— Я съ чужими скучная.

— Милочка, да развѣ я чужой.

— Всѣ для меня чужіе.

Онъ суетился съ чаемъ, вытаскивалъ конфеты, печенье, а я внимательно разсматривала каждую бездѣлушку. Мнѣ здѣсь нравилось. Было тепло, уютно. Обои, портьеры, коверъ—красное. Дорогія гравюры. Въ узкихъ бокалахъ—цвѣты. Къ его окнамъ прилетали голуби, разгуливали по уступу. Прилетѣли и теперь. На панели блестѣлъ тончайшій слой льда. Закатные огни, розовато-желтые блики во всемъ и на небѣ. Какъ далеко и безстрастно небо! Что же? Пусть... Я ощутила обычную раздвоенность. Одна Нина сидѣла, пила чай, слушала и отвѣчала, а другая ушла отъ себя, отъ журналиста и отъ настоящаго.

Рудовъ разспрашивалъ о театрѣ. Мнѣ было противно даже говорить о немъ.

— А вы пробовали еще что-нибудь, кромѣ сцены?

— Пробовала.

— Что именно?

— Была бонной... продавщицей... кассиршей... въ фотографіи служила.

— Ну, и?..

Я зѣвнула.

— Ну, и ничего не вышло.

Онъ началъ весело, вкусно смѣяться. А я смотрѣла въ окно, за которымъ уже падали сумерки. Я такъ устала. Великій Боже, такъ безгранично, полно, нечеловѣчески устала!

У меня ничего не было въ головѣ и груди, кромѣ усталости. Ни мысли, ни желанія, ни озлобленія,—ничего.

Рудовъ чистилъ яблоко, качая головой. Потомъ заговорилъ интимнымъ тономъ:

— Ваши дѣла плохи, голубка?

— Къ сожалѣнію.

— Думаете ли вы о будущемъ?

— Нѣтъ, я ничего не думаю.

— Гм!.. Вамъ нужны деньги?

— Еще бы!

— Тогда возьмите у меня... Я—вашъ другъ.

Я нѣсколько минутъ разглядывала круглый выбритый раздвоенный подбородокъ. Рудовъ не былъ ни лучше, ни хуже тѣхъ мужчинъ, которымъ я уже принадлежала. Какъ и тѣ, другіе, за деньги требовали извѣстныхъ процентовъ. Но кто же даетъ деньги даромъ?

Смѣшно. И почему бы ему жалѣть меня? Вдвое смѣшно.

— Благодарю. Я возьму.

Онъ вздохнулъ и самъ началъ мыть стаканы.

— Послушайте, вы вѣдь прехорошенькая... отчего бы вамъ не выйти замужъ?

Я расхохоталась. Это было черезчуръ нелѣпо и забавно. И главное — потому, что говорилъ онъ, Рудовъ, имѣющій на меня весьма опредѣленныя цѣли. Но я боялась обидѣть его.

Поэтому я спросила блѣдно:

— Значитъ, я вамъ нравлюсь?

— Дорогая...

Тогда я отвернулась. Продольное большое зеркало таинственно отражало меня и часть комнаты. Зеркала всегда таинственны. Рыжеватые волосы, темные глаза, свѣтлое платье. Показалась слабой, чужой, странной. Послала себѣ самой нѣмой привѣтъ. Крѣпись!

И стало жалко чего-то, жалко до слезъ. Вѣчная Голгоѳа—Голгоѳа безъ воскресенія. Да за что же?

Да почему же такъ?

Журналистъ вдругъ опустился предо мною на колѣни. Грузно, некрасиво. Уловила одно только слово—«полюбите». Ахъ, это убогое, обокраденное, ничтожное слово... хотѣлось зѣвать, ежиться... И опять-таки не возмущеніе, не самозащита, а чудовищная усталость во всемъ тѣлѣ.

— Поймите,—бормоталъ онъ,—вы чудная, нездѣшняя, особенная... вы маленькая принцесса...

Охъ... эта ложь тяжелѣе оскорбленія. Маленькая принцесса, которую купятъ за десять рублей... Я отвела его руки съ таліи.

— Осторожнѣе... тутъ булавка... еще уколитесь...

Не знаю, зачѣмъ, собственно, я пришла вечеромъ на спекталь. Развѣ убить время. Сама не участвовала. Сборъ былъ до смѣшного малъ,—одни контрамарочники. Я сидѣла въ уборной. Мнѣ доставляло жуткое, мучительное до сладострастія удовольствіе смотрѣть, какъ

гримируется Гузикова. Она медленно разсказывала какой-то циничный анекдотъ. Яркая нижняя юбка, тонкая, нарядная рубашка, голыя напудренныя плечи. Я физически ощущаю свою ненависть къ ней. Ненавижу за холодный развратъ, за холодное веселье, за холодное, сытое лицо, за растяжной говоръ, за все, Господи... Она поправляла чулки такъ, что видно панталоны. Меня затошнило. Я вышла и останавилась за кулисами. Я не знала, что дѣлать съ собою.

Эрдманъ кинулъ мнѣ мимоходомъ:

— Солнечная Регина, не томитесь здѣсь напрасно... Гузиковъ въ буфетѣ...

Я пожала плечами и спустилась внизъ.

Дѣйствительно, Гузиковъ закусывалъ. Онъ былъ чуточку пьянъ и очень блѣденъ. Мои милые, родные, измученные глаза! Я долго смотрѣла на него. Спектакль кончится, его жену увезутъ ужинать, а онъ будетъ ревновать, мучиться и унижаться.

— Михаилъ Сергѣевичъ,—сказала я,—проводите меня домой.

Онъ, балаганя, согласился. Говорилъ мнѣ какіе-то дурашливые комплименты.

И потомъ мы ушли.

Лакеи смотрѣли вслѣдъ намъ. Ночь была темная, сырая. Вѣтеръ свирѣпствовалъ, какъ и утромъ. Онъ взялъ меня подъ руку, а самъ придерживалъ шляпу. Мы чуть-чуть толкали другъ друга и молчали. Любовь томила меня. Можетъ быть нужно было пожаловаться?.. Нужно было сказать, что я люблю его до смерти?.. Я не умѣла. Я не знала.

— Какъ-то странно и больно мнѣ жить безъ тебя...— напѣвалъ Гузиковъ.

На поворотѣ онъ, вдругъ, быстро и внезапно распрощался. Онъ торопился обратно, въ театръ. Едва ли

онъ соображалъ, что оставляетъ меня одну, на дорогѣ. Я и тутъ ничего не сказала. Я дошла до дому, никого не встрѣтивъ.

Въ постели жестко, холодно. Думы вереницей, думы. Какія слабыя руки... Кому нужны онѣ?

Какіе странные сны... Кому разсказать ихъ?.. Какія нѣжныя, ласковыя слова... Кому шепнуть ихъ?

И тоска безъ границъ, безъ—предѣла, мертвая тоска.

ВЕРБОЧКИ.

Валя сидитъ въ креслицѣ одѣтый во все новое. Даже башмачки новые. Очень красивые, желтенькіе. Онъ съ гордостью шевелитъ ими подъ одѣяломъ. Укутанъ, потому что форточка открыта. Это хилый, слабый, рахитичный ребенокъ. Ножки искривлены. Ходитъ онъ неувѣренно, шатаясь. Чаще лежитъ и мечтаетъ. По сердцу стелятся дымчатыя, безгрѣшныя, свѣтлыя мысли, вышиваютъ узоры, ткутъ неизвѣстные, таинственные цвѣты. Изрѣдка откроетъ голубые тихіе глаза, оглянется, позоветъ. Никто не откликнется—онъ снова дремлетъ.

Сегодня Валя настроенъ по-праздничному. Сестра обѣщала принести вербочекъ. Какихъ вербочекъ? Красныхъ, тоненькихъ, съ почками. Развѣ не помнитъ? Въ прошломъ году были такія же. Нѣтъ, да это все равно, лишь бы ему принесли, не забыли.

Трепетно, безпокойно ожидаетъ. Ахъ, скорѣе бы!

Солнце заливаетъ комнату, солнце на умывальникѣ, шкапу, комодѣ, солнце даже на туалетѣ. Даже, потому что туалетъ—мѣрило всего хрупкаго, недоступнаго для Вали. Изъ голубого сатина, сверху кружево, по угламъ банты. Множество флакончиковъ, коробочекъ, вазочекъ. Ужасно интересно, загадочно и, ахъ, какъ заманчиво. Къ туалету запрещено подходить. Въ этомъ главная суть. Или рука отпадетъ, или Баба-Яга вылѣзетъ. Если

и не съѣстъ мальчика цѣликомъ, то уже половину ноги непремѣнно откуситъ. Баба-Яга всегда голодная, а дѣти всегда вкусныя. Валя знаетъ, что это выдумки и такъ пугаютъ лишь маленькихъ, однако въ глубинѣ сердца онъ труситъ. Лучше не смотрѣть на туалетъ. Ждать себѣ просто вербочекъ. Интересно, кто ихъ принесетъ, папа или сестра?

Валя больше всѣхъ любитъ папу. Онъ—высокій, худой, съ впалыми щеками. Беретъ на колѣни, подкидываетъ высоко-высоко, умѣетъ представить, какъ лаетъ собака и мяукаетъ кошка. А Женя—злая. Разсердится и прибьетъ. И некому тогда пожаловаться. Она—взрослая. Маму онъ также порою не слушаетъ. Умываетъ его съ мыломъ, пичкаетъ лѣкарствами, заставляетъ кашу ѣсть. Но кто возмущаетъ Валю, такъ это студентъ, который приходитъ къ нимъ въ гости. Тотъ — грубый, насмѣшливый забіака. Не дай Богъ, если вербочки принесутъ при немъ. Отыметъ и будетъ дразнить:

— Ты, братецъ, мужчина, ты не долженъ рюмсать; вотъ возьму и не отдамъ.

Папа тогда, впрочемъ, защищаетъ.

Валя водитъ пальчикомъ по одѣялу, хочетъ поймать солнечнаго зайчика. Ему немножко скучно. На счастье, мама вноситъ кисель... остудить. Она раскраснѣлась, въ передникѣ.

И Валя и кошка насторожились. Нельзя ли полакомиться? Вѣроятно вкусно.

— Соскучился, дѣтка?—спрашиваетъ мама и ставитъ блюдо на подоконникѣ,—сейчасъ папа вернется, Женечка, обѣдать будемъ.

— Мама, я въ кухню хочу.

У Вали дрожатъ губы, онъ капризничаетъ. Мама озабочена. Не глядитъ.

— Нельзя, сынокъ, нельзя, лучше въ окно посмотри; видишь голуби? Лю-лю-лю, гуль-гуль! И солнышко, и деревцо.

Валя смиряется. На крышѣ, дѣйствительно, расхаживаютъ голуби. Онъ смотритъ, смотритъ и дремлетъ. Дѣтское личико принимаетъ трогательное, безпомощное выраженіе. Ротикъ полуоткрытъ, нѣжный, страдальческій ротикъ.

Въ спальнѣ тихо. На кухнѣ женскіе голоса. Потомъ звенятъ посудой, накрываютъ столъ.

Является Женечка. Приноситъ цѣлый вихрь восклицаній, оховъ, вздоховъ, смѣха.

Валя просыпается.

— А вербочки?—строго говоритъ онъ и смотритъ въ руки сестры.

— Вербочки дядя принесетъ,—находчиво отвѣчаетъ Женя.

Дядя—значитъ студентъ. Это совсѣмъ не весело, по крайней мѣрѣ для Вали. Онъ глубоко обиженъ. Голосъ у него дрожитъ.

— А когда дядя придетъ?

— Скоро, скоро, милый.

— Я въ кухню хочу. Пусти въ кухню.

— Нельзя, Валечка, тамъ грязно.

Однако одѣяльце снимаютъ и Валя отправляется. Послѣ кресла ноги особенно слабы, и голова кружится, и вещи кажутся иными, какъ будто больше.

Въ кухнѣ грязно, полутемно, по угламъ сырость. Только что вынули пирожки и накрыли полотенцемъ.

Кухарка обѣдаетъ. Видъ у нея хмурый, недовольный.

— Чего тебѣ?—спрашиваетъ она Валю.

Маленькій въ затрудненіи. Онъ не ожидалъ такого

прямого перехода къ дѣлу. Онъ дипломатично отмалчивается. Заявляетъ небрежно:

— Мнѣ вербочекъ принесутъ, а тебѣ я не дамъ.

— Ладно,—мотаетъ головой Феня,—я и сама возьму.

— А я папѣ дамъ.

— Я и у папы отниму.

— Ну, да,—недовѣрчиво косится Валя,—папа тебя побьетъ.

— Побьетъ, какъ разъ. Я сильнѣе твово папы.

Неторопливо, аппетитно хлебаетъ борщъ. Глядитъ внимательно, сурово.

Валя чувствуетъ себя неловко. Ясно, кухарка «дразнится». Вербочекъ она не отниметъ, но хочетъ отнять. Странно также, не боится папы. Атмосфера—враждебна. Онъ ищетъ примиренія. Вскидываетъ вопросительно глаза:

— Вербочки красныя?

— Красныя,—разсѣянно бросаетъ Феня,—не трожь плиту, вава будетъ.

На ея грубомъ, суровомъ лицѣ загорается улыбка.

— Ножки болятъ?

— Не болятъ,—шепчетъ Валя.

Онъ мгновенно стихаетъ. Всѣ въ домѣ и даже чужіе на прогулкахъ спрашиваютъ Валю: «ножки болятъ?» И онъ смутно, инстинктивно печалится. Понимаетъ—это важно, грустно, особенно. Это отличаетъ его отъ другихъ. Хочетъ замять разговоръ.

— У меня башмаки новые.

— Вижу, соколикъ, вижу, ягодка,—гладитъ его по головкѣ Феня. Она уже растрогана. Сморкается.

— А Женѣ папа не купитъ?

— Не купитъ, милый... извѣстно, не купитъ. Зачѣмъ покупать.

Ребенокъ засовываетъ палецъ въ ротъ. Онъ созерцаетъ кастрюли, посуду, рѣшето и прочее. Долго всматривается въ ведро съ помоями. Плаваетъ коробочка. Не было бы ея, кухарки, онъ бы вытащилъ. Около плиты свѣжія щепочки и угли, тоже прелесть... вотъ бы поиграть минутку. Развѣ потрогать?

Кажется, Феня угадываетъ его злоумышленіе.

— Ну, ступай-ка въ комнаты,—сухо замѣчаетъ она,— не хорошо панычу въ кухнѣ быть, ступай, папа пришелъ, кушать дадутъ.

Валя недоумѣваетъ. Съ чего это она разозлилась? И не улыбается. Платокъ перевязываетъ, посудой гремитъ, брови насуплены. Онъ мнется. Можетъ быть передумаетъ,—оставитъ въ кухнѣ. Здѣсь такъ хорошо. Нѣтъ, рѣшительно выпроваживаетъ.

Папа, дѣйствительно, вернулся.

Валя сидитъ у него на колѣняхъ, перебираетъ пуговицы мундира и снова разсказываетъ о вербочкахъ. Взрослые о чемъ-то спорятъ, ссорятся, говорятъ въ одинъ голосъ, за обѣдомъ на него не обращаютъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ усердно размазываетъ по щекамъ кисель и не менѣе усердно колотитъ по тарелкѣ. За это его мигомъ выселяютъ въ спальню. Даютъ старую, истрепанную куклу, снова укутываютъ одѣяльцемъ. Сиди и не пискни.

Валя не знаетъ, заплакать ему или нѣтъ, потомъ рѣшаетъ, что поздно. Съ куклой не очень скучно. Можно оборвать галунъ съ ея халатика и заставить танцовать разъ, два, три, разъ, два, три.

Около пяти часовъ вечера приходитъ гость-студентъ и приноситъ цѣлый ворохъ вербъ.

У Вали начинаютъ дрожать руки отъ нетерпѣнія, но онъ молчитъ, глотаетъ слюнку и умоляетъ глазами:

— Дай, дай...

Студентъ хохочетъ.

— Ну, ну, будь мужчиной, гляди веселѣе...

Нѣсколько вербочекъ съ розами попадаютъ за иконы, нѣсколько въ кувшинъ, остальныя Валѣ.

Онъ торжествуетъ. Перебираетъ ихъ тоненькими ручками, лепечетъ:

— Мои вербочки, мои...

Красненькія, гибкія, влажныя съ бархатными мушками.

Нравятся? Ахъ, докучные вопросы, ненужные, назойливые. Такіе странные эти взрослые. Обступили, тормошатъ. А потомъ всѣ ушли изъ дому, остался Валечка да кухарка. Сѣла она возлѣ креслица, зѣваетъ, шьетъ что-то, вяло бормочетъ:

— Въ церковь ушли. Тамъ свѣчи, тоненькія, бѣлыя, пѣвчіе поютъ. Боженька слушаетъ.

Ребенокъ играетъ красными символическими прутиками. Тихо теперь, ему хорошо, тепло. Думы-ручейки, прозрачныя думы, легкія, бѣлоснѣжныя.

Шепчетъ маленькій, доволенъ:

— Боженька... вербочки...

ДУРМАНЪ.

— Добрый вечеръ!

Вѣра оглянулась. Онъ могъ теперь видѣть молодое, красивое, сильно напудренное лицо и очень яркія губы.

— А, это ты... Какъ я испугалась!

Держала фантастическую шляпу изъ кружевъ, перьевъ, цвѣтовъ, и, высокая, стройная, отражалась въ большомъ зеркалѣ. Горѣли свѣчи. Со стола еще не убрали фрукты, чай, печенье, сыръ. Было жарко и безпорядочно кругомъ.

Борисовъ сѣлъ, распахнулъ промокшее пальто, блѣдный, взволнованный.

Ждалъ вопроса. Дышалъ тяжело, некрасиво.

Вѣра начала рѣзкимъ тономъ:

— Зачѣмъ ты пришелъ? Что тебѣ нужно? Вѣдь сказано же было разъ навсегда: кончено, кончено, кончено!

Онъ пожалъ плечами. Отчеканилъ:

— Я отъ Павла. Просилъ передать тебѣ также: кончено, кончено, кончено. Онъ пресытился. Ищетъ новыхъ впечатлѣній. Ты не нужна ему больше. Я согласился быть посредникомъ, ибо люблю тебя. Ты знаешь.

— Повтори... Что?! Что?!—крикнула Вѣра.

Швырнула шляпу, метнулась, сѣла, впиваясь черными блестящими глазами. Вся дрожала. Золотистое платье поднималось на груди, и вмѣстѣ съ нимъ трепетали алыя гвоздики.

— Повтори... повтори...

— Павелъ бросилъ тебя. Онъ ужинаетъ сегодня съ Таней Гуревичъ. И подалъ мнѣ великолѣпную мысль разсѣять тебя. Да, такъ именно и выразился:—«Разсѣй ее. Вѣра потоскуетъ недѣльку, потомъ утѣшится. Всегда возвращаются къ первой любви». Онъ меня подразумѣвалъ, конечно...

— Павелъ?!. Павелъ?!.

— Ну, да онъ же... никто другой.

Засмѣялась.

— Браво! Смѣешься. Значитъ, не все потеряно.

Вѣра молча стиснула руки. Голову на нихъ уронила.

Онъ видѣлъ черные волнистые волосы, бѣлую полоску пробора, слышалъ запахъ косметики, духовъ и внутренно злорадствовалъ: «А, не сладко... такъ тебѣ и надо. Получай!»

И сердце въ немъ ныло.

— Куда же ты, собственно, собралась?—враждебно освѣдомился.

Отвѣтила глухо, угрюмо:

— Какъ куда? Въ Метрополь. Павелъ еще вчера пригласилъ. Уже не думаешь ли ты, что я теперь перестану появляться въ его обществѣ?

Борисовъ глумился. Молодецъ Павелъ!.. Не стѣсняется. Далъ отставку, а потомъ еще зоветъ на ужинъ. Иди, дескать, погляди, какъ я другой улыбаюсь. Да, молодецъ. Такихъ-то любятъ женщины.

— Въ такомъ случаѣ, Вѣра, ѣдемъ вмѣстѣ.

Глядѣла на него, словно не видѣла.

— А ты при чемъ здѣсь?

— Какъ при чемъ? Я и ты... мы составимъ отличную пару... Павелъ и Таня тоже милые люди.. Ну, и Сафоновы... Келлеръ... Будемъ пить... хохотать... забудемся...

Такъ какъ она молчала, то продолжалъ, насмѣхаясь:

— Ты вѣдь не захочешь разстроить вечера? Всѣ увидятъ, какъ ты спокойно переносишь разрывъ съ Павломъ, и онъ будетъ доволенъ. Онъ говоритъ, что сохранитъ о тебѣ наилучшее воспоминаніе. Развѣ недостаточно?

— Вполнѣ достаточно.

— Ну, вотъ... хорошее воспоминаніе!.. Я думаю... ты въ его собачонку обратилась. А, въ сущности, ты всѣмъ мнѣ обязана... даже, какъ платье носить, двигаться, улыбаться, говорить... я тебя выучилъ... я... не онъ... Павелъ пришелъ на готовое. Да-съ... Ну, кто старое помянетъ... Одѣвайся!..

Вѣра еще сильнѣе поблѣднѣла.

— Ты думаешь, я вернусь къ тебѣ?

Усмѣхнулся.

— Павелъ сказалъ. Я не знаю.

— А!

Ея силы упали.

Борисовъ потянулся къ чашкѣ.

— Умираю отъ жажды... спѣшилъ, какъ полоумный... весь въ поту... такъ и простудиться легко... Хотя бы околѣть, въ самомъ дѣлѣ. Было бы легче.

Она вдругъ судорожно зарыдала.

— Что мнѣ дѣлать? Ахъ, что мнѣ дѣлать? И почему онъ самъ не сказалъ, а черезъ третьи руки? Почему онъ не пощадилъ меня? Зачѣмъ онъ тебя вмѣшалъ? Передалъ, какъ вещь... какъ тряпку... взялъ и передалъ другому... Боже!.. Боже!..

Борисовъ говорилъ, путаясь, задыхаясь:

— Вѣра, нужно примириться... ничего не подѣлаешь... Если ты закатишь скандалъ Павлу, ты его больше не увидишь...—вотъ и все... Повѣрь, онъ сумѣетъ отдѣлаться отъ тебя. Ты была его самымъ долгимъ капризомъ, утѣшься.. А не удержала—твое дѣло. Я

предостерегалъ еще вначалѣ. Ты приглашена на сегодня. Ясно, Павелъ не сердится. А теперь баста. Одѣвайся. Намъ пора.

Она не унималась, рыдая, какъ безумная, и онъ добавилъ раздраженно:

— Не реви, пожалуйста. Я пришелъ не за этимъ, надѣюсь. Павелъ сказалъ:—«Пусть Вѣра идетъ навстрѣчу твоимъ желаніямъ». Да, онъ сказалъ такъ... Понимаешь?

Глядѣлъ зло и вмѣстѣ любовно на сгорбленную, униженную, несчастную женщину.

— Вѣра, ты вернешься ко мнѣ?

— Хорошо.

— И безъ драмъ?

— Хорошо.

Начала одѣваться. Бормотала.

— Да.. да... вернусь... Платье мнѣ къ лицу? Обожди, я поищу носовой платокъ.

На минуту между ними воцарилось согласіе. Она спрашивала, необходимо ли ей быть веселой. Нужно ли объясниться съ Павломъ? Руки у нея дрожали, и она все еще не могла унять слезъ. Катились по напудреннымъ щекамъ, оставляя полоски. Появилось скорбное, чистое выраженіе, и она похорошѣла вдвое.

У Борисова горло схватила судорога. Ему казалось, что еще никогда онъ не любилъ Вѣру такъ мучительно-остро, какъ сегодня.

— Не ты одна несчастна, — хрипло замѣтилъ онъ, — мнѣ развѣ легко? Хожу, какъ пьяный. Павелъ поигралъ тобою и бросилъ...—«Не бѣда, найдетъ другого». Ты въ свою очередь меня искалѣчила.—«Ничего, забудетъ». У меня трое дѣтей, молодая жена, а я къ тебѣ въ номера бѣгаю и страдаю отъ этой окаянной любви больше, чѣмъ ты. Ты вернешься ко мнѣ, пото-

му что Павлу угодить хочешь... все-таки есть извѣстное удовлетвореніе. А я иду къ тебѣ. Зачѣмъ? Брошенное подбирать? Охъ, будь оно проклято!..

Кидалъ ей тяжкія, гнусныя оскорбленія, глядя на нее съ невыразимой мукой, а она, дрожа отъ бѣшенства, возражала высокими, негодующими нотами.

Наконецъ Борисовъ опомнился.

— Бросимъ, Вѣра. Поѣдемъ!

Почти толкалъ ее къ двери.

Бѣлый вязаный капоръ зацѣпился и когда оба нагнулись, ихъ дыханье смѣшалось, глаза встрѣтились, и оба растерянно, безпомощно улыбнулись.

Въ коридорѣ топили печи, и это напоминало не осень, а зиму. Смѣялись, болтая, горничныя.

По лѣстницѣ Вѣра бѣжала такъ быстро, что едва не запуталась въ юбкахъ, но онъ продолжалъ торопить ее.

— Скорѣе... скорѣе!

Моросилъ дождь. Верхи экипажей были подняты и, отсырѣвшіе, пахли кожей, смолою. Звенѣлъ трамвай, мелькали люди, рестораны, кондитерскія,—все мокрое, темное, неясное въ поднявшемся туманѣ.

— У меня грудь болитъ, — сказалъ Борисовъ, — я совершенно разбитъ.

Она молчала. Въ немъ снова загорѣлась ненависть, смѣшанная съ любовью, горемъ и ревностью.

Допытывался:

— Ты все о Павлѣ думаешь?

И когда вмѣсто отвѣта Вѣра зарыдала, Борисовъ ударилъ ее по лицу.

— Грязная тварь!.. Падаль!

Извозчикъ оглянулся.

— Чего изволите?

— Ничего. Поѣзжай скорѣе, дуракъ!

И задрожавъ, началъ цѣловать ея руки.

— Прости меня... прости... Вѣра... милая, родная, голубушка... я самъ не знаю, что со мною.

Она же вырывала руки, плача навзрыдъ и повторяя, какъ дитя:

— Ну, бей... бей... бей еще... извергъ, мучитель... бей!..

— Вѣра, я гадокъ, я знаю, но я люблю тебя.

— А я ненавижу.

Пролетка подпрыгивала, и въ темной коробкѣ, пахнувшей смолою, кожею, они долго стукались, то тѣломъ, то головою, осыпая другъ друга страшными, позорными, унизительными словами.

Потомъ усталые смолкли.

Борисовъ уныло замѣтилъ наконецъ:

— Боже мой, какъ все это отвратительно! И ты, и я... Не любовь, а дурманъ какой-то... ядъ...

У подъѣзда спросилъ холодно:

— Ты не плачешь?

— Нѣтъ.

— Простишь меня?

— Какъ хочешь.

Выскочила, говоря иронически:

— Заплати вдвое извозчику за то, что онъ глухъ.

Швейцаръ, давно знакомый, встрѣтилъ ихъ привѣтливо.

— Нынче всѣ кабинеты переполнены... страсть...

Борисовъ посмотрѣлъ на Вѣру. Блѣдна, какъ мѣлъ. Ему стало и жутко и жалко.

— Пойду первый, — сказалъ мягко, — обожди... я вышлю Павла сюда.

Не смогла отвѣтить. Кивнула головой, проводила широко-раскрытыми недоумѣвающими глазами.

Ждала. Швейцаръ зѣвалъ. Доносились голоса, матчишъ. Пахло ѣдой. Гдѣ-то звенѣли посудой.

Вотъ знакомые быстрые шаги.

Павелъ, элегантный, оживленный, почти счастливый. Бѣлая гвоздика въ петлицѣ.

Поцѣловалъ руку, увлекая къ дверямъ.

— Какъ это мило съ твоей стороны, что ты пріѣхала. Удивительно мило.

Притихшая, слабая, глядѣла на него со слезами и улыбкой. Нашла въ своемъ голосѣ тѣ ноты, которыя раньше такъ нравились ему... серебряныя, чистыя, пылкія до фанатизма.

— Да, ты сказалъ, я пріѣхала, Павелъ.

Онъ долго, внимательно, нѣсколько любопытно всматривался въ ея лицо, потомъ спросилъ дружески:

— Борисовъ передалъ тебѣ нашъ разговоръ?

— Да.

— Ну, и?..

— Развѣ я поступала когда-нибудь противъ твоей воли?

И слегка улыбнулась.

Павелъ участливо наклонился.

— Хорошо. Видишь ли, обстоятельства такъ сложились. Быть можетъ ты уѣдешь?

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что, — испугалась Вѣра.

Потянулась къ нему, умоляющее, робко взяла за руки.

— Вѣдь я буду встрѣчаться съ тобою, Павелъ?..

— Да, изрѣдка.

— Ну, вотъ, ради этого... ради этого я все перенесу.

— Благодарю. Идемъ же... насъ ждутъ.

И пошли.

ЕЯ СОЧЕЛЬНИКЪ.

Комнаты были убраны, ярко освѣщены. Чай уже сервированъ. Съ минуты на минуту ждали, что принесутъ сирень изъ цвѣточнаго магазина. Попугай проснулся. Хорошенькая горничная дразнила его, пробѣгая. Мохнатая елочка вздрагивала каждый разъ отъ вихря ея юбокъ, — елочка для взрослыхъ, безъ подарковъ, густо обсыпанная серебряной пудрой, съ серебряными гирляндами, тоненькими, исключительно бѣлыми свѣчами. Прелестное, наивное, веселенькое деревцо! Условились, чтобы свѣчи зажигалъ въ наказаніе тотъ, кто пріѣзжалъ послѣднимъ. И надъ нимъ трунили весь вечеръ. Барыня одѣвалась.

Въ сочельникъ у нея собирались только очень близкіе, интимные друзья.

Ей принесли телеграмму.

«Жди. Буду въ сочельникъ. Викторъ».

Она прочла это много разъ, потомъ продолжала надѣвать кольца. Руки ея дрожали. Она поблѣднѣла такъ, что сливалась со своимъ бѣлымъ кружевнымъ платьемъ. Вихрь мыслей... новыя, нежданныя, хлынувшія, какъ сквозь плотину чувства... Какъ?.. Значитъ, онъ

не усталъ еще мучить ее?.. Значитъ, онъ не забылъ?.. Значитъ, онъ хочетъ возврата?.. Значитъ...

У нея захватило духъ. Безсмысленно смотрѣла въ зеркало, а изъ матовой таинственной глубины на нее также смотрѣли широко-раскрытые, испуганные глаза.

Она снова прочла телеграмму.

«Жди. Буду въ сочельникъ. Викторъ».

Ахъ!.. Закрыла лицо руками. Напряженно хотѣла понять что-то. Всякій смыслъ ускользалъ отъ нея. Они разошлись давно. На что онъ надѣялся теперь?.. На прошлое обаяніе? Но власть мужчины кончается тамъ, гдѣ просыпается разсудокъ женщины. Въ ней онъ проснулся, такъ какъ она уже не любила. Нѣтъ, нѣтъ, не надо возврата къ прошлому. Этотъ человѣкъ... сколько жгучей обиды, нестерпимой горечи... Всѣ униженія были выпиты ею покорно. Не довольно ли?

Теперь онъ посылалъ игривую, до смѣшного смѣлую телеграмму. Она готова была расхохотаться. Да, monsieur, если раньше ваша самоувѣренность и покоряла меня, то сейчасъ она только забавна.

Какъ онъ рѣшился?.. Неожиданно, просто, спокойно, словно разстались вчера... «Жди, буду въ сочельникъ. Викторъ». О, Боже!..

Она вдругъ начала нервно смѣяться, не вытирая крупныхъ катившихся слезъ. Потомъ, взявъ ручное зеркальце, разсматривала профиль своей прически. Хотѣла быть спокойной... передъ самой собою.

Почему же такъ вдругъ свѣтло на душѣ? Почему вдругъ такъ тихо?.. Мысль, что она способна снова простить, снова вернуться къ нему, снова любить и снова страдать, потрясла ее. И боялась останавливаться на ней.

Она сунула телеграмму за кружево, у корсажа, без-

сознательно желая имѣть эту бумажку близко, совсѣмъ близко... о, такъ близко!..

Принесли сирень, но не освобождали отъ тонкой папиросной бумаги, зная, какъ любитъ барыня дѣлать это сама. Раскутывала нѣжно и бережно холодныя кисти. Взволнованная, смягченная, уже готовая повѣрить въ счастье и боясь его,—едва не заплакала снова.

Наконецъ они собрались. Трое элегантныхъ не очень уже молодыхъ мужчинъ съ усталыми глазами и жестами. Они принесли конфеты, подарки и говорили изящные, словно надушенные комплименты хозяйкѣ. Они входили сюда растроганные и взволнованные. Уже третье Рождество встрѣчались вмѣстѣ. По ихъ словамъ, сейчасъ шелъ густой, восхитительный снѣгъ. Они раздвигали портьеру, смотрѣли на улицу и радовались внутренно, что были не одни. О, ихъ пустыя, холодныя, одинокія комнаты!.. И они испытывали глубокую благодарность къ молодой женщинѣ. Ей принадлежала идея—«сближенія народовъ», т.-е. эти милые сочельники съ елкой. Они обожали ее. Она помнила всѣ ихъ причуды, вкусы, желанія, она умѣла угодить всѣмъ и каждому въ отдѣльности. Она не сумѣла бы баловать больше братьевъ.

Сегодня, впрочемъ, она казалась очень взволнованной, излишне оживленной. Часто отвѣчала невпопадъ.

Наконецъ это выяснилось.

Она сказала съ легкой запинкой, обращаясь къ художнику Д.:

— Дорогой маэстро, вы пріѣхали сегодня позже всѣхъ, но елочку не вы зажжете.

Кругомъ шутливо негодовали: какъ, она нарушаетъ правило?

— Нѣтъ, но я жду четвертаго гостя.

— А! — воскликнули трое.

Въ этомъ была цѣлая гамма неудовольствія, ревности, удивленія и любопытства.

— Отлично, — сказалъ наконецъ художникъ, самый миролюбивый изъ нихъ,—отлично... четвертый гость... праздничный сюрпризъ...

— Я несогласенъ,—пробормоталъ литераторъ... —это лишнее...

Оказалось, пріѣзжаетъ Викторъ. Ахъ, онъ?.. Теперь они смотрѣли на нее сочувственно. Они знали ея драму. Ну, что же... все понятно. Молча они желали ей счастья. Противъ новичка они возстали бы, но Викторъ... Съ нимъ ничего не подѣлаешь.

— Какъ, однако, живуча любовь.

И хотя они говорили о постороннихъ вещахъ, они всѣ ждали его.

Ея волненіе и тревога все росли. Около одиннадцати часовъ она спохватилась. А гдѣ же телеграмма? Выпала изъ корсажа.

Сама она, гости, наконецъ горничная искали ее. Телеграмму нашли подъ кресломъ и прочли вслухъ:

«Жди. Буду въ сочельникъ. Викторъ».

Ну, конечно... здѣсь не могло быть ошибки... онъ пріѣдетъ съ минуты на минуту.

— Викторъ—очень красивый малый, — замѣтилъ кто-то,—странно, что онъ до сихъ поръ не женатъ.

Она страшно поблѣднѣла. Подумала съ ужасомъ:

«Развѣ я все еще люблю его?..»

Гости были, однако, недовольны. Всѣ смотрѣли на темную мохнатую елочку. Въ прошломъ году она уже сверкала огнями. Рѣшительно, это было грустно. Ничего не клеилось.

Тогда господинъ Л., который не былъ ни художникомъ, ни литераторомъ, а просто милымъ человѣкомъ, сѣлъ къ роялю.

— Я сыграю, господа, Шумана... Безъ критики!

Въ двѣнадцать часовъ гости поднялись. Никто еще, никогда, съ тѣхъ поръ, какъ они собирались вмѣстѣ, не оставался здѣсь послѣ полуночи. Елочка оставалась незажженной, а лицо женщины выражало безумную тоску. Всѣ воспоминанія проснулись въ ней.

— Викторъ не пріѣдетъ,—говорила она безпомощно и жалко улыбаясь.—Господа, вы бы посидѣли еще... Онъ не пріѣдетъ.

Ждала, чтобы ее разубѣдили въ этомъ. Но они мялись. Имъ было невыносимо жалко ее, и они сердились на себя за то, что не могли утѣшить. Они, однако, протестовали. Нѣтъ, нѣтъ, Викторъ еще пріѣдетъ... поѣздъ приходитъ въ 11 часовъ... покуда онъ попалъ въ отель... запоздалъ, ясно... И пусть въ наказаніе самъ зажигаетъ елку.

Она едва держалась на ногахъ. Дать телеграмму и не пріѣхать, о, Боже!.. Она теперь чувствовала, что ждала только его, Виктора...

— Не отчаивайтесь,—шепнулъ ей художникъ Д.,—и я не совѣтую вамъ ложиться до часу... Что вамъ стоитъ?

Она благодарно стиснула ему руку.

Она потушила электричество вездѣ, кромѣ гостиной. Медленно ходила изъ угла въ уголъ, волоча длинный трэнъ и почти ничего не видя передъ собою. Думала о самыхъ грустныхъ вещахъ, и ея сердце разрывалось на части. Порою она раздвигала портьеру и, прильнувъ къ стеклу, глядѣла на улицу. Пусто. Снѣгъ шелъ попрежнему. Какъ она могла повѣрить

Виктору,—ему, лгавшему ей всегда и во всемъ? И почему бы ему не послать телеграмму подъ впечатлѣніемъ минуты, а потомъ раздумать?.. Или онъ просто забылъ?.. Или задержался?..

Часы пробили два. Тогда она сняла нарядное платье и накинула будничный пеньюаръ. Но не ложилась, а вернувшись съ блѣдной странной улыбкой зажгла свѣчи у елочки.

Потомъ сѣла и осталась такъ до разсвѣта, не мѣняя позы.

ЯНИНА.

I.

Такъ вянетъ безъ солнца вервена.
Ада Негри.

Когда Янина возвращается домой послѣ пансіона,— это хрупкая, блѣдная, красивая дѣвушка. Отецъ умеръ. Мать и тетя Викта стали еще строже. Онѣ обѣднѣли и теперь съ жаромъ говорятъ о приличной партіи для Янины. Послѣдняя много читаетъ. Порою уходитъ гулять и не можетъ потомъ разсказать, кого встрѣчала. Она такъ разсѣянна — Янина.

Съ половины зимы ихъ начинаетъ посѣщать Гриницкій — инспекторъ. У него ужасно самодовольное лицо. Онъ мало дѣлаетъ дурного и всегда напоминаетъ объ этомъ окружающимъ. Янина не замѣчаетъ его, а онъ внимателенъ.

Мать предлагаетъ однажды Янинѣ вышить для Гриницкаго что-нибудь.

— Онъ такъ добръ къ тебѣ.

— Но, мама...

— Уже не хочешь ли ты спорить со мною?

Янина смолкаетъ. Она не успѣваетъ кончить свою broderie, какъ инспекторъ дѣлаетъ ей предложеніе. Т.-е. даже не такъ.

Ее зовутъ въ комнату матери. Мама плачетъ.

Тетя Викта говоритъ торжественно:

— Обними мать. Сегодня для тебя великій день, Янина. Панъ Гриницкій проситъ твоей руки.

Здѣсь пахнетъ іодоформомъ, нафталиномъ, а за окномъ качается душистая, влажная сирень, ароматно дышитъ черемуха, ярѣютъ огненные тюльпаны. Весна— безпокойная, волнующая. Соловей не даетъ уснуть до зари. Глаза у Янины полны слезъ. Она думаетъ, что не зачѣмъ оставлять свою крохотную дѣвичью комнатку и переѣзжать къ инспектору.

Но она молчитъ. Спорить безполезно.

Тетя Викта пытается быть нѣжной.

— Иди и переодѣнься въ бѣлое... Бѣлое тебѣ къ лицу.

Вечеромъ за чаемъ подаютъ тортъ. Гриницкій пріѣзжаетъ съ духами и долго говоритъ о погодѣ. Онъ совѣтуетъ Янинѣ одѣвать теплое пальто, выходя на веранду. Рѣшено, что черезъ мѣсяцъ они повѣнчаются.

II.

Янинѣ подводятъ господина Д., и хозяйка любезно проситъ «обласкать» m-eur Поля.

Онъ обмахивается шляпой и говоритъ какой-то милый комплиментъ.

Янина смотритъ на него пристальнѣе, чѣмъ это дозволяетъ приличіе. Она не можетъ сказать, красивъ онъ или дуренъ, симпатиченъ или нѣтъ. Она только пристально смотритъ на него, и ей трудно отвести взглядъ. Кажется... кажется, она уже думала о такомъ лицѣ, такомъ голосѣ... или встрѣчала? Или видѣла портретъ? Или ей снилось?

Если нѣтъ, то отчего же онъ чудится ей близкимъ, роднымъ?

Мужъ Янины, Гриницкій, задаетъ вопросы: Гдѣ слу-

житъ m-eur Поль? Сколько онъ получаетъ? Отчего онъ не женатъ?

И, не дождавшись отвѣта, напоминаетъ женѣ, что у нихъ сегодня раковый супъ и ванильный кремъ.

M-eur Поль заговариваетъ съ сосѣдями. Тамъ спорятъ о женщинѣ...

Доносится, какъ онъ замѣчаетъ разсѣянно:

— Женщина—идолопоклонница, прежде всего. Она проситъ и ищетъ чуда. Дайте ей человѣка, на котораго она будетъ молиться, дайте ей небо здѣсь, на землѣ, и она станетъ святою. Она не боится жертвы, но хочетъ любить, вѣрить, жить для кого-нибудь. Повторяю, женщина проситъ чуда.

Гриницкій бормочетъ, поправляя очки:

— У этого молодого человѣка безнравственный образъ мыслей.

Потомъ онъ безпокоится о раковомъ супѣ. Боже мой, о чемъ она думаетъ, Янина? Кто же споритъ на голодный желудокъ?

Янина смотритъ широко-раскрытыми, недоумѣвающими глазами.

Что такое? Чего еще хотятъ отъ нея? Ахъ, да... раковый супъ...

Они встаютъ.

На порогѣ Янина оглядывается.

M-eur Поль смотритъ ей вслѣдъ.

III.

Дверь на балконъ открыта. Въ саду распустились всѣ розы—темно-красныя, бѣлыя, розовыя, палевыя. Подъ липою Гриницкій читаетъ газету тетѣ Виктѣ.

Янина долго смотритъ на нихъ, потомъ говоритъ человѣку у рояля:

— Поль, вы уѣзжаете?

— Да.

— Любите ли вы меня, Янина?

— Я люблю васъ.

— И остаетесь здѣсь?

Она блѣднѣетъ. Вѣтеръ въ саду тронулъ махровыя розы, и онѣ качаются, словно недоумѣваютъ, почему и зачѣмъ Янина остается.

Она спрашиваетъ:

— Вы мнѣ позволите пойти за вами?

M-eur Поль улыбается.

— Идите, но не будьте такъ рабски покорны. Это скучно.

Янина цѣлуетъ его ладони.

— А если я не умѣю любить иначе?

И въ ту же ночь Янина уходитъ.

IV.

— Я считалъ тебя всегда разсудительной женщиной, малютка... Этотъ годъ мы были счастливы. Кончимъ въ томъ же тонѣ... безъ слезъ, упрековъ и драмъ.

— Хорошо.

— Тебѣ не станетъ легче, если я объясню причину... Можетъ быть я уйду молча?

— Хорошо.

Если онъ задумывается на минуту, то не потому, что тронутъ ея нѣмымъ горемъ. Нѣтъ, просто за окномъ ливень.

— Не вернуться ли тебѣ къ мужу?

— Не знаю.

У него слегка нетерпѣливый, хотя и вѣжливый жестъ.

— Я ухожу. Прощай!

— Прощай.

— Ты ничего не скажешь мнѣ, Янина?

— Будь счастливъ.

Когда его шаги стихаютъ, она стоитъ, опершись обѣими руками на столъ, смотритъ въ окно и думаетъ. О чемъ можетъ думать женщина, жизнь которой къ двадцати пяти годамъ разбита въ кусочки? Вѣроятно, она чуть-чуть насмѣхается сама надъ собою. Это забавно порою—быть несчастной.

V.

Янина покупаетъ билетъ для входа въ лѣтній театръ, когда къ ней подходитъ одинъ старый знакомый. О, такой добродѣтельный, совсѣмъ добродѣтельный, черезъ верхъ добродѣтельный... Онъ нерѣшительно поднимаетъ шляпу, не скрывая жаднаго любопытства.

Янина отвѣчаетъ на поклонъ.

Ба, есть еще справедливость на свѣтѣ...

У нея скверный видъ.

Онъ спрашиваетъ:

— Вы вся въ черномъ... развѣ вы въ траурѣ?

— Да, я ношу трауръ...

— Господи, уже не мать ли ваша или тетушка?

Она перебиваетъ съ неприличнымъ равнодушіемъ. Нѣтъ, нѣтъ, тѣ живы... У нея умерла любовь.

— Умерла любовь?

Толстый господинъ ничего не понимаетъ.

Янина скользитъ мимо и даже не оглядывается.

Чортъ возьми, могла бы быть повѣжливѣе *эта*... вѣдь теперь она—внѣ круга.

Въ саду играетъ музыка. Гуляютъ дамы и мужчины. Скучно, но многіе улыбаются. Добродѣтельный господинъ и Янина встрѣчаются нѣсколько разъ на той же

аллеѣ. Она совсѣмъ не замѣчаетъ его. Тому даже смѣшно... Уже не воображаетъ ли она, что онъ ничего не знаетъ?

И подсаживается.

Онъ говоритъ, что давно желаетъ выразить ей свое сочувствіе. Бѣдная, очаровательная дамочка... онъ всегда и всюду горячо защищаетъ ее. Безъ сомнѣнія, чувство должно быть свободнымъ. И потомъ—все можно искупить. Пусть она только не отчаивается.

Большіе глаза Янины темнѣютъ отъ гнѣва, но усталость побѣждаетъ.

— Да... да... искупленіе... возмездіе... Не угостите ли вы меня виномъ?

Толстый господинъ радостно вскакиваетъ. Ахъ, эти женщины!.. Какъ онѣ все-таки непостоянны.

За ужиномъ она разражается слезами.

— Что такое? Развѣ вы недовольны мною?—надменно удивляется толстякъ.

— Нѣтъ... нѣтъ... Это нервы.

— Ага... въ такомъ случаѣ еще чуточку вина, малютка!

VI.

Гриницкій сидитъ на кончикѣ стула, брезгливо оглядываясь кругомъ.

— Сударыня, вы вернетесь ко мнѣ сейчасъ же... Я дѣлаю это не ради васъ, конечно, а ради чести вашей матушки и моего имени. Вы вернетесь ко мнѣ и постараетесь загладить вашу ошибку примѣрнымъ поведеніемъ.

Какая ошибка? Какая честь? Янина ничего не понимаетъ. Она лежитъ блѣдная, равнодушная.

— Я беру васъ обратно...

Боже, столько торжественности!.. Берегъ къ себѣ... Да она—вещь, что ли?

— Вы не должны бояться...—журчитъ Гриницкій.

Что такое? Бояться? Чего она можетъ бояться послѣ того, какъ схоронила все свѣтлое и дорогое? Послѣ того, какъ ея храмъ разрушенъ, чего она можетъ бояться?

— Сударыня, вы нарушили долгъ, величайшую изъ обязанностей женщины...

Это становится утомительнымъ... безобразно утомительнымъ...

Она закрываетъ глаза.

— Ахъ, сегодня... Только сегодня оставьте меня въ покоѣ!.

ГОЛОСА.

(Вечеръ. Снѣгъ на горахъ кажется розовымъ отъ заката. Внизу легли глубокія, синія тѣни. Женевское озеро спокойно. Набережная почти пуста. Если проходятъ, то большею частью рабочій, простой народъ. Въ скверѣ бьетъ фонтанъ. Клумбы цвѣтовъ. Продаютъ открытки, журналы. На скамейкѣ сидитъ *онъ*. Усталое лицо съ внимательными глазами. Появляется *она*. Свѣтлый костюмъ. Разсѣянная походка. Сначала не рѣшался. Потомъ сѣлъ рядомъ. Смотрятъ другъ на друга).

Онъ *(кланяется)*. Mademoiselle...

Она *(просто)*. Добрый вечеръ.

Онъ *(развязно)*. Вы позволите мнѣ здѣсь остаться?

Она *(спокойно)*. Какъ хотите.

Онъ. Вы очаровательны. Вы прелестны. Я уже побѣжденъ. Можетъ быть мы перейдемъ въ café?

Она *(равнодушно)*. Я не ищу приключеній. Вы ошиблись.

Онъ *(мѣняя тонъ, легкомысленно)*. А... простите... Я думалъ... Мы всегда думаемъ дурно, если женщина сидитъ одна и... и отвѣчаетъ на вопросы.

Она *(иронически)*. Для меня не новость.

Онъ *(пожимая плечами)*. Это естественно. Мы не осуждаемъ такихъ женщинъ, но мы думаемъ о нихъ дурно. Смотримъ свысока. Онѣ—вещи, мы—покупатели. *(Любезно.)* Если бездѣлушка такъ изящна, какъ вы, мы не торгуемся.

Она *(молчитъ)*.

Онъ *(вкрадчиво)*. Я пріѣхалъ изъ Вѣны. Мнѣ чертовски везетъ послѣднее время. Я заработалъ бездну. Теперь хочу отдыхать, веселиться. Чортъ возьми, я заслужилъ это... Меня не называли красивымъ, но я нравился.

Она *(усмѣхнувшись)*. Да?

Онъ *(нерѣшительно)*. Я говорю... потому что... Ну, потому что... Вы—иностранка?

Она. Да.

Онъ. И что вы здѣсь дѣлаете?

Она *(задумчиво)*. Скучаю. Вездѣ и всегда скучно. Отъ себя никуда не уйдешь.

Онъ. Женщины рѣдко бываютъ грустны. Вѣдь онѣ мало думаютъ.

Она. Зато много чувствуютъ. Это тоже утомительно.

Онъ. А-а!.. *(Смотритъ внимательно. Короткое молчаніе. Черезъ минуту небрежно.)* Чѣмъ вы живете?

Она *(сухо)*. Не все ли равно?.. Живу...

Онъ. Я васъ нигдѣ не встрѣчалъ?

Она *(отрицательно качаетъ головой)*.

Онъ *(нетерпѣливо)*. Въ Парижѣ? Ниццѣ? Берлинѣ?

Она. Нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ... *(Смѣется.)* Нигдѣ и никогда. У меня хорошая память на лица.

Онъ *(слегка недовольно)*. Ба, вы могли не замѣтить. Вы просто забыли. Эти волосы, глаза, улыбка... Ахъ, я васъ видѣлъ...

Она *(равнодушно)*. Можетъ быть... Я васъ не помню. Я васъ не знаю.

Онъ *(безпокоясь)*. И голосъ... голосъ! Особенно голосъ...

Она. Не знаю.

(Молчаніе).

Онъ *(сумрачно. Внезапно согнулся, потускнѣлъ).* Я ломался. Я лгалъ вамъ. Ниоткуда я не пріѣзжалъ. Просто вышелъ изъ дому. Брожу. И въ карманѣ у меня десять франковъ... да... И никогда мнѣ въ жизни не везло. Я—неудачникъ.

Она *(пожимая плечами).* Зачѣмъ вы исповѣдуетесь?

Онъ. Такъ. Не все ли равно, о чемъ говорить? Вы мнѣ напомнили одну маленькую женщину... у нее были такіе же волосы и улыбка... Да...

Она. А... а... Неужели?

Онъ *(холодно).* Вы хуже ея, гораздо хуже. Когда она улыбалась, то походила на ангела. Потомъ, у васъ непріятный смѣхъ.

Она *(вскользь).* Я не умѣю смѣяться.

Онъ *(угрюмо-мечтательно).* Моя маленькая... Такая маленькая, что я могъ носить ее на рукахъ.

Она *(разсѣянно).* Умерла?

Онъ *(рѣзко).* Ушла. Я мало зарабатывалъ.

Она *(неопредѣленное восклицаніе).*

Онъ. Мы часто хоронимъ живыхъ.

Она *(вспоминая).* Да... часто хоронимъ живыхъ.

Онъ. И это страшнѣе обыкновенной смерти.

Она *(задумчиво).* Нѣтъ ничего прекраснѣе смерти.

Онъ *(раздражаясь).* Какой вздоръ!.. Я боготворю жизнь. Борьбу, силу, контрасты. Я временно усталъ.

Она *(тихо).* Я устала навсегда. Я не могу начать сначала.

Онъ *(не слушая).* О, я еще верну ее... Мою маленькую Люси... Я разобью въ кровь свои руки, но дамъ ей все, все нужное для счастья... Моя маленькая, капризная куколка... Конечно, она требовательна... молода... Что дѣлать?.. Такова жизнь. Кругомъ столько соблазновъ. Развѣ она могла съ ея наружностью, съ

ея очаровательнымъ смѣхомъ довольствоваться одной комнатой и грошовыми платьями? Она была создана для роскоши... Другой пришелъ и далъ во сто кратъ больше, чѣмъ даже она мечтала. Какая женщина устоитъ? Вы всѣ продажны. Люси ушла. Я виноватъ. И я заглажу свою вину. Я верну Люси. Верну, хотя бы мнѣ пришлось просиживать цѣлыя ночи, ослѣпнуть, оглохнуть, умереть. Я верну ее... *(Мечтательно, съ болью)*. Моя маленькая, голубоглазая куколка... Когда она вернется, я снова скажу: да здравствуетъ жизнь!..

Она *(улыбнувшись)*. Какъ патетично...

Онъ *(жестоко, требовательно)*. Вы любили?

Она *(не удивляясь)*. Да, любила.

Онъ *(еще рѣзче)*. Удачно?

Она *(равнодушно)*. Нѣтъ, онъ не любилъ меня.

Онъ *(тише)*. Уважалъ?

Она *(ровно)*. Нѣтъ, онъ не уважалъ меня.

Онъ *(грустно)*. Жалѣлъ?

Она *(спокойно)*. Нѣтъ, онъ не жалѣлъ меня.

(Молчаніе).

Онъ *(безпокойно соображая)*. Такъ нельзя... Вы относитесь къ этому слишкомъ хладнокровно... Почему вы не плачете? Вы должны плакать...

Она *(смѣется)*. Я не вѣрю въ любовь. Я встрѣчала потомъ второго... и чувствовала къ нему то же самое. Такъ же была готова и на жертвы, и на униженія. Развѣ любовь единична? Она повторяется, какъ весна. Когда я убѣдилась въ этомъ, любовь перестала интересовать меня. Я не называю ее больше трагедіей... Фарсъ... глупенькій, пошленькій фарсъ... да еще и переводной... Вотъ!..

Онъ *(недоброжелательно)*. У васъ есть семья?

Она. Я—сирота.

Онъ *(мягко)*. А родина?

Она *(пожимая плечами)*. Мнѣ все равно, гдѣ жить... тамъ, здѣсь, дальше... Я не хочу уѣзжать, а уѣду— не хочу возвращаться... Люди вездѣ одинаковы... Декорація же природа... Что мнѣ до нея?.. Я—космополитка...

Онъ *(колеблется)*. Надѣюсь, вы не отрицаете совѣсть?

Она *(черезъ минуту)*. Совѣсть? Ну, она не хрустальна, моя совѣсть... Впрочемъ, я никогда не интересуюсь ею.

Онъ *(недоумѣвая)*. Быть можетъ религія...

Она *(задумчиво)*. Женщины нашей страны мистичны и религіозны. Я люблю красоту во всемъ, и въ церкви, безъ сомнѣнія... Но развѣ это религія?..

Онъ *(подозрительно)*. Значитъ... у васъ нѣтъ ничего?

Она. Ничего.

Онъ. А желанія?..

Она. Никакихъ.

Онъ *(нетерпѣливо)*. Это ненормально... Это невозможно для женщины... Что васъ сдѣлало такою?

Она *(спокойно)*. Вѣроятно, жизнь... годы... впрочемъ, не знаю... не слѣдила...

Онъ *(какъ бы про себя)*. Когда моя маленькая ушла, я былъ мертвъ отъ муки... Я разсуждалъ почти такъ же, какъ и вы... Теперь же я снова вѣрю... жду... я хочу свѣта...

Она *(тихо)*. Только мы сами должны зажигать свѣтъ. Никто не зажжетъ, скорѣе потушитъ.

(Темнѣетъ. Горы совсѣмъ черны. Съ озера тянетъ влагою. Увеличилось движеніе кругомъ. Блеснули фонари. Гдѣ-то музыка.)

Онъ *(эгоистично вздохнувъ)*. Я счастливѣе васъ.

Она. Можетъ быть.

Онъ *(повеселѣвшій)*. Зачѣмъ вы живете?

Она. Такъ, по инерціи... Потомъ, когда это будетъ слишкомъ невыносимо... Богъ мой!.. *(Пожимая плечами.)* У Роны быстрое теченіе и глубокое дно.

Онъ *(кивая головой)*. Да? *(Пауза. Встаетъ)*. Мнѣ пора. Вы не пойдете со мной?

Она. Нѣтъ.

Онъ *(колеблется)*. И что же вы будете дѣлать?

Она. Сидѣть.

Онъ. А потомъ?

Она. Пойду.

Онъ. Куда?

Она *(устало)*. Не знаю... такъ... впередъ... не знаю...

(Онъ снимаетъ шляпу. Скоро его уже не видно. Она сидитъ попрежнему, изрѣдка вздрагивая. Надвигается ночь.)

ЗА ВЫШИВАНЬЕМЪ.

Суббота. Въ спальнѣ теплится лампадка. Убрано. Нигдѣ ни пылинки. На столѣ моченыя яблоки, водка, закуска. Сейчасъ здѣсь была монахиня со сборомъ. Теперь уже далеко. Ушла. Только собаки все не угомонятся. Тихо въ домѣ. Братишка-шалунъ наказанъ. Сняли новые сапоги, да носомъ въ уголъ. Стой, негодникъ, покуда дядя изъ лавки вернется... получишь ужо́ на орѣхи! Мать у кумы. Кухарка передъ ужиномъ спитъ на полатяхъ. Медленно и грустно вышиваетъ Лиза.

Боится она новыхъ людей... Придутъ съ вѣтра, натолкуютъ... Потянетъ въ даль, словно журавля осенью... Страшно... Грѣшно. Потомъ не успокоишься.

О монастырѣ когда-то Лиза мечтала... Плакала, свѣчи ставила, вериги хотѣла одѣть. Билъ два раза тятенька, хоть любилъ ее шибко. Мать къ старцу возила. Держала сторону дочери. Замужъ выйти не шутка, вотъ Христовой невѣстой быть—то другое. Весною ѣздили. Деревья едва запушились... Птицы-то какъ пѣли... Царица Небесная, словно обѣдню служили... И монаховъ, монаховъ... Испугалась даже. Смотрятъ на нихъ любопытно... Обо всемъ разспрашиваютъ... Удивляются, что изъ такой глуши... Жалѣютъ... А старецъ не принялъ. Цѣлехонькій день онѣ высидѣли, ожидаючи... Ничего... Не вышелъ... Увидѣть приве-

лось утромъ... На крыльцѣ онъ появился... Маленькій, сѣденькій... И бумага въ рукѣ... Провожалъ военнаго... На Лизу взглянулъ... благословилъ, но ничего не сказалъ... отогналъ торопливо... Потомъ отецъ увезъ ихъ сюда, въ Сибирь, торговлю открылъ... И остались онѣ. О монастырѣ больше не говорилось. Смутно и робко жалѣла Лиза... Ахъ, если бы!.. Вѣдь грѣховъ-то, грѣховъ!.. Вѣкъ не замолишь... Грустно стало... Запѣла негромко:

Я у матушки выросла въ холѣ,
И кручины не знала я злой,
Да счастливой дѣвической долѣ
Позавидовалъ недругъ лихой...

Любимая пѣсня... Годы бы слушала, не наслушалась...

Вся ея жизнь въ этой пѣснѣ. Вся ея радость. Вся ея мука. Словно про нее сложена.

Село Никольское Большое въ степи затерялось. На сто верстъ кругомъ ни одной избы не встрѣтишь... Аулы киргизскіе только... Тетка Лизы тамъ лавку имѣетъ и домъ. Комнатки веселыя, чистыя, совсѣмъ пасхальное яичко. И народу всегда полно. Учительницы, семья священника, ветеринарные врачи, что изъ Россіи на чуму посланы. Пріѣхала туда Лиза безъ дѣла... такъ... побаловаться... Ну, и живетъ...

Разъ метель была. Тетка у больной заночевала. Сидитъ Лиза, буранъ слушаетъ... Вдругъ колокольчикъ... шумъ во дворѣ. Выглянула. Привезли киргизы гостя— ветеринарнаго врача... Шуба у него на-распашку, сумочка черезъ плечо, и подъ шапкой каріе глаза смѣются...

Задорный...

Поклонилась и обомлѣла... Отвѣчала, какъ дурочка. Василіемъ Васильевичемъ звали... самъ владимірскій...

Рѣчи сладкія сталъ онъ, лукавый,
Мнѣ нашептывать ночью и днемъ...

Охъ, ужъ, дѣйствительно, лукавый... Спорить не приходится... Ночи—годами кажутся. Подушка въ слезахъ. Выйдетъ на крыльцо безъ платка и стоитъ... Снѣгъ сыплетъ, вѣтеръ волосы треплетъ, темно... А она ждетъ. Горе? Радость? Не знаетъ...

Удалый былъ, щедрый... Ямщики на него Богу молились, киргизы — братомъ звали... Никто съ нимъ сравняться не могъ, никто...

Поселился Василій Васильевичъ въ Никольскомъ. Каждый день видѣлись. Лизу домой зовутъ, а она не хочетъ. Понималъ онъ ее безъ словъ. Сидитъ она у окна, затуманится... Иголка изъ рукъ выпадетъ. Станетъ допытываться:—«О чемъ грустите?»—«Такъ». Смотритъ онъ... Глаза темные, властные... И она какъ ребенокъ передъ нимъ... Кажется, ударь онъ ее, такъ и не шелохнулась бы...

Я вставала съ постели босая
И, бывало, всю ночь напролетъ
У окна все кого-то ждала я,
Все мнѣ чудилось, кто-то идетъ...

Помнитъ она горенку угловую, гдѣ спала тетка. Ситцевый пологъ, гора подушекъ, одѣяло изъ разноцвѣтныхъ лоскутковъ. Вотъ собрались какъ-то дѣвушки, прятки затѣяли. Выпало ему, Василію Васильевичу, искать... Убѣжала сюда Лиза... затаилась... Нашелъ-таки, шустрый... Перепугалась до-смерти въ темнотѣ... Сердце-то билось, Господи!.. Вышла алѣе зари, глаза поднять боится... Потомъ катались. Снѣгъ-то, снѣгъ кругомъ... Буранъ настоящій... Колокольни, избъ—не видать. Эхъ, да эхъ, съ горки!.. Духъ захватываетъ!.. Цѣловалъ?.. Нѣтъ... Да... кажется, нѣтъ... Ой, кажется, да!..

Очи карія бойко смотрѣли
На меня изъ-подъ темныхъ бровей.
Допытать они, видно, хотѣли,
Что въ душѣ затаилось моей...

Милый, ласковый. За руки держитъ, а она только смотритъ... Ни слова... Отъ восторга голова сладко кружится... И не знаетъ, за что его любитъ, за то ли, что душой кривить не умѣетъ, не сулитъ ничего, ничего не проситъ, или, что вольный, безпечный, весело жестокій, сломалъ ея жизнь и не печалится.

Перевели его въ аулы, далеко... Ей къ своимъ нужно было вернуться.

Ночью прощались. У тетки ужинъ, карты... Молодежь танцуетъ, пѣсни поетъ.

Выбѣжала она за ворота. Небо звѣздное, чернымъ кажется, снѣгъ блеститъ, переливается... Луна... Тишь. Пустыня.

Обнялись они... Плакать не смогла...

Уѣхалъ Василій Васильевичъ на разсвѣтѣ. Больше не встрѣчались. Ау, милый!.. Не откликнется...

Брызнули слезы. О немъ? Да... Нѣтъ, такъ...

Потомъ усмѣхнулась легонько. Глупая... Что сердце надрывать безъ толку? Мать сейчасъ вернется и мужъ изъ лавки. Братишка уже за кошкой гоняется. Кухарка встала...

Смолкла Лиза. Не поетъ больше.

А вѣтеръ-то за окномъ, вѣтеръ...

СЛУЧАЙНОСТЬ.

Въ продолженіе пяти лѣтъ Анна поднималась по одной и той же лѣстницѣ, отпирала дверь однимъ и тѣмъ же ключомъ, раздѣвалась, звонила горничной и требовала обѣдъ.

Если была весна, Анна любила постоять еще у окна. Широкая, оживленная улица съ аллеей изъ молодыхъ тополей, немного дальше готическій костелъ, а на углу большое зданіе, гдѣ она служила.

Анна смотрѣла на все это, отдыхая, и мысли роились безсвязныя, но легкія, свободныя.

Если же была зима или поздняя осень, Анна ложилась въ качалку и ждала обѣда съ закрытыми глазами. Тогда производила впечатлѣніе уже немолодой женщины, несмотря на свои двадцать пять лѣтъ.

Каштановые волосы плотной гофрировкой прилегали къ очень нѣжнымъ бѣлымъ вискамъ, длинныя темныя рѣсницы прикрывали каріе добрые глаза и около полныхъ нѣсколько блѣдныхъ губъ ложилась тѣнь страданія.

Она была замужемъ, но неудачно. Это сложилось такъ грустно, что даже не вспоминала прошлаго. Разъ навсегда спрятала письма, портретъ мужа и портретъ сына. Можетъ быть поэтому никогда не снимала чернаго платья, никогда не смѣялась, никогда не пыта-

лась создать личную жизнь. Ея дни текли со строгой размѣренностью, какъ у монахини. Часто ее упрекали въ излишнемъ благоразуміи. Она сама сознавалась, что не живетъ, а спитъ.

И въ тайникахъ души ей казалось, что просыпаться не стоитъ, иначе будетъ плохо.

Сегодня ея сослуживецъ, молодой Георгъ Іонасъ, нѣмецъ, долго разговаривалъ съ нею. Дружески просилъ заходить. У нихъ много общаго. Разсказывалъ смѣлыя, но интересныя вещи.

Она была взволнована.

Каждый разъ, впрочемъ, послѣ болтовни съ нимъ она испытывала странное чувство. Не то грусть, не то радость. Не могла рѣшить.

Георгъ считался прекраснымъ работникомъ. Этого мало. Онъ писалъ въ газетахъ и журналахъ.

Говорили, что ему предстоитъ блестящее будущее.

Анна почти съ благоговѣніемъ читала его статьи. Восхищалась всѣми тѣми глубокими мыслями, которыя зарождались у него подъ ослѣпительно-бѣлымъ лбомъ и темными курчавыми волосами. Часто онъ казался ей идеаломъ мужчины, несмотря на свою грубость, самоувѣренный смѣхъ, и еще что-то,—Анна не умѣла назвать.

Его вниманіе льстило ей. Сегодня онъ такъ упорно приглашалъ ее къ себѣ.

Да, конечно, она пойдетъ.

Охватило легкое безпокойство, безпричинное томленіе, смутная грусть. Странное нетерпѣніе мучило ее.

Въ концѣ концовъ нѣтъ ничего, абсолютно ничего дурного, если она пойдетъ къ Іонасу.

Переодѣвалась въ нарядное платье съ рѣшительнымъ видомъ.

Осеннее блѣдное солнце заливало комнату и пре-

ломлялось на хрустальныхъ флаконахъ. Ахъ, это больное, осеннее солнце!..

Анна уходила торопливо, въ тревогѣ. Ей начало казаться уже, что Георгъ заждался ее и сердится.

Она идетъ... идетъ... да, милый, конечно...

Какъ это случилось, что она назвала его мысленно «милый»? Не захотѣла задуматься.

Съ нѣжной, мечтательной улыбкой рѣшила купить цвѣтовъ. Милый, чудный Георгъ!.. Онъ будетъ доволенъ, безъ сомнѣнія.

Почему-то выбрала орхидеи. Хотя она никогда не любила ихъ и даже не находила оригинальными.

Молоденькая продавщица укутывала цвѣты папиросной бумагой съ усталымъ видомъ.

Анна думала, волнуясь:

«Онъ ждетъ меня. Какъ онъ будетъ доволенъ».

Однако ея смутная грусть увеличилась.

Въ сущности, какъ все это ненужно... итти и нести цвѣты мужчинѣ, не зная навѣрное... Но что же нужно знать, Анна?..

— Ахъ!..—и досадило отмахнулась отъ самой себя.

Ужъ не любитъ ли она его въ самомъ дѣлѣ?..

Шла совсѣмъ печальная, не замѣчая гула улицы, прохожихъ, вечерняго неба, умирающей красоты умирающаго сада.

Да, возможно, что любитъ Георга... начинаетъ любить... много думаетъ о немъ, много тоскуетъ, затихаетъ въ его присутствіи...

И чѣмъ ближе была улица, гдѣ жилъ Іонасъ, тѣмъ неувѣреннѣе становились ея шаги.

Нѣсколько разъ останавливалась у витринъ, оттягивая время. Но вернуться?.. Нѣтъ, она не могла вернуться.

Внезапно Анна вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ шелъ Георгъ Іонасъ подъ руку съ дамой. Вѣроятно, они появились изъ переулка. Анна могла видѣть ихъ въ спину.

Перья на шляпкѣ дамы развѣвались. Іонасъ наклонялся къ ней совсѣмъ близко. Онъ несъ какіе-то пакеты.

Анна слѣдила за ними, страшно блѣдная, еле-еле двигаясь, холодѣя при мысли, что они могутъ оглянуться. Жгучая боль въ сердцѣ изумила ее самое.

Георгъ забылъ, что пригласилъ ее на сегодня. Вотъ и все. Что же тутъ особеннаго, Господи!

Она то перебиралась на другую сторону улицы, то возвращалась, не теряя изъ вида Георга.

Парочка отошла на порядочное разстояніе

Встрѣчные, въ свою очередь, слѣдили за Анной.

У нея былъ такой странный видъ!

«Мнѣ тяжело,—думала она,—вѣроятно, это ощущеніе напоминаетъ то, когда выслѣживаютъ жениха, любовника... потомъ женщина обливаетъ кислотой... да, обливаетъ... теперь я понимаю...

Георгъ съ дамой скрылся въ подъѣздѣ.

Анна медленно повернула обратно. Но у нея слишкомъ дрожали колѣни, и она взяла извозчика.

Сказала адресъ одного знакомаго.

«Что я дѣлаю? Къ чему?»

Стиснула зубы и завернула еще нѣжнѣе орхидеи въ папиросную бумагу. Такъ нужно,—ѣхать къ другому. Сидѣла прямая, гордая и совсѣмъ не похожая на ту Анну, какой была всегда.

На лѣстницѣ, подымаясь въ меблированныя комнаты, думала съ тоскою:

«Зачѣмъ я затѣяла эту исторію?»

И между тѣмъ увѣренно, почти шаловливо, стучала у двери № 24.

Открылъ ей молодой человѣкъ, всегда благоговѣвшій передъ Анной.

Изумленный, даже отступилъ назадъ... Какъ?.. Она?.. У него?..

Анна нервно, много смѣялась.

— Здравствуйте, другъ мой... это случайность... я шла, другъ мой... Вотъ орхидеи... Уфъ... какъ къ вамъ высоко!...

Молодой человѣкъ мѣнялся въ лицѣ.

На столѣ онъ разложилъ книги и какія-то рукописи. Со стѣнъ улыбались въ рамкахъ чопорныя дамы временъ Директоріи. Въ окно бились голуби, видимо прирученные. Здѣсь было убого и вмѣстѣ какъ-то особенно симпатично. Сумерки смягчили всѣ линіи.

Анна снимала свою скромную шляпу передъ зеркаломъ. Говорила невозможную ерунду. Была сильно взволнована. Она думала о Георгѣ и дамѣ съ перьями... они теперь вмѣстѣ... пьютъ чай... шутятъ...

Разсудокъ крикнулъ послѣдній разъ: «Владѣй собою... будь горда»...

Но другія чувства уже подхватили ее. Спросила неестественно живо:

— У васъ есть телефонъ?

— Конечно... конечно...

— Я сейчасъ побѣгу поговорить... 182... Мнѣ нужно 182...

И она почти убѣжала.

«Она меня любитъ,—подумалъ молодой человѣкъ,— я еще никогда не видѣлъ ее такой возбужденной».

Потомъ онъ бережно поставилъ орхидеи въ воду и сѣлъ, закрывая лицо руками.

Анна звонила по телефону, дрожа отъ нетерпѣнія.

— Аппаратъ не работаетъ,—отвѣтила въ трубку барышня..

— Вотъ какъ!.. Благодарю васъ...

Значитъ, онъ, Георгъ Іонасъ, вынулъ умышленно штэпсель.

Вернулась еще болѣе блѣдная и сѣла рядомъ съ молодымъ человѣкомъ.

— Вы можете теперь говорить мнѣ все, что хотите,— сказала она, — я разрѣшаю вамъ это.

НАСТРОЕНІЯ.

I. ТОСКА.

Не могу сказать точно, когда и въ какой именно часъ она приходитъ ко мнѣ.

Она не имѣетъ ни опредѣленнаго времени, ни излюбленныхъ дней.

Приходитъ весеннимъ, шумнымъ, радостнымъ утромъ, голубыми пахучими лѣтними вечерами, блѣдными осенними сумерками, холодными, молчаливыми, зимними ночами. Найдетъ въ толпѣ, на балу, сядетъ рядомъ въ театрѣ, отыщетъ въ костелѣ, остановитъ тогда, когда я поворачиваю ключъ у двери, чтобы убѣжать... отъ самой себя. Ахъ, она всюду, неизмѣнная, неутомимая!

Улыбнется черезъ силу, извиняется.

— Я слишкомъ частая гостья. Не правда ли?

Она обезволиваетъ меня, гипнотизируетъ. Полно покоряюсь этой блѣдной, хрупкой дѣвушкѣ въ черномъ. Чувствую себя ребенкомъ, вещью.

Порою опускаюсь передъ ней на колѣни, беру ея слабыя, безкровныя руки и плачу:

— Оставь меня... уѣзжай, уходи... забудь... Я быть можетъ еще буду счастлива.

Она кротко гладитъ мнѣ волосы, нѣжно заглядываетъ въ глаза, недоумѣваетъ:

— Но куда же я уйду, дитя? Развѣ я не ношу твое имя? Развѣ ты можешь обойтись безъ меня? Какъ же безъ меня?

Говоритъ она шутливо-небрежно. Непоколебимо-спокойно... Знаю — она не уйдетъ. Умолкаю.

Часто она обнимаетъ меня порывисто... жадно, изступленно... Такъ крѣпко, такъ крѣпко... И минуты кажутся вѣчностью.

Я слабѣю ежедневно. У меня такія же безкровныя губы и руки, какъ у нея. Я такъ же не умѣю улыбаться. Она пьетъ кровь прямо изъ моего сердца. Мое бѣдное, измученное сердце!

Я ничѣмъ не могу помочь ему. Ничѣмъ.

И я умоляю въ отчаяніи,—совсѣмъ тихо:

— Оставь меня, уйди!

А она удивляется.

— Куда же мнѣ уйти?

И мы снова вмѣстѣ.

Я и моя Тоска.

II. ВСТРѢЧА.

Дождливое, скучное небо. Мокрый, пустой садъ. Мокрыя зеленыя скамейки.

О, что ты здѣсь дѣлаешь такъ поздно, маленькая женщина въ красномъ платьѣ? Кого ждешь? Кому улыбаешься виновато, робко, заискивающе?

Не отворачивайся. Я ни о чемъ не спрошу.

Знаю.

Все знаю.

Я пройду молча, съ безразличнымъ видомъ.

Ты останешься сидѣть въ той же позѣ, неестественно-напряженной, выжидающей.

Ты сейчасъ похожа на увядшій, безсмысленно растоптанный цвѣтокъ. Бѣдная моя!

Одинокая моя!

Свѣтъ, участье, ласка. Ахъ, пустыя, ненужныя, глупыя слова!..

Любовь, чистота, правда... Какая насмѣшка!

Ты встрѣтишь ихъ площадной бранью, циничнымъ проклятіемъ.

Ты будешь права. Слышишь? Ты будешь права передъ этими сытыми, тупыми, наглыми людьми.

Часы бѣгутъ. Темнѣетъ. Скоро зажгутъ фонари.

Ты ждешь покупателя.

Я наблюдаю продающуюся.

О, маленькая женщина въ красномъ платьѣ, я страдаю за тебя глубже, чѣмъ ты это себѣ представляешь! Я сама еще недавно думала, что неспособна горевать чужимъ горемъ...

Мнѣ хочется подойти къ тебѣ, стать близко, взять тебя за руку.

Я вѣдь женщина, твоя сестра... Одно слово...

Ты пугливо, враждебно ловишь мое движеніе. Твой взглядъ полонъ ненависти.

— Честная женщина. Ого! Ты знаешь по опыту, что такое честная женщина въ роли судьи... Мнѣ не перешагнуть этой пропасти.

Вонъ смотритъ на тебя пристально, настойчиво и грубо какой-то толстякъ въ свѣтломъ костюмѣ.

Ты улыбаешься ему однѣми губами. Глаза остаются печальными, усталыми, бездумными.

Ты встаешь... На поворотѣ онъ нагоняетъ тебя. Вы идете теперь вмѣстѣ, и ты не оглядываешься.

О, прощай, и если можешь... если можешь, прости!

III. ИРИСЫ.

Вечеръ былъ изумительно красивый, тихій. Угаснулъ безбольно въ багрянцѣ заката среди молодой, яр-

кой, душистой зелени, оставилъ неясную, тревожную грусть.

Пришла ночь.

Всѣ сады благоухали черемухой. Все небо искрилось звѣздами.

Колдовала съ нѣжной улыбкой весна.

Я недавно вернулась съ кладбища, и мое платье еще пахло ирисами. Сегодня я схоронила брата. Случайная, нелѣпая смерть.

Она перестала быть, впрочемъ, нелѣпой, наведя меня на новую мысль.

Я думала о томъ, что ты также не Богъ (о мой земной богъ!) и также въ одинъ изъ неизвѣстныхъ часовъ смерть унесетъ тебя.

Кто поручится, что я умру первой? Никто. Кто утѣшитъ меня тѣмъ, что это неизбѣжно? Никто. Такъ зачѣмъ же медлить?

Я не въ силахъ мириться съ подобнымъ ужасомъ. Ни моя душа, ни мой разумъ не вмѣщаютъ его. Я не хочу, чтобы пришелъ день или ночь, вечеръ или утро, когда бы я сказала себѣ: «Онъ умеръ, а я жива». Я могла вынести ради тебя какую угодно муку, но эту... Нѣтъ, нѣтъ; отъ этого креста я отказываюсь, эта Голгоѳа меня минуетъ.

О, какъ я люблю тебя сейчасъ суевѣрно-печально... Мое сердце разрывается отъ нѣжности и сожалѣнія...

Я ухожу первая.

Ты долженъ простить. Ты простишь.

Знаю, трезвые, здоровые люди не поймутъ меня, но меня понимало все, что такъ таинственно, согласно, полно молчало вокругъ. И небо, и звѣзды, и сирень, и бѣлая комнатка, и вещи, и книги, и твой портретъ со стѣны...

Мое платье еще пахло ирисами... ирисами съ кладбища.

IV. О, БУДДА, ВЕЛИКІЙ ГОТАМА!

О, Будда, великій Готама!

Молился страждущій въ сіяньи ночи, въ тиши печали.

О, Будда, великій Готама!

Пришелъ ученикъ твой, и гордъ онъ, ничтожный, что славитъ тебя одинъ на вершинѣ. Внизу пустъ храмъ твой, завяли кругомъ его деревья, разорено гнѣздо, выброшены птенцы; внизу забыли имя твое, изгнали истину и разсказываютъ о тебѣ только дѣтямъ.

О, Будда, великій Готама!

Ты завладѣлъ сердцемъ моимъ, ты покорилъ мысли мои, ты увлекъ меня въ пучину неизвѣстнаго. И пришелъ я къ тебѣ излить муки свои, потому что бѣгу людей и хочу говорить лишь съ тобой, о Совершенный! Я рвусь къ тебѣ и трепещу отъ боязни остаться на землѣ среди дикихъ безумцевъ, но я потерялъ уже смѣлость свою, какъ теряетъ орелъ перо, взлетая къ восходящему солнцу.

О, Будда, великій Готама!

Ночь застала меня на распутьи, ночь затмила разсудокъ.

Сатагира вырвалъ очи мои, Сатагира сковалъ мои руки и ноги, Сатагира сдѣлалъ меня гибкимъ, заставилъ ползать и бояться. Сатагира окружилъ меня людьми, и я дѣлаю такъ, какъ они, забывъ волю твою, о Пылающій! Они играютъ мною, какъ пойманнымъ коршуномъ дѣти, они зовутъ меня «своимъ», и я молчу, потому что Сатагира говоритъ за меня.

О, Будда, великій Готама!

Мечется духъ мой вверху и, глядя на чудовище, оставленное внизу, не вѣритъ, что жилъ въ немъ. Но не вырвалъ Сатагира память изъ сердца, ибо даръ этотъ твой—о, Милосердный!—и я славлю тебя, окутанный ночью, опутанный ложью, во мракѣ страсти. Славлю и зову тебя,—о Лучезарный!—чтобы вернулъ ты духа стремленія, духа свободы, духа борьбы въ тѣло мое. Чтобы искалъ я повсюду разгадку неизвѣстнаго, въ громѣ и тишинѣ, въ волнахъ и цвѣтахъ, горахъ и долинахъ, въ крикѣ ребенка и въ стонѣ умирающаго. Чтобы искалъ я ее, какъ левъ ищетъ добычи и, найдя, рветъ ее съ бѣшенствомъ, такъ какъ заставила долго ждать себя. Чтобы ни теплота солнца, ни говоръ моря, ни невинность лотоса, ни коварство женщины не удержали меня вдалекѣ отъ тебя,—о, Безсмертный!—чтобы не ослабъ я на пути, не показались бы цѣпи тяжелыми, песокъ вязкимъ, камни острыми, и не вернулся бы я къ рабамъ и гадамъ, въ тину болота, въ клѣтку и обручъ пойманнаго.

О, Будда, великій Готама!

Сатагира не отнялъ память у меня, но она потускнѣла въ душѣ моей, потому что ты оставилъ ее, и стала слаба, какъ слабъ раненый голубь, и не хочетъ подкрѣпить меня.

О, Блаженный, о, Горящій, о, Таинственный! Сжалься надо мною, какъ жалѣешь ты лилію, посылая росу, ласточку, укрѣпляя крылья, лань, спасая ее отъ охотника.

И смолкъ онъ, страдающій, и поднялъ очи на горы, долины и море. И казалось ему все въ иной дымкѣ, въ иныхъ лучахъ, потому что говорилъ онъ блѣдный и плачущій.

— О, розовая глубина неба, о яркое сіяніе звѣздъ, о горный ароматный воздухъ! Волны свѣта, волны

блеска, волны безшумныхъ планетъ, я тону въ васъ. Земля осталась мертвой точкой внизу, и скоро я не увижу ея. Тѣло мое легче тѣни и несется, обгоняя метеоръ, уста поютъ такъ, какъ не поетъ ни одна сирена земныхъ морей. Умъ мой свѣтелъ и позналъ истину. Я не вижу никого, подобнаго мнѣ, и взоръ не устаетъ отъ безобразныхъ линій. Но душа говоритъ во мнѣ, она ноетъ, болитъ, не желая теперь, но сожалѣя. Она вспоминаетъ тѣхъ, кто въ цѣпяхъ на землѣ и рвется разсказать имъ о тебѣ, о Готама!

Нѣтъ, я не счастливъ,—о, Яркій!—нѣтъ, я не избавленъ отъ томленія, о, Безсмертный!

И улыбнулся Готама, великій Будда, и ниспослалъ онъ ниббану на страждущаго.

И сорвалась еще одна блещущая звѣзда и канула въ вѣчность.

V. CONFITEBOR TIBI...

Душа моя прошла стезю предвѣчныхъ тумановъ, заоблачныхъ горъ и долинъ, блуждала тоскующая по окаменѣлымъ планетамъ, катилась въ потокѣ сверкающихъ звѣздъ, но томилась, искала, жаждала только тебя.

Душа моя слушала мелодіи невидимыхъ органовъ и лютней, познала красоту, истину, могущество Начала, открыла великія тайны незримыхъ міровъ, но безъ тебя была одинокой и несчастной.

Одѣваю тебя въ радугу, молніи и закатъ моего восторга, одѣваю тебя въ прозрачныя ткани моей скорби, одѣваю тебя въ алмазы, жемчуга, рубины моего томленія.

Созидаю тебѣ храмъ изъ разбитыхъ грезъ, несбывшихся упованій, служу тебѣ таинственную мессу на алтарѣ моего горя, сжигаю свое сердце въ огнѣ неза-

сыпающей муки и за все, о за все равно благодарю тебя.

Вѣчность слушаетъ мою клятву вѣрности, Вѣчность называетъ меня твоею, Вѣчность обѣщаетъ мнѣ награду... тебя... тамъ... за гробомъ.

VI. СИРЕНЬ.

Сирень цвѣтетъ въ моемъ саду. Нарвите душистыхъ влажныхъ вѣтокъ и отнесите ихъ той, что похожа на дѣвочку. Когда увидите лучистые глаза, тонкія руки и голубой поясъ на бѣломъ платьѣ, знайте, это Она, Непорочная.

Звѣзды дрожатъ вокругъ свѣтлой головки. Ангелы плачутъ отъ радости и умиленія, глядя на нее. Она слушаетъ тишину костела и молится за грѣшную землю.

Сирень цвѣтетъ въ моемъ саду. О, поспѣшите отнести эти первыя грозди моей Госпожѣ и Заступницѣ. Скажите, я обнимаю ея колѣни и не смѣю взглянуть на нее. Сердце мое полно восторгомъ передъ нею и скорбной нѣжностью. Я думаю о ней, дивной, неустанно и, мнѣ кажется, это Она ходитъ здѣсь, между цвѣтами. Она, скромная, какъ полевая лилія, Она, вознесенная выше ангеловъ, Она, прекраснѣйшая изъ прекрасныхъ!

Сирень цвѣтетъ въ моемъ саду. Колокола давно пропѣли Angelus. Деревья, дома, земля порозовѣли отъ заката. Возьмите душистыя вѣтки, я перевила ихъ лентами и обрызгала водою. О, торопитесь, торопитесь...

Въ темномъ костелѣ, среди увядающихъ гіацинтовъ и плачущихъ свѣчей, тихо молится Она, кроткая.

Ее зовутъ Марія и Она похожа на дѣвочку.

ПОДРУГИ.

Эля поднялась на локтѣ. Рукава прозрачнаго пеньюара закатились. Черныя пряди прилипли ко лбу. Нѣжное, прекрасное лицо порозовѣло.

— Я задыхаюсь,—бормотала она,—я просто умираю отъ жары... Какъ ты можешь читать, Тони?

— О, это романъ,—откликнулась та,—и довольно милый... съ трагической развязкой.

— Неужели?

Обѣ онѣ засмѣялись и поглядѣли другъ на друга.

— Жизнь сама по себѣ романъ. И гораздо болѣе сложный, — замѣтила Эля.

У нея былъ загадочный видъ, не то грусть, не то предостереженіе.

Тони посмотрѣла внимательно. Уже не хочетъ ли она разсказать что-нибудь? Разсказать?

Нѣтъ, ничего. Просто философствуетъ.

Эля закинула руки за голову. Ея поза и вся она дышала очарованьемъ.

Тони восхищалась подругой. Созналась несмѣло:

— Знаешь, раньше... когда Морисъ былъ живъ... я безумно ревновала тебя.

Глазами глубокими, печальными она просила прощенія. Нѣжно трогала кружево пеньюара. О, пусть Эля не сердится... это было невольно... она, Тони, такъ любила покойнаго мужа...

Эля внимательно слѣдила за мимикой склоненнаго лица. Лѣниво, небрежно удивилась.

Ревновать? Ее? Развѣ она подала поводъ? Нѣтъ, конечно, нѣтъ...

Онѣ смолкли.

Будуаръ притихъ вмѣстѣ съ ними. Нѣжные, свѣтлые тона. Нѣга стиля Людовика XVI.

Тонкій, сладкій, опьяняющій ароматъ живыхъ розъ. Трепетаніе теплыхъ солнечныхъ пятенъ сквозь кружево шторъ. Матовый блескъ громаднаго зеркала. Уютъ полукреселъ, кушетокъ.

Громадный квадратъ ковра. Граціозно улыбались маркизы на стѣнахъ. Обѣ женщины были молоды, красивы, лучшаго круга. Обѣ были рождены въ роскоши и созданы для нея. Обѣ походили на рѣдкія тепличныя растенія.

— Три года, какъ умеръ Морисъ, — скорбно поникла Тони.

— Да, три года, — повторила тихо Эля.

Вспоминали съ влюбленной улыбкой. Глубокая, затаенная печаль отразилась на ихъ лицахъ. Невольно жадно искали глазами его портрета. Вотъ онъ... обаятельный, изящный брюнетъ, чуть-чуть ироническій. Трепетно, страстно, внѣ себя отъ горя и муки созерцали любимыя черты. Онѣ боготворили его. Ихъ души день и ночь молились ему.

— Какъ онъ былъ прекрасенъ! — шептала Тони.

Крупныя слезы сверкали на рѣсницахъ Эли.

Внезапно, безъ всякаго перехода, вступленія, безъ малѣйшаго колебанія, она проговорила:

— Твой мужъ любилъ меня, больше тебя.

— Морисъ любилъ?!—переспросила Тони заикаясь.— Ты... онъ... Морисъ любилъ тебя?!

— Да. Онъ любилъ меня, повторяю. Я хочу, чтобы ты это знала. Мнѣ надоѣло лгать. Я принадлежала ему. Я отдала ему съ восторгомъ, упоеньемъ свою чи-

стоту, гордость, свободу, радость честной женщины. И я ни о чемъ не жалѣю. Я не считаю себя виноватой передъ тобою. Ты взяла свою долю. О, львиную долю! Ты была его женою, ты не разставалась съ нимъ, ты могла не скрывать любовь, никого не обманывать. Развѣ мало? Чего еще больше, о Боже!.. Онъ умеръ, ты рыдала, безумствовала открыто, ты ночи проводила у его могилы, а я должна была выѣзжать, веселиться, поддерживать train дома, ласкать ненужнаго, чуждаго мнѣ человѣка. Моя мука глубже твоей. Но я увѣрена въ одномъ: умирая и видя тебя, Тони, одну тебя,—онъ думалъ обо мнѣ. Да, я увѣрена. Я готова поклясться. Я знаю. Я чувствую.

Тони слабо улыбалась. Ударъ не лишилъ ея самообладанія. Ненависть подсказала месть. Ненависть, которая жгла сердце, затопила душу, мозгъ, заставила поблѣднѣть до губъ, безпомощно опустить руки. Ненависть, которая изобрѣтательнѣе любви.

Глухо, но твердо возразила:

— Ты не сказала ничего новаго. Морисъ говорилъ мнѣ о вашемъ романѣ. Онъ посвятилъ меня во всѣ мелочи.

Разсчитала вѣрно.

Попала въ цѣль.

Наслаждаясь эффектомъ, медленно роняла слова:

— Морисъ не смотрѣлъ на тебя серьезно, дорогая. Ты не была у него ни первой, ни послѣдней. Онъ, конечно, поступалъ, какъ хотѣлъ, но принималъ всѣ мои совѣты. Онъ во всемъ давалъ мнѣ отчетъ. Своимъ счастьемъ (если это счастье, Эля) ты обязана также и мнѣ...

Сейчасъ же она склонилась къ подругѣ, мягкая, внимательная, коварная.

— Боже мой, тебѣ дурно, дорогая?

ИСПОВѢДЬ.

Обѣ онѣ стояли на лѣстницѣ. Одна въ розовомъ платьицѣ и соломенной шляпѣ, другая въ бѣломъ и кружевной Charlotte.

Повидимому, онѣ находились въ затрудненіи.

Наконецъ первая сказала:

— Послушай, ты мнѣ ручаешься, что онъ именно *такой?*

— Какой? — безпокойно переспросила вторая и широко раскрыла синіе кукольные глаза.

— Ахъ, внимательный... интересный!

— Ксендзъ Ярташевичъ очень интересенъ. Я говорила тебѣ это сотни разъ.

— И ему нужно разсказать на исповѣди *все*... съ деталями?..

— Все.

— Клянешься мнѣ, Юльця?

— Клянусь.

— И онъ самъ задаетъ вопросы?

— Самъ.

— Ахъ, Боже мой!.. И все время приходится краснѣть?

— Да, милочка, если у тебя есть хоть капля совѣсти.

— За кого ты меня принимаешь? И ты думаешь, я могу разсказать ему то, что вчера тебѣ?

— О!.. О!.. Если ты не боишься...

Онѣ внимательно глядѣли другъ на друга. Соображали что-то. Таинственно и мечтательно улыбались.

— Да, я рѣшусь,—пробормотало розовое платье,— я люблю до смерти пикантности. И, наконецъ, это серьезно... меня мучитъ совѣсть... вдругъ я умру внезапно?

— Все возможно,—серьезно согласилась вторая.

— И потомъ пріѣхать въ костелъ съ дачи...

— Въ такую жару.

— Да, въ такую жару.

— Переволноваться...

— Ну, еще бы... я страшно волнуюсь... Попробуй, какъ у меня бьется сердце....

— О... я тоже... мнѣ страшно за тебя, Женни...

— Ничего, все пройдетъ благополучно,—мужественно успокоила ее та. — Милочка, я бѣгу...

— До свиданья, дорогая. Ты, конечно, потомъ разскажешь мнѣ результаты?..

— Конечно. Какъ ты можешь сомнѣваться? A demain, chèrie.

— A demain, mignonne.

Онѣ побѣжали. Одна наверхъ, другая внизъ.

— Отецъ мой, я погибла...

— Въ чемъ дѣло, дитя мое?

— Отецъ мой, я буду осуждена навѣки...

— Вы не должны рѣшать за меня. Дальше!

— Я грѣшила.

— Ну, конечно... иначе вы не были бы здѣсь.

— Я люблю, отецъ мой.

— Любить не запрещается, если любовь на христіанскихъ началахъ.

— Да, но...

— Но?

. . . . . .

— Я не понимаю вашего молчанія.

— Но... Андрей и я... мы любимъ другъ друга...

— Отлично. Дальше, дитя мое!

— Мы позволяемъ себѣ... Вы понимаете, отецъ мой?

— Нѣтъ, я ничего не понимаю. Пожалуйста, короче.

— О, я не могу вѣдь разсказать *все*... я сгораю отъ... стыда.

— Отлично. Дальше!

— Онъ цѣловалъ меня.

— А! Много разъ?

— Всегда.

— Отлично. Это грѣхъ, дитя мое, и вы не должны повторять его.

— Онъ говорилъ мнѣ ужасныя вещи.

— А! Большой грѣхъ. Женщина должна быть стыдливой. Дальше, дитя мое!

— Я его невѣста... поэтому... онъ... я... иногда... ахъ, отецъ мой!

— Отлично. Вы скоро поженитесь?

— Я не знаю. Все зависитъ отъ его государственнаго экзамена.

— Вотъ какъ?! Нужно молиться. Молитесь за него усердно.

Онъ перешелъ къ другимъ грѣхамъ. Розовое платье покорилось въ неодобрительномъ удивленіи.

Она чинно вошла въ комнату подруги. Ея лицо выражало сильнѣйшее негодованіе.

— Юльця, это нечестно съ твоей стороны.

Кукольные глаза смотрѣли на нее тревожно.

— Что случилось?.. Охъ, не пугай меня...

— Но ты солгала мнѣ. Этотъ ксендзъ... О!.. О!.. О!.. Онъ съ небесъ свалился твой ксендзъ, милочка... Онъ рѣшительно ничего не понимаетъ въ женской душѣ. И потомъ онъ на все отвѣчаетъ: «отлично». Я не знаю, зачѣмъ ты собственно подвела меня.

— Какъ?.. Ни единаго вопроса?

— Ни единаго.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Боже, какая неудача!

Разстроенныя онѣ призадумались.

Потомъ наконецъ Юльця сказала возмущенно:

— Ну, знаешь, если онъ не задаетъ вопросовъ, я бы сама ему *все* разсказала... да... назло... Какая ты недогадливая, Женни!

ЖЕНЩИНА.

Женщина давно проснулась, но лежала съ открытыми глазами.

Прямо передъ окномъ стѣна разрушеннаго стараго дома. Съ утра до вечера рабочіе выбрасывали изъ ея черныхъ впадинъ балки и доски. Падали съ грохотомъ, подымая густую рыжеватую пыль.

Это нестерпимо раздражало.

Теперь же было тихо. Гдѣ-то, кто-то слабо игралъ на балалайкѣ.

Молочный, густой, своеобразный свѣтъ разливался по комнатѣ. Бѣлая, сѣверная ночь. Ночь, когда людямъ кажется, что они грезятъ наяву.

Женщина думала:

«Часовъ двѣнадцать... не больше... ѣсть хочется».

Встала и, растрепанная, разстегнутая, выпила молока. Потомъ пересчитала деньги. Ихъ оказалось меньше, чѣмъ предполагала.

— Вѣроятно, я была пьяна и много раздала на-чай.

Она провела странно-тихій, совсѣмъ особенный день въ Финляндіи съ толстымъ нѣмцемъ.

Песокъ, сосны, море. Потомъ ходила въ поле, гдѣ колыхалась рожь и пѣвуче звенѣли телеграфные провода. Да, это все произвело на нее впечатлѣніе. Особенно мелодія проволокъ... звенѣли такъ жалобно, умоляюще и нѣжно. Слушая ихъ, забывалась. Останавли-

валась на дорогѣ, закрывая глаза. Слезы ползли по щекамъ медленно и скупо. Думала о томъ, о чемъ, по-настоящему, не нужно было думать. Какъ это случилось? Раньше она страдала, боролась и жила. Теперь она превратилась въ животное. Не нищая больше, правда, но животное. Какъ не видѣли это тѣ, кто покупали ее? Позоръ гнулъ ея плечи. Въ городѣ отъ подобныхъ мыслей она бѣжала въ café de Paris и распутничала еще злѣе, а здѣсь, въ полѣ, среди шуршащей рѣки, подъ мелодію поющихъ проводовъ—плакала и безсильно, безъ словъ, одной своей тоской молилась. Стыдилась лакированныхъ туфель, узкой юбки, накладныхъ локоновъ. Стыдилась накрашеннаго, тупого лица. Была отвратительна себѣ самой.

Сейчасъ женщина поежилась и преисполнилась ненависти къ толстому, добродушному нѣмцу. Зачѣмъ онъ повезъ ее? Она, впрочемъ, грубила и буянила все время.

Теперь встала, потянулась, начала одѣваться. Совершенно готовая, принимала позы, наклоняла голову. Юбка обтягивала ее, какъ перчатка. Золотистый мѣшочекъ на длинномъ шнурѣ болтался ниже жакета. Кружевное жабо восхищало ее—такое оно было тонкое. Султанъ изъ черныхъ страусовыхъ перьевъ спускался на спину. И сама она была красива, печальная и строгая.

Улыбнулась себѣ въ зеркало. Послала воздушный поцѣлуй, ушла.

Поѣхала къ господину X., какъ условилась.

На воздухѣ - бѣлый, странный свѣтъ чудился еще гуще, осязательнѣе. Безпокойство и жуть ползли въ душу. Затихшій городъ преобразился. Статуи, памятники, головы медузъ на стѣнахъ, казалось, дышали, наблюдали и молча осуждали всѣхъ. Загадочные сфин-

ксы неуловимо улыбались, полузакрывая длинные египетскіе глаза. Гидра подъ конемъ Петра должна была ожить ежеминутно и уползти, а самъ онъ ускакать и не вернуться. Петропавловская крѣпость темнѣла въ нѣжной лиловой дымкѣ. Нева текла совсѣмъ черная. Охая, плескались въ ней бочки на опасныхъ мѣстахъ. Изрѣдка шуршали автомобили. Женщины тоскливо дрогли на сырыхъ гранитныхъ скамейкахъ по набережной, ожидая покупателя. Онѣ же шли, ѣхали. Множество женщинъ, выкинутыхъ городомъ на мостовую. Таинственныя, красивыя, заманчивыя бѣлой, мистичной ночью.

«Какъ мнѣ душно,—тосковала она,—какъ мнѣ гадко, великій Боже!»

Ощутила громадный ужасъ и вмѣстѣ леденящее безсиліе передъ настоящимъ. Теперь уже ничего не исправишь. Ничего. Гнусныя подробности того, что ждало ее въ квартирѣ господина Х., мучили заранѣе. Хотя бы скорѣе кончилось. Нервно зѣвала, дрожала, и вѣки стали тяжелыми.

Шумно звонила у дома № 14. Дворникъ, однако, отказывался впустить ее къ жильцу. Онъ увѣрялъ, что тотъ еще не возвращался, не хотѣлъ брать денегъ. Униженно просила его. Наконецъ дворникъ сдался.

Скользнула въ громадныя черныя ворота, бродила по залитому асфальтомъ двору, путалась.

Усталая, нетерпѣливая, нашла нужную дверь.

Господинъ Х. самъ открылъ ей. Почему такъ поздно? Онъ уже поужиналъ и не ждалъ ея... Такъ порядочные люди не поступаютъ...

Забывая сухой пріемъ и предстоящее, она по-дѣтски обрадовалась человѣческому голосу, лампѣ, тишинѣ и наглухо спущеннымъ шторамъ. Какъ будто почувствовала себя въ безопасности.

Бѣлая ночь больше не терзала ея нервы.

Но это продолжалось недолго. Господинъ X. былъ нетерпѣливъ и циниченъ. Въ тупой тоскѣ, почти машинально она исполнила все, что отъ нея требовали. Потомъ онъ сталъ торопить ее. Ему не хотѣлось оставить ее до утра. Сосѣди, прислуга, дворникъ... Нѣтъ, ужъ увольте...

Онъ отсчитывалъ деньги, наклонившись къ лампѣ. Сонное, распухшее лицо, красный носъ въ росинкахъ пота... голубая ночная сорочка разстегнулась на груди, подтяжки впивались въ его пухлыя, женственныя плечи. Старый развратникъ! Иронически разглядывала его, блѣдная, измученная, съ плотно сжатыми губами. Значитъ, онъ все-таки выгоняетъ ее ночью?

Умышленно-небрежно простилась.

Дворцовый мостъ развели. Кучка прохожихъ и нѣсколько извозчиковъ смотрѣли, какъ медленно, величественно и безшумно плыли пароходы, сѣрыя баржи. Мачты напоминали спицы. Тянуло холодомъ. Вода была теперь синяя съ серебрянымъ отливомъ, похитившая съ неба перламутровые оттѣнки.

Прислонившись къ сырымъ камнямъ, женщина также смотрѣла на Неву.

Мужчина подошелъ къ ней незамѣтно. На его окликъ она оглянулась съ видомъ пойманной птицы.

И почти тотчасъ же ей показалось, что земля плыветъ подъ ея ногами.

Этотъ человѣкъ такъ походилъ на того... любимаго... въ прошломъ.

Ошеломленная, она молчала. Пристально смотрѣла на его печальный ротъ, произносящій нѣжныя слова. Грезила наяву.

— Почему ты одна?

И онъ взялъ ее за руку.

— Я возвращаюсь, — пробормотала она, слабѣя отъ радости.

— Тебя на безпокоять бѣлыя ночи?

— Очень безпокоятъ.

Она позволила увести себя, дрожа съ головы до ногъ... Сколько бѣлыхъ ночей провела она вмѣстѣ съ *тѣмъ*, другимъ, ушедшимъ!.. Почему онъ бросилъ ее? Потому что никогда не любилъ. Почему она не можетъ забыть его? Потому что любятъ одинъ разъ.

Мужчина жаловался на безсонницу и тоску. Проклятый городъ! Проклятыя мистическія ночи!..

Замѣтилъ небрежно:

— Ты имѣешь интеллигентный видъ, дитя... Я не развратенъ, но я любопытенъ... вотъ и брожу по улицамъ. Да, ты возбуждаешь во мнѣ любопытство.

Она смотрѣла на него робко и восхищенно. Боже, Боже, какое изумительное сходство... только нѣтъ, ни за что не выдастъ она своей тайны... Она представила его губы на своихъ губахъ и похолодѣла. О, какое будетъ наслажденіе покоряться ему!.. Какой восторгъ— закрыть глаза и слушать этотъ голосъ! Въ ея груди струилась нѣжная, печальная, вспыхнувшая любовь.

Все преобразилось для нея. Вотъ она шла ночью, одна, и послѣ столькихъ лѣтъ встрѣтила его...

— Я буду любить тебя... ласкать тебя... О, говори еще!..

Мужчина изумленно наклонился къ падшей женщинѣ. Ея голосъ былъ голосъ любви. Спросилъ безпокойно:

— Кажется, я не встрѣчалъ тебя раньше?

— Нѣтъ. О, нѣтъ!..

И осыпала его влюбленными словами, взволнованная, съ горящими расширенными глазами, ставшая сразу прекрасной.

Онъ молча слушалъ ее, недоумѣвая и хмурясь.

— Я напоминаю тебѣ кого-нибудь?

— Нѣтъ.

Онъ бормоталъ что-то, а она вся трепетала отъ восторга и забыла, гдѣ она и что съ нею.

— Я не пойду съ вами, — вдругъ рѣзко сказалъ онъ... — я не могу... нѣтъ... я еще человѣкъ... и человѣка я не могу купить.

Умоляя, взяла его за руки.

— Выслушайте меня... выслушайте...

Ихъ руки были страшно холодны. Влага легла на лица и костюмы. Бѣлая ночь свѣтлѣла, сіяла.

Блестѣли сквозь дымку куполы. На небѣ легко-розовые, желтоватые тона. Зелень и пестрые цвѣтники въ скверѣ были свѣжи, вспрыснутые росою.

Женщина умоляла со слезами, съ изступленной тоской и нѣжностью.

— Я люблю васъ сегодня... Что вамъ до того, почему и за что я люблю васъ? Да, я вижу васъ первый разъ и послѣдній, но вы близки мнѣ... я не проститутка съ вами... Понимаете? Я люблю васъ...

Обняла его тутъ же и поцѣловала въ упоеніи. Онъ стоялъ такой блѣдный и остро смотрѣлъ на нее. Колебался. Потомъ снова имъ овладѣло подозрѣніе. Рѣшительно отнялъ свои руки.

— Нѣтъ... нѣтъ... вы мнѣ внушаете слишкомъ большую жалость..

Она дала ему уйти крупными, нервными шагами, сама же дотащилась до скамьи и сѣла.

Было ослѣпительно свѣтло, холодно и пусто. Тамъ, дальше, за скверомъ, ѣхала и пѣла пьяная проститутка. Красный султанъ то падалъ на плечи, то развѣвался по вѣтру, а пѣсенка уносилась далеко, пронзительная и фальшивая.

ПРИЗНАНІЕ.

Молодая монахиня принесла пакетъ новаго бѣлья. Положила его на прилавокъ, говоря устало:

— Вотъ... Здѣсь все, панна Ядвига...

— А! Это вы, сестра Тэкла... одну минуточку... присядьте, пожалуйста... я скоро запру магазинъ... мы поужинаемъ вмѣстѣ...

Сестра Тэкла разсѣянно улыбнулась. Она присѣла, перебирая четки. Она выглядѣла очень измученной.

Панна Ядвига считала за конторкой. На черномъ передникѣ позвякивали ножницы, карандашъ и ключи. Говорила радостно:

— Мы продали сегодня два Распятья... изъ дорогихъ... Одного Антуана Падуанскаго... нѣсколько Непорочныхъ Зачатій... А уже молитвенниковъ... я счетъ потеряла... Слава Всевышняго! Что вы скажете, сестра? А?

— Слава Всевышнему! — эхомъ откликнулась монахиня.

— Я думаю, — вздохнула панна Ядвига.

Ея полныя щеки дрожали отъ довольной улыбки.

Здѣсь продавались религіозныя книжки, статуетки, образки, серебряныя медали причастницъ, сувениры различныхъ паломничествъ. Еще издали въ глаза бросалась своеобразная витрина. Ахъ, трогательная, наивная, полная дѣтской вѣры витрина, гдѣ молились святые,

летали ангелы, пылало сердце Іисуса и шла задумчиво среди мистическихъ лилій Дѣва Марія.

Внутри было свѣтло, чисто. Ряды Распятій, безчисленное количество папъ, кардиналовъ, мучениковъ, напоминали церковь. Въ ящикахъ подъ стекломъ хранились разнообразныя четки. Если лучъ солнца попадалъ сюда, то всѣ эти голубыя, красныя, золотистыя, перламутровыя нити переливали и искрились. А когда рука вынимала ихъ, то онѣ мелодично звякали, словно еще продолжали шептать Ave.

Въ открытую дверь виднѣлась площадь, соборъ, цѣпь домовъ и магазиновъ.

Къ вечеру число прохожихъ замѣтно увеличилось. Красные лучи легли по одну сторону улицы, другая оставалась въ тѣни. Деревья осыпались, и было странно пусто кругомъ собора.

— Михалъ пишетъ, что онъ доволенъ мѣстомъ,— такъ же радостно продолжала панна Ядвига,—онъ въ великолѣпномъ настроеніи духа. Ему однако придется выслать еще денегъ... нехватаетъ... Боже мой, жизнь такъ дорога!

— А!

Сестра Тэкла выпрямилась. Смотрѣла широко-раскрытыми, жадными глазами на панну Ядвигу.

Та запирала ящики, убирала гравюры, папки, книги.

— Значитъ, вашъ братъ здоровъ?—пролепетала монахиня.

— Совершенно. Вы напрасно о немъ безпокоились, сестра... Какъ я испугалась сейчасъ... Я думала, что потеряла Магдалину. Нѣтъ, вотъ она... Подумайте, я засунула образокъ въ счета... Смѣшно. Такъ устаешь за день... ничего потомъ не соображаешь...

Онѣ болтали вздоръ. Потомъ замѣтила:

— Михалъ просилъ васъ беречь себя, сестра Тэкла... Онъ совѣтуетъ меньше переутомляться... Я писала ему, что послѣ его отъѣзда вы совсѣмъ расхворались...

— Онъ совѣтуетъ?

— Да. И очень внушительно. Какъ видите, онъ не забываетъ старыхъ друзей.

Панна Ядвига добродушно смѣялась. Ну, положимъ, не онъ одинъ любитъ сестру Тэкла. Она и Зося тоже съ ума по ней сходятъ.

— О!

Монахиня слабо улыбнулась.

Панна Ядвига экспансивно обняла ее.

— Немного веселѣе, сестра... Господь Богъ не любитъ, когда мы печалимся... жизнь славная штука... Идемте, сестра... Зося, вѣроятно, заждалась насъ.

На улицѣ онѣ производили сенсацію. Монахиня шла замкнутая, холодная, съ опущенными глазами. Бѣлый уборъ слегка трепеталъ на ея головѣ. Нѣжное, красивое лицо поблѣднѣло въ осеннихъ сумеркахъ.

Панна Ядвига шумно вздыхала. Нѣтъ, это нестерпимо... на нихъ всѣ оглядываются... этакій безбожный народъ... Впрочемъ, она улыбалась глазами. Вѣроятно, ворчала для формы.

Наконецъ онѣ завернули за уголъ. Кофейная, chambres garnies, а вотъ и ихъ домъ. Скользнули въ ворота. Потерялись во дворѣ, какъ въ безднѣ. Подымались по узкой, крутой, темной лѣстницѣ.

Монахиня бормотала молитву. Она согнулась, словно на нее навалилось что-то.

— Мнѣ кажется, я упаду скоро,—отдувалась панна Ядвига.

Въ квартирѣ было нарядно, почти богато. Вышла навстрѣчу панна Софія, худая, некрасивая, жеманная. Долго обнимала монахиню.

— Какъ вы давно не были у насъ, сестра... Мико, гадкая собачонка, перестань лаять!..

Суетились. Послѣ улицы здѣсь казалось такъ тихо. Сейчасъ же спустили шторы. Сверкнула электрическая лампочка. Блестѣлъ серебряный кофейникъ, позвякивали ложечки о чашечки. Лица сестеръ сіяли. Онѣ кротко улыбались. Сытыя, безмятежныя, довольныя. Вся жизнь прошла ровно. Ни одна пылинка скорби не коснулась ихъ. Онѣ смѣло могли требовать отъ другихъ безупречности. Вѣдь жить, по ихъ мнѣнію, было такъ легко и пріятно!

Монахиня тоскливо оглядывалась.

Дубовый буфетъ, стулья съ высокими спинками, а тамъ дальше дверь въ комнату уѣхавшаго.

Долго съ вниманіемъ отчаянія смотрѣла на нее.

Уронила блѣдно и какъ будто равнодушно:

— Вы сдадите комнату пана Михала?

— Да... да!.. Конечно!

Сестры говорили въ одинъ голосъ. Три комнаты для нихъ много... онѣ вѣдь не милліонерши... расходы... Михасю также нужно помогать...

Дѣвушки восторженно вспоминали брата.

О, онъ будетъ человѣкомъ... этотъ будетъ... Іезусъ-Марія, какія онъ только штуки выкидывалъ!

Женщины сходили съ ума... просто не давали ему покоя, глупенькія... лѣзли даже сюда, прямо въ квартиру... Ну, ничего, Михась образумится. Вѣроятнѣе всего, онъ женится на младшей Агницкой, бѣлокурой... Да... прекрасная дѣвушка...

Монахиня сжимала четки. Ея лицо приняло суровое, страдальческое выраженіе. Она походила на статую скорби. Не проронила ни одного слова.

— Сестра Тэкла, вамъ нездоровится?

— Да, немного.

Пусть онѣ не безпокоятся. Покорно послѣдовала за дѣвушками въ комнату Михала.

Тамъ все оставалось попрежнему, только узкіе зеленые бокалы стояли безъ цвѣтовъ,—мелочь, больно, насмерть ранившая монахиню. Послѣдняя капля въ чашѣ горя.

Сестра Тэкла залилась слезами.

Она твердила среди изступленныхъ рыданій:

— Я такъ любила его!.. Я такъ любила его, милосердный Боже!..

Сестры онѣмѣли отъ ужаса. Имъ казалось, онѣ видятъ бездну передъ собою. Какъ, эта монахиня?.. Чудная, чистая, гордая сестра Тэкла... Возможно ли? Уже не дьяволъ ли соблазнилъ ихъ? Что сказалъ бы ксендзъ Окшевскій?..

Панна Ядвига готовилась сама заплакать. Панна Софія поджала тонкія губы.

Она чуточку, полубрезгливо коснулась плеча монахини.

— Сестра Тэкла, это неприлично... успокойтесь...

Панна Ядвига лепетала что-то невнятное. Нѣтъ, конечно, сестра Тэкла ошибается... ей только кажется такъ... она не любитъ Михася... она просто привыкла къ нему... Михась такъ шутливо относился къ ихъ дружбѣ...

— И мы никому не скажемъ, сестра...

— О, никому, — съ достоинствомъ потвердила панна Софья.—Мы не хотимъ компрометировать васъ... нѣтъ... нѣтъ....

Панна Ядвига принесла воды. Панна Софья, поджимая губы, шептала слова утѣшенія. Звучало, какъ выговоръ классной дамы.

Монахиня уже не плакала. Она словно постарѣла за эти минуты. Она шокировала дѣвушекъ своимъ ту-

нымъ горемъ. И потомъ она оглядывалась... съ такимъ раздирающимъ видомъ оглядывалась!..

Да, конечно, онѣ не выдадутъ сестры Тэклы. Она могла быть совершенно спокойна, но зеркало ихъ дружбы разбилось. Онѣ перестали уважать ее. Онѣ смотрѣли на нее сверху внизъ. Она какъ бы стояла передъ ними безъ монашеской одежды, обыденная и жалкая. Онѣ не могли ни понять, ни простить.

Сестра Тэкла поняла.

Встала холодная и замкнутая передъ своими судьями.

— Ну, до свиданья!..

Ея не удерживали.

СТАКАНЪ КОФЕ.

Имъ поклонился лакей, улыбаясь, какъ старымъ знакомымъ, и барышня у кассы.

Послѣ сырого, туманнаго вечера и грохота улицы здѣсь казалось очень свѣтло, нарядно и уютно, хотя, въ сущности, это была самая простая, недорогая кофейная. Зеленыя бархатныя портьеры, высокія, узкія зеркала, нѣсколько чахоточныхъ пальмъ.

Три пожилыхъ господина читали газету вполголоса за общимъ столомъ. Они даже не оглянулись. Адель шутила неестественно-громко. Глаза ея бѣгали по предметамъ. Красные цвѣты на гигантской шляпѣ трепетали съ угрожающимъ видомъ. Всякое равнодушіе тревожило ее. Хотѣла быть замѣчаемой вездѣ, всегда и всѣми. Она стягивала перчатки, заказывая кофе, и даже лакею улыбнулась безстыдной, обнаженной улыбкой.

Большими страдающими глазами Морвицъ слѣдилъ за нею.

Эта женщина приводила его въ ужасъ. Что тянуло ее къ пошлости и грѣху? Понимала ли она, что дѣлала? Вчера она сказала ему, вся красная отъ возбужденія:

— Какой же вы влюбленный, если у васъ нѣтъ денегъ? Влюбленные всегда должны имѣть деньги. Продайте себя, заложите, украдите, но достаньте!

Онъ стыдился ея, стѣнъ, самого себя. Да, вчера все было ужасно. Ея платье, духи, голосъ, злость, даже

слезы, даже жалобы. Впрочемъ, чего онъ могъ требовать отъ маленькой выходной актрисы? Она шокировала его также своимъ пошлымъ именемъ Адель; часто онъ называлъ ее то Маріей, то Ирэной. Но онъ любилъ ее. Порядочный, интеллигентный, умный человѣкъ любилъ распущенную, глупую, нравственно-нечистоплотную женщину. И чѣмъ онъ больше убѣждался въ этомъ, тѣмъ сильнѣе приходилъ въ отчаяніе.

Сейчасъ Морвицъ нагнулся къ ней.

— Я хочу серьезно поговорить съ вами, Адель... вчера вы раздражались, но...

Она мѣшала ложечкой въ стаканѣ съ дѣтски-сосредоточеннымъ видомъ, потомъ неожиданно замурлыкала:

Зачѣмъ страдать, зачѣмъ жалѣть
Мнѣ объ отвергнутой любви...

— Тсс!.. Бога ради!.. На насъ смотрятъ.

— Ну, и пусть...

Разстроенный, онъ прошепталъ:

— Вы должны пожалѣть меня... возможно, мы видимся въ послѣдній разъ...

— Ахъ, сколько разъ я это слышала!

Онъ искалъ словъ и не находилъ.

Ему казалось глубочайшей ироніей и то, что о своей любви, о своемъ будущемъ онъ станетъ говорить здѣсь, за стаканомъ кофе, подъ взглядами лакеевъ.

Вспоминалъ эти два года мытарствъ отъ ея дома къ ея уборной, отъ ресторана къ ресторану, счета, долги, упреки, сцены, грубую любовь. Ему хотѣлось закрыть глаза,—такую усталость онъ чувствовалъ.

На нее не дѣйствовала ни ласка, ни угроза. Если она голодала, то переносила это тупо, равнодушно, валяясь въ неубранной комнатѣ; если жилось хорошо,—хохотала ему прямо въ лицо:

— Ты, видишь, я еще пойду далеко.

Адель ѣла бисквиты и осторожно косилась въ сторону трехъ мужчинъ. Рѣшительно, одинъ изъ нихъ напоминалъ ей кого-то

Заикаясь отъ волненія, Морвицъ задалъ ей ненужный вопросъ:

— Неужели же ваша обстановка не тяготитъ васъ?

— У меня отличная обстановка... Вы не находите?

— Не шутите же, Адель...

— Скучно мнѣ съ вами, всегда одно и то же.

Сброшу съ себя я оковы любви
И постараюсь забыться...

— Да не пойте же мнѣ прямо въ лицо!

— Ахъ, извините, пожалуйста...

Она надулась и зѣвала. Красные цвѣты колебались попрежнему, словно кричали Морвицу: «Нѣтъ... нѣтъ!..»

Мужчины уже не читали. Она мимикой чуть-чуть трусливо разговаривала съ ними. Смѣялась надъ своимъ спутникомъ. Морвицъ чувствовалъ это. У него выступилъ холодный потъ.

Онъ желалъ, неудержимо, страстно желалъ заставить ее думать о себѣ.

Пробормоталъ:

— Адель, помиримся... будемъ думать, что ничего не случилось.

— Мнѣ все равно, я не ссорилась.

Блѣдный, онъ рѣшился прибѣгнуть къ послѣднему.

— Хотите переѣхать ко мнѣ, остаться со мною навсегда?

Адель смѣялась.

— Къ вамъ переѣхать?

И вотъ я вновь опять съ тобой
Безумнымъ счастьемъ наслаждаюсь...

Чернобровая барышня подсчитывала кассу. Томились, переминались, лѣниво перебирая конфеты, продавщицы. Лакеи болтали вполголоса.

Снова ему пришло въ голову, что Адель похожа на всѣхъ этихъ накрашенныхъ дѣвицъ, вульгарна и глупа.

Мелькнуло, какъ зарница, гдѣ-то глубоко, глубоко на днѣ души и померкло. Осталось сознаніе, что онъ любитъ ничтожество и самъ дѣлается ничтожествомъ.

— Это ваше послѣднее слово, Адель?

— Ну, какъ же иначе? Иначе... я не знаю.

Неожиданно одинъ изъ трехъ мужчинъ поднялся и поклонился Адели.

Оживленно закивала головой, а вмѣстѣ съ нею оживились и красные цвѣты на шляпѣ.

— Monsieur Венцель, идите сюда...

Морвицу оставалось тоже подняться и поклониться непрошенному гостю.

Этотъ сѣдой господинъ подсѣлъ къ нимъ. Они снова спросили кофе.

Теперь Адель безпрерывно смѣялась. Распахнула жакетъ и развалилась.

Морвицу вдругъ захотѣлось сейчасъ же проститься, демонстративно удалиться, поступить съ нею, какъ она того заслуживаетъ. И отъ волненія онъ блѣднѣлъ все больше. Онъ резновалъ съ физической болью.

Г. Венцель оказался очень предупредительнымъ. У нихъ были общіе интересы. Она настоятельно приглашала его. Г. Венцель писалъ адресъ на визитной карточкѣ.

«Онъ поѣдетъ къ ней, разумѣется,—терзался Морвицъ.—Зачѣмъ онъ ей!.. Можно ли такъ страдать!?»

Ему казалось, что это тянулось невыносимо долго.

Наконецъ они втроемъ вышли.

Адель захотѣла кататься.

Около экипажа она и г. Венцель остановились въ нерѣшительности. Ясно, одному изъ нихъ слѣдовало проститься. По лицу г. Венцеля ползла еле уловимая, какъ судорога, улыбка.

Тогда Морвицъ поднялъ шляпу.

— До свиданья!

Адель облегченно разсмѣялась. Привѣтливо откликнулась. До свиданья, конечно. И пусть бы онъ поднялъ воротникъ, а то холодно...

Онъ пошелъ обратно, очень быстро, словно боясь самъ за себя.

Теперь все кончено. Ясно, все кончено.

Вернувшись къ себѣ, онъ въ изнеможеніи бросился на диванъ.

Ему уже приготовили чай, его любимый хлѣбецъ и варенье. Старая горничная неслышно ступала въ сосѣдней комнатѣ. Потрескивалъ каминъ. Сквозь плотно-спущенныя шторы не доносился гулъ улицы. Раскрытый томикъ мечтательнаго Шелли ждалъ его.

И Морвицъ смягчился.

Онъ снова сдѣлался деликатнымъ, тихимъ, немного грустнымъ, но безконечно-добрымъ человѣкомъ.

Онъ сдѣлался тѣмъ, чѣмъ былъ въ дѣйствительности. И онъ думалъ, что Адель не такъ уже сильно виновата. Онъ забылъ о настоящей Адели, а мечталъ о той, которую самъ создалъ.

И полный нѣжности, любви, раскаянія, онъ схватилъ листъ бумаги.

«Моя дорогая крошка, я такъ сильно виноватъ...»

Онъ писалъ до полуночи и улыбался.

Чернобровая барышня подсчитывала кассу. Томились, переминались, лѣниво перебирая конфеты, продавщицы. Лакеи болтали вполголоса.

Снова ему пришло въ голову, что Адель похожа на всѣхъ этихъ накрашенныхъ дѣвицъ, вульгарна и глупа.

Мелькнуло, какъ зарница, гдѣ-то глубоко, глубоко на днѣ души и померкло. Осталось сознаніе, что онъ любитъ ничтожество и самъ дѣлается ничтожествомъ.

— Это ваше послѣднее слово, Адель?

— Ну, какъ же иначе? Иначе... я не знаю.

Неожиданно одинъ изъ трехъ мужчинъ поднялся и поклонился Адели.

Оживленно закивала головой, а вмѣстѣ съ нею оживились и красные цвѣты на шляпѣ.

— Monsieur Венцель, идите сюда...

Морвицу оставалось тоже подняться и поклониться непрошенному гостю.

Этотъ сѣдой господинъ подсѣлъ къ нимъ. Они снова спросили кофе.

Теперь Адель безпрерывно смѣялась. Распахнула жакетъ и развалилась.

Морвицу вдругъ захотѣлось сейчасъ же проститься, демонстративно удалиться, поступить съ нею, какъ она того заслуживаетъ. И отъ волненія онъ блѣднѣлъ все больше. Онъ резновалъ съ физической болью.

Г. Венцель оказался очень предупредительнымъ. У нихъ были общіе интересы. Она настоятельно приглашала его. Г. Венцель писалъ адресъ на визитной карточкѣ.

«Онъ поѣдетъ къ ней, разумѣется,—терзался Морвицъ.—Зачѣмъ онъ ей!.. Можно ли такъ страдать!?»

Ему казалось, что это тянулось невыносимо долго.

Наконецъ они втроемъ вышли.

KU20 S 88648 RR

Адель захотѣла кататься.

Около экипажа она и г. Венцель остановились въ нерѣшительности. Ясно, одному изъ нихъ слѣдовало проститься. По лицу г. Венцеля ползла еле уловимая, какъ судорога, улыбка.

Тогда Морвицъ поднялъ шляпу.

— До свиданья!

Адель облегченно разсмѣялась. Привѣтливо откликнулась. До свиданья, конечно. И пусть бы онъ поднялъ воротникъ, а то холодно...

Онъ пошелъ обратно, очень быстро, словно боясь самъ за себя.

Теперь все кончено. Ясно, все кончено.

Вернувшись къ себѣ, онъ въ изнеможеніи бросился на диванъ.

Ему уже приготовили чай, его любимый хлѣбецъ и варенье. Старая горничная неслышно ступала въ сосѣдней комнатѣ. Потрескивалъ каминъ. Сквозь плотно-спущенныя шторы не доносился гулъ улицы. Раскрытый томикъ мечтательнаго Шелли ждалъ его.

И Морвицъ смягчился.

Онъ снова сдѣлался деликатнымъ, тихимъ, немного грустнымъ, но безконечно-добрымъ человѣкомъ.

Онъ сдѣлался тѣмъ, чѣмъ былъ въ дѣйствительности. И онъ думалъ, что Адель не такъ уже сильно виновата. Онъ забылъ о настоящей Адели, а мечталъ о той, которую самъ создалъ.

И полный нѣжности, любви, раскаянія, онъ схватилъ листъ бумаги.

«Моя дорогая крошка, я такъ сильно виноватъ...»

Онъ писалъ до полуночи и улыбался.

МЕРТВОЕ.

I.

Таня открыла глаза. Который часъ? Неужели она проспала?

Чутко прислушалась.

Въ сосѣдней комнатѣ кто-то глухо кашляетъ и тяжело дышитъ. У тети Вари припадокъ астмы.

Таня видитъ, какъ безшумно мелькнула горничная съ платьемъ. Отразилась въ зеркальной двери шкапа.

Вставать не хочется.

Постель такая мягкая, широкая, бѣлье тонкое. Понѣжиться бы... Но стѣсняется тетки. Досадуетъ иронически и сконфуженно. Не успѣла переступить порога, какъ чувствуетъ себя дѣвочкой, бѣдной родственницей, зависящей даже отъ прислуги. Режимъ здѣсь строгъ. Нужно во-время говорить, во-время молчать, во-время смѣяться. Нужно измѣнить походку, голосъ, прическу, жесты. Нужно быть безличной, угодливой, веселой и забавной. Такая атмосфера кругомъ.

Всѣ лгутъ, всѣ лицемѣрятъ, всѣ боятся тети Вари, льстятъ и завидуютъ. Воздухъ насыщенъ магическимъ словомъ «деньги». О деньгахъ кричатъ стѣны, зеркала, ковры, цвѣты, стильная мебель, жемчуга въ ушахъ тети Вари, ея платья, шубы, карета, лакеи. Деньги!.. О нихъ думаютъ, говорятъ, мечтаютъ, о нихъ видятъ сны. Онѣ перестали быть мертвымъ предметомъ. За-

нимаютъ первое мѣсто и, наглыя, всемогущія, лѣзутъ ежеминутно—и въ душу, и въ мозгъ. Заражается этимъ и Таня. Кошмаромъ выглядитъ прошлая бѣдность.

Удивилась. Вотъ анализируешь себя, анализируешь, а не поймешь до конца.

Изъ спальни голосъ тетки, глухой, но пріятный:

— Кофе хочешь?

— Да, пожалуйста.

Это—мелочь, но мелочь, раздражающая Таню. Привыкла пить кофе, одѣтая, причесанная и непремѣнно съ газетой. Здѣсь нельзя. Тетя Варя зоветъ къ себѣ.

Милость. Знакъ благосклонности. Нужно дорожить. Таня наскоро одѣвается.

Спальня молочно-розовая, похожая на раковину. Хорошо. Кажется, никогда не ушелъ бы отсюда. Странно думать, что есть нищета на свѣтѣ. Тутъ не повѣрится. Жалость тухнетъ. Сердце окаменѣетъ. Тетя Варя борется съ астмой. Дорогія кружева такъ и вздымаются на груди. Вздрагиваютъ точеныя руки, выкрашенные волосы, серьги... Она все-таки изумительно сохранилась для своихъ пятидесяти лѣтъ.

Была красавицей.

— Добрый день, тетя!

Таня принужденно садится, беретъ чашку кофе. Ей неловко подъ взглядомъ старухи.

— Знаешь,—говоритъ медленно, задыхаясь, тетя Варя,—я ночью рѣшила, что ты можешь повидать Смирнова... Ну, да, конечно... ты права... прошло уже много времени... свое ты отстрадала... можетъ быть вы помиритесь... Ты его простила?

Племянница блѣднѣетъ:

— Я ради этого и пріѣхала.

— Вѣдь ты его простила? А? Отвѣчай,—сердится тетя Варя.

— Простила.

— Ну, вотъ... поѣдешь сегодня... А ты очень любила ребенка?

— Очень.

— Плакала, когда онъ умеръ?

— Плакала.

— Господи!.. Ты радоваться должна... вѣдь ты теперь замужъ можешь выйти... да... Три года ты его не видѣла?.. Смирнова?

— Три года...

— Ахъ, Боже мой!..

Таня бросаетъ задумчиво:

— Никогда мы не возвращаемся такими, какъ уѣхали... Ужасно мѣняемся... все мѣняется... когда любишь—это даже страшно... словно ежедневно умираемъ.

Тетя Варя откидывается на подушки. Сразу ея лицо становится злымъ, непріятнымъ.

— Довольно, Таня... не люблю я панихидъ... Сама во всемъ виновата... увлеклась, надѣлала глупостей, удержать не сумѣла... А могло быть иначе.

Примолкли. Слышно, какъ лакей убираетъ гостиную.

На парадномъ звонокъ. Это управляющій—Мироновъ.

— Ну, иди... да будь веселѣе,—сухо говоритъ тетка.

II.

Мироновъ—тихій, корректный старикъ въ pince-nez. Управляющій, повѣренный и свой человѣкъ у тети Вари.

Съ Таней онъ почтительно мягокъ. Помнитъ ея драму. Всегда былъ на ея сторонѣ.

— Петръ Ивановичъ,—мучительно краснѣетъ Таня,—свезите меня къ Смирнову... Тетя Варя тоже совѣтуетъ.

— Хорошо-съ... хорошо,—смущенно кланяется онъ.

Ровно, безъ выраженія и на видъ холодно докладываетъ. Смирновъ продалъ домъ. Боленъ. Не встаетъ съ креселъ. Тетя Варя его навѣщаетъ изрѣдка.

У Тани вырывается искренній, измученный крикъ:

— Скучно у васъ здѣсь, Петръ Ивановичъ... душно... отвыкла я. Пріѣхала и не рада... Нѣтъ, видно, ерунда все это... родственныя чувства.

— Тсс... тсс!..—пугается Мироновъ.

Она волнуется:

— Петръ Ивановичъ, родной вы мой, зачѣмъ я пріѣхала? Не приметъ меня Смирновъ... Чувствую, что не приметъ... Чѣмъ я тогда жить буду? Вѣдь три года только этой надеждой и дышу... Ахъ, что я надѣлала... Развѣ мертвое воскресаетъ? Удивительно заблуждается человѣкъ... Служила я себѣ въ N—скѣ, съ ребенкомъ нянчилась, языками занималась и думала: «Погоди, не то... клочокъ жизни, не сама жизнь, а жизнь яркая, прекрасная, кипучая тамъ... гдѣ Смирновъ, тетя, мои подруги по дѣтству, мое прошлое...» И когда мой Колька умеръ, я утѣшалась тѣмъ же... А теперь мнѣ такъ страшно, Петръ Ивановичъ... такъ страшно...

— Тс... тише!..

Засмѣялась. Хорошо, хорошо... она замолчитъ. Она сама, сама знаетъ, что нужно замолчать. Умоляюще взяла его за руки.

— Петръ Ивановичъ, а если я увижу Смирнова... если... тогда можетъ быть иначе, Петръ Ивановичъ? Правда?

— Да... да...

Отошла, задумалась. И мысли странно не вязались съ настоящимъ. О веснѣ думала. Каждый годъ она

повторялась. Каждый годъ радовала человѣческое сердце. Каждый годъ казалось новой, желанной, не познанной до конца. Приносила съ собою дымчатыя, робкія мечты, наполняла сердца невыразимой нѣжностью, сулила то, чего никогда не исполняла. Таня вздохнула. Ахъ, укатали сивку крутыя горки!.. Плохо ей. Тяжело. Тоскливо. Мелькнули годы пусто, холодно, ненужно. Не сумѣла взять отъ жизни главное—ея радость. Только печалью куталась. Никому не дала счастья своимъ гибкимъ, пытливымъ умомъ, здоровымъ, сильнымъ, красивымъ тѣломъ, ни даже умѣніемъ работать жадно и весело. Не сумѣла ни найти удовлетворенія, ни обезпечить себя, ни грѣшить, ни жить «праведно». Даже въ любовь къ Смирнову вплела сѣрыя, будничныя ноты, отреклась отъ нея одно время, возвращалась теперь пугливо. Нѣтъ, не умѣла... ничего не умѣла.

— Чему вы смѣетесь, Татьяна Михайловна?

— Весело, Петръ Ивановичъ.

Мироновъ счета провѣряетъ. Таня медленно ходитъ. Тихо. Кабинетъ, малиновый съ чернымъ, словно дремлетъ. Сурово глядятъ портреты. Часы тикаютъ. Предметы тонутъ въ матовой глубинѣ зеркала.

Ждутъ тетю Варю.

III.

За обѣдомъ человѣкъ восемь. Все это приживалки, приживальщицы и никчемные люди. Таня никого не можетъ назвать по имени.

Тетя Варя въ синемъ шелковомъ платьѣ съ золотистой сѣткой. Бирюза въ ушахъ, на шеѣ, рукахъ. Моложаво причесана, моложаво смѣется.

Позвякиваетъ серебро, переливаетъ хрусталь, чинно служитъ лакей.

— Поѣдешь къ Смирнову?—неожиданно обращается тетка.

— Поѣду.

Тетя Варя щурится. Не стѣсняется присутствіемъ гостей, разсказываетъ. Какой это былъ ужасъ!.. Какія африканскія страсти!.. Племянница умъ потеряла. Всѣ думали, впрочемъ, что Смирновъ женится. Нѣтъ, какое тамъ... Онъ человѣкъ богатый, избалованный деспотъ... Скоро забылъ Таню. Никогда не вспоминаетъ... Тетя Варя горячится. Бросаетъ салфетку, сверкаетъ глазами... Нѣтъ, это подло!.. Это гнусно!.. Таня—сирота. За нее некому было вступиться... Она, тетя, Варя, жила тогда за границей... Таня—одна, въ имѣніи... Тутъ подвернулся Смирновъ. Боже мой, все такъ понятно!..

На Таню обращены взоры цѣлаго стола. Шопотъ сожалѣнія. Она пьетъ большими, нервными глотками вино. Роняетъ устало:

— Все проходитъ, тетя...

— Нѣтъ, не все,—сердится старуха,—и твой Смирновъ негодяй. Я бы на твоемъ мѣстѣ заставила бы его жениться.

Послѣ третьяго блюда Таня рѣшительно встаетъ.

Половина седьмого... Она поѣдетъ.

— Петръ Ивановичъ, захватите мою визитную карточку, приказываетъ тетя Варя, — и пусть Таня напомнитъ, что она—моя племянница.

Уже на улицѣ Таня вздыхаетъ. Идутъ нѣкоторое время молча. Воздухъ теплый, упругій, пріятный для лица. Большое оживленіе.

Слова срываются и падаютъ тихія, усталыя, никому не предназначенныя:

— Разъ налито—нужно выпить. Я что я ему скажу—не знаю. Просить или молчать?

Угадала отвѣтъ, заглянувши въ добрые глаза Миронова.

— Плохо кончится? Пусть... Я не волнуюсь. Видите, у меня даже руки теплыя.

На углу взяли извозчика. Мелькали освѣщенные магазины, дома, театры, сновали люди, бѣгалъ трамвай, звенѣли автомобили. Думалось же о своемъ и ничего не видѣлось изъ окружающаго.

— Нехорошо мнѣ, Петръ Ивановичъ... Ахъ, какъ нехорошо!.. Надоѣла я себѣ...

У подъѣзда Мироновъ заволновался.

— Господь вамъ помоги!

Заразилъ ее своимъ волненіемъ. Поблѣднѣла. Растерянно улыбалась. Лепетала:

— Ничего, ничего, я какъ-нибудь... что-нибудь...

Только въ передней Смирнова вспомнила, что не подала управляющему руки.

— Баринъ проситъ,—широко улыбался лакей.

Густо, жарко покраснѣла раздѣваясь. Медлила у зеркала. Въ груди сердце трепетало, какъ птица. Три года разлуки... Что-то будетъ?

Миновала парадныя комнаты слабыми, неувѣренными шагами. Какія-то массивныя картины, массивныя зеркала. Бронза, чучела, шкуры. Неуютно, холодно, мрачно. Чувствовала себя ничтожной, затерянной.

Дверь въ кабинетъ открыта.

Силуэтъ больного старика...

Смирновъ укутанъ плэдомъ до колѣнъ. Халатъ мышинаго цвѣта, прозрачныя маленькія руки. Лица Таня въ первую минуту не разглядѣла.

Шла, безсмысленно улыбаясь.

— Здравствуйте, Александръ Яковлевичъ!

— Боже мой,—пробормоталъ онъ по-французски, —

какъ вы напугали меня, Таня...—Капризно крикнулъ лакею:—Ступай!.. Я не звонилъ.

Взялъ Таню за руку, продолжая удивляться. Она стояла взволнованная до послѣдняго нерва, съ бьющимся сердцемъ, неискренней улыбкой, не зная, съ чего начать. Какъ онъ постарѣлъ, измѣнился... Совсѣмъ трупъ...

— Садитесь ближе, Тата... и не глядите на меня такъ... болѣзнь... Какъ вы исхудали... Боже мой!.. Что это вамъ вздумалось?.. Ну... ну... не обижайтесь... присядьте...

Таня, сбиваясь, оправдывалась. Все смѣшалось, все забылось. Заплакала.

Не могла она не пріѣхать... ребенокъ—умеръ... Она такъ одинока... Вѣдь она любила его искренно... Ей казалось, она имѣетъ право...

Быстро и съ неудовольствіемъ перебилъ ее:

— Да... да... ужасно—tout passe... Успокойтесь, дитя мое... вы видите, я уже не тотъ... Любовь, увлеченіе... Это красиво, но я усталъ... Усталъ отъ всего... Хотите чаю?—Отказалась жестомъ. Сидѣла бѣлѣе кружева на воротѣ.

Смирновъ неуклюже выдвинулъ ящикъ стола.

— У меня конфеты... Кушайте, я тоже ѣмъ... Какая сегодня погода?

Таня молчала. Упорно и скорбно разглядывала это безкровное, надменное лицо съ тонкими губами. И этотъ человѣкъ былъ отцомъ ея ребенка? Этого человѣка она любила? О, Боже!..

Смирновъ брюзжалъ. Его всѣ оставили. Родные обираютъ... прислуга воруетъ... пусть бы хоть умереть дали спокойно.

Вдругъ взглянулъ на нее остро, пронизывающе:

— А деньги отъ меня ты аккуратно получала?

— Да,—вспыхнула Таня,—но теперь мнѣ не нужно... вы помогали не мнѣ, ребенку.

Онъ насмѣшливо улыбнулся, кусая шоколадку.

— Деньги всегда нужны, впрочемъ, какъ хочешь...

И прикрылъ глаза. Черезъ минуту онъ снова очнулся.

— А, знаешь, я думалъ, ты уже замужемъ... Это было бы умно... да, умно.

Она начала прощаться. Не задерживалъ. Просилъ конфеты взять.

— Очень вкусныя, увѣряю тебя...

При ней же задремалъ. Почему-то напомнилъ ей тетю Варю.

Шатаясь отъ тоски, вышла.

IV.

Бѣгутъ поля, деревни, лѣсъ, рѣки, бѣжитъ сѣрое нависшее небо, бѣжитъ туманная, синяя даль...

Пассажиры томятся. Глядятъ безучастно то въ окно вагона, то другъ на друга и постно ведутъ разговоры. Дремлется. Нѣтъ мыслей, нѣтъ словъ. Таня кутается въ плэдъ, зябнетъ, угрюмо вскидываетъ глаза на сосѣдей. Зачѣмъ ѣхала? Зачѣмъ возвращается? Зачѣмъ живетъ?

Не знаетъ.

Скучно ей... одиноко.

ПРАВДА.

Видишь, я знаю, что поступаю жестоко. Я ухожу и оставляю тебя одну. Тебя, такую слабую, безпомощную безконечно нуждающуюся въ ласкѣ. Тебя, которая плакала часто, рѣдко смѣялась, и волосы которой отливали золотомъ. Я люблю тебя! Слышишь? Передъ смертью я особенно громко повторяю это. Я люблю тебя! Несмотря на муку послѣдняго мѣсяца, счастливъ встрѣтивъ тебя. Я бы и половины не испыталъ того, что ты дала мнѣ.

Теперь я хочу объяснить тебѣ, почему я умираю. Я не положу на твои хрупкія плечи страшной тайны, не заставлю терзаться вопросомъ: «Почему онъ оставилъ меня одну?»

Нѣтъ, малютка, ты не заслужила подобной жестокости.

Ясно слышу умоляющій голосъ: «Бруно, спокойнѣе... Бруно...»

Я спокоенъ, дорогая.

Вчера въ сумеркахъ ты постучалась ко мнѣ...

— Кто тамъ?

— Дѣвочка Викта.

О, какъ это вышло у тебя печально, безконечно-печально, твоя шутка!

Я долго разсматривалъ тонкое, исхудалое, почти прозрачное личико, усталые, расширенные безсонницей глаза, лихорадочно-пылающій ротъ. Бѣлое платье и

косы дѣлали тебя дѣйствительно дѣвочкой. Какъ ты сгорѣла... измѣнилась... мой несчастный ребенокъ!

Я едва не крикнулъ:

— Забудь все.. это была злая шутка... помиримся... Но мы не ссорились, великій Боже! Мы просто слишкомъ близко подошли другъ къ другу, слишкомъ пытливо заглянули въ наши души, увидѣли тамъ много скрытого, погребеннаго и захотѣли воскресить мертвецовъ. Зачѣмъ мы одѣли нашу любовь въ трауръ? Ахъ, я напрасно говорю «мы», я—одинъ, только я—одинъ. Не вини меня. Ревность—внѣ разсудка. А я ревновалъ тебя ко всему, въ чемъ я не участвовалъ. Я хотѣлъ быть съ тобою и въ прошломъ. Я хотѣлъ стереть, уничтожить въ твоемъ сердцѣ всѣ имена, кромѣ моего. Я былъ слишкомъ самонадѣянъ. Хотѣлъ сотворить чудо. Хотѣлъ здѣсь, на землѣ, быть единымъ, ты—во мнѣ, я—въ тебѣ. Все знать другъ о другѣ... все! Я думалъ для полнаго счастья недостаточно только любить. О, если бы сердце, чуткое, правдивое сердце подсказало мнѣ!

Человѣкъ долженъ быть одинокимъ и скрытнымъ. Мы еще не нашли тѣхъ словъ, которыми могли бы обмѣниваться безъ боли. Лишь послѣ смерти мы станемъ понятными другъ другу, познаемъ правду.

Твое прошлое. Оно представлялось мнѣ загадочнымъ. Я рвался къ нему. До того, какъ мы очутились вмѣстѣ, я мало зналъ тебя. Зато много о тебѣ слышалъ. О тебѣ вездѣ и охотно злословили.

Мое любопытство, однако, поглотилось чувствомъ при первой встрѣчѣ. Я потерялъ голову. Ты поступила какъ женщина, которая любитъ. Ты пришла ко мнѣ не женой, не сестрой, не любовницей, а частицей моего «я». Ты не могла жить безъ меня. Ты пришла. Ты ничего не спрашивала и никого не боялась.

О, какъ зло, какъ грубо заплатилъ я тебѣ за довѣрчивость! Зачѣмъ мнѣ понадобилась твоя исповѣдь? Зачѣмъ я пожадничалъ на послѣднее сокровище твоей ограбленной души? Я не знаю.

Есть ужасныя мысли, онѣ впиваются въ сердце и образуютъ тамъ гнойную рану. Онѣ неуловимы, неотступны. И такая мысль посѣтила меня.

Прошлое Викты. Я хочу знать ея прошлое!

Вѣрь мнѣ, я боролся. Я плакалъ ночами. Я такъ боялся. Я чувствовалъ, что это должно убить тебя. Ты защищалась отчаянно. Изнемогая въ нравственной борьбѣ, ты молила о пощадѣ. Ты умоляла... молчаніемъ. О, эти недѣли, эта мука!..

И вотъ вчера мнѣ показалось, что сейчасъ все рѣшится. Дальше томиться было немыслимымъ.

Мы дошли съ тобою до экстаза тоски, до экстаза страданія. Это нужно было прекратить.

— Разскажи же о себѣ, Викта...

Впервые твоя блѣдность не тронула меня. Я катился внизъ.

Я слышалъ, какъ билось родное сердце.

— Все разсказать?

— Да.

Ахъ, не думай, не думай, что я былъ спокоенъ. Я страдалъ, колебался, готовъ былъ подсказать тебѣ рѣшительный протестъ.

Ты осталась покорной. Такъ кротко, полно, такъ безнадежно покорна.

— Дѣвочка Викта.

По моему тону ты увидѣла, что отступленія нѣтъ.

И тогда спокойно, почти равнодушно, какъ больная врачу, ты разсказала о себѣ правду. Все разсказала. По крайней мѣрѣ то, что вмѣщалось въ слова. Женщина бываетъ смѣла.

Стараясь подражать тебѣ, я слушалъ тоже равнодушно, изрѣдка, ронялъ:

— Да, Викта...—Хорошо, Викта...

Наконецъ ты заплакала. Ты не рѣшалась положить голову мнѣ на грудь. Ты осталась въ креслѣ, затушеванная сумерками. Я слышалъ твой плачъ, но что-то мѣшало мнѣ обнять тебя. О, прости, я никогда не лгалъ лаской! Я не могъ. Я думалъ о тѣхъ поцѣлуяхъ, которые умерли на твоихъ губахъ.

Мы долго молчали, то было нехорошее молчаніе. Твоя душа (не ты, а твоя душа, Викта) не прощала мнѣ насилія. Я не прощалъ прежней слѣпой вѣры въ тебя.

Дѣвочка Викта, моя дѣвочка съ бѣлокурыми косами...

Я унизилъ тебя. Страшно унизилъ.

Я почувствовалъ облегченіе послѣ твоего ухода. Да, словно я сбросилъ съ груди громадный камень. Я сжималъ голову. Примириться? Не значитъ ли это махнуть рукой? Забыть? Не значитъ ли любить черезчуръ спокойно? Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!.. И все во мнѣ кричало: нѣтъ!..

Потомъ, кажется, я еще философствовалъ. Я вспоминалъ литературу по этому поводу.

Я уснулъ, придавленный несчастьемъ.

Сегодня за утреннимъ кофе мы встрѣтились напряженно. Грубый стыдъ исказилъ наши улыбки. Мы болтали вздоръ, чтобы заглушить важное. Мы лгали. Мы стали чужими, едва не враждебными.

Когда ты вышла на прогулку, я изъ окна наблюдалъ за тобою.

Безобразная, отвратительная подозрительность родилась во мнѣ. (Я осмѣливаюсь писать это, ибо я не остаюсь съ тобою, Викта... ты должна знать все)...

Я подумалъ: «Сказала ли она правду до конца? Не утаила ли чего? Было ли только прошлое, а если... и теперь?.. Куда она ушла?»

Прости, прости!.. Я—чудовище, я—циниченъ, грубъ безъ мѣры...

И ужаснулся тогда и своимъ мыслямъ, и тому, что долженъ жить съ тобою вмѣстѣ.

Я не могъ уже остаться съ тобою, здѣсь, пойми... *То* всегда стояло бы между нами, *то* не забывается, не умираетъ. Возможно, женщина проститъ, но мужчина не можетъ простить.

И когда я твердо обдумалъ вчерашнее, мнѣ показалось нетруднымъ уйти отъ тебя. Вѣдь оставаясь жить, я бы все равно замучилъ тебя. Ты возненавидѣла бы меня... ты, любившая такъ много...

Я превратилъ бы каждый нашъ день въ годъ муки.

Нѣтъ!

Я говорю, я кричу—нѣтъ!..

Я не умѣю разсказать тебѣ, какъ нѣжно, пылко и стремительно я любилъ тебя. Если бы мнѣ пришлось писать вѣчность, я ничего не прибавилъ бы къ этому. Но я думаю утѣшить тебя, повторяя «люблю» и передъ смертью. И ты не должна предаваться отчаянію.

Такъ нужно. Такъ только можно искупить все зло, которое я причинилъ тебѣ.